STORY

Неожиданные истории
от главного редактора
журнала Story
Владимира Чернова

Искушения и искусители

притчи о великих

Вацлав Нижинский

Антонио Гауди

Три мушкетера

Сергей Дягилев

Сальвадор Дали

Леонид Брежнев

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Владимиру Чернову, главному редактору журнала Story, много лет подряд непрерывно шлют письма с просьбой написать книгу.

Что в конце концов, он и сделал. Чернов рассказывает о великих так необычно и неожиданно, что сперва полностью обескураживает читателя. Дягилев, Сальвадор Дали, Ростропович… Чернов жонглирует фактами, домыслам. Слухами и откровенными сплетнями с ловкостью опытного фокусника. Получается иногда безумное смешные, иногда до слез печальные, но всегда очень интересные истории о Великих.

- Владимир Чернов
  -
  - Предисловие
  - Глава I
    - Карабас-Барабас
    - Прелестная Шарлотта
    - Генеральный землемер
    - Страшила Мудрый
    - Жил на свете клоун бедный
    - Человек из футляра
    - Святой Антоний
  - Глава II
    - От автора
    - Хлеб наш насущный даждь нам джаз
    - Хоть бы что-то стало с нами
    - Из жизни травы, которую едят кролики…
  - Глава III
    - У нас была любовь, а теперь — ремонт
    - Королевские фиги
    - Сделай сам

Владимир Чернов
Искушения и искусители. Притчи о великих

Кроме Чернова — создателя «Каравана историй» и «Story» — так не умеет сегодня никто, хотя пытаются многие. Чернов — лучший хронограф недавнего прошлого, насмешник, сострадатель, первоклассный прозаик городской семидесятнической школы, человек, у которого училось несколько поколений российских очеркистов. Живее, выразительнее, заразительнее сейчас не пишет никто.

Дмитрий Быков

Истории Чернова — смешные, умные, трогательные и философские — написаны так, что оторваться невозможно!.. Он как никто умеет смешить и заставлять думать, и при этом быть кратким, ироничным и все замечающим. Я никогда не забуду, как читала в первый раз — хохотала и плакала, и удивлялась, что в принципе можно так писать, да еще о ком!.. О Ростроповиче, о Дягилеве!.. На самом деле, мы мало что знаем обо всех этих великих людях, и, читая книгу Владимира Чернова, узнаем их с какой-то совершенно другой стороны.

Я всегда повторяю — читайте книги, некоторые их них специально для этого написаны!.. Эта как раз такая!

Татьяна Устинова

Предисловие

Что осталось от нашей жизни в финале прошлого века? От Хроники пикирующего СССР, подробно изложенной публицистами и политологами? Цифры и факты. И кого они сегодня волнуют? Но уже появился малыш со словами: «А правда-то — голая!» От страшной и чудесной эпохи осталась лишь голая правда, лишенная своих прекрасных одежд, надежд, страданий и желаний? Лишенная своих сказок. Но кому она нужна без этой бешеной пены времени, что тает на наших глазах, уходя в небытие?

Глава I
Сказки

Карабас-Барабас

Человек Дягилев был противный. Красавец, холеный такой, цедит что-то через губу, ножкой топает, а ориентация у самого при этом неправильная, ну, нетрадиционная. Неприятно. А куда денешься — первый русский продюсер! Мм-да…

«Оценка моих спектаклей, — цедит он бывало (через губу), — „странный“, „экстравагантный“, „отталкивающий“… Помню, мы выступали в Лондоне. Директор Ковент-Гардена пробежал передо мною, крича: „Это не танцы, это прыжки диких!“ Да ведь спектакль и должен быть странным!.. Мой дедушка так ненавидел первые поезда, что приказал везти его в карете по полотну железнодорожного пути и сгонять эти чудовищные поезда с дороги. Я сбил с дороги классический балет. Ну не знаю я ни одного классического движения, которое бы родилось в русской пляске. Почему надо идти от менуэтов, а не от русской деревни?» В самом деле, почему?

Если человек вырос, например, в деревне? Например, в Бикбарде? Папа Дягилева, например, знал наизусть «Руслана и Людмилу». От начала до конца. Сидит у камина и мурлыкает. Бывший, между прочим, кавалергард. Все прокутил и — в деревню, на заслуженный отдых.

«Но вот из залы, — вспоминал с умилением очевидец, — раздаются звуки фортепьяно, говор, крики, смех, движение… Всякий спешит к какому-нибудь месту… И все превращается в слух. Семья, в которой маленькие мальчики, гуляя, насвистывают квинтет Шумана или симфонию Бетховена, приступила к священнодействию…»

Вот какой образовался мальчик. «Надо, — говорит, — выносить в себе народность, быть, так сказать, ее родовитым потомком».

Очень вырос спесивый. Прямо с детства. Ну, с юности. Приятель его Саша Бенуа как-то стал вспоминать, говорит: о-ой! «Бывали случаи, когда Сережа и оскорблял нас. В театре он принимал совершенно особую и необычайно отталкивающую осанку, ходил задрав нос, еле здоровался и — что особенно злило — тут же дарил приятнейшими улыбками и усердными поклонами высокопоставленных знакомых…»

То есть когда ему нужно, он такой паинька! Например, нужны ему деньги на целый сезон в Париже для своего балета, а нету. Другой на его месте тихонечко уехал бы обратно в Россию и, пока денег не накопил, не высунул бы и носа. А этот — раз! — и сунул нос прямо к comtesse de Greffulhe. Та очень удивилась. Говорит:

«Он показался мне каким-то проходимцем-авантюристом, который все знает и обо всем может говорить. Я не понимала, зачем он пришел и что ему, собственно, нужно. Сидит, долго смотрит вот на эту статую, потом вдруг вскочит, начинает смотреть на картины и говорить о них — правда, вещи очень замечательные… Скоро я убедилась, что он действительно все знает и что он человек исключительно большой художественной культуры, и это меня примирило с ним. Но когда он сел за рояль, открыл ноты и заиграл вещи русских композиторов, которых я до того совершенно не знала, тогда я поняла, зачем он пришел, и поняла его. Играл он прекрасно, и то, что он играл, было так ново и так изумительно чудесно, что, когда он стал говорить о том, что хочет на следующий год устроить фестиваль русской музыки, я тотчас же, без всяких сомнений и колебаний, обещала ему сделать все, что только в моих силах, чтобы задуманное им прекрасное его дело удалось в Париже».

Это он с ней проделал аж в 1907 году, а в 1930-м она уже хваталась Лифарю: «Вот в этом кресле сидел Дягилев… Вот на эту статую много смотрел Дягилев… Вот на этом рояле Дягилев играл…»

Вообще с женщинами он делал что хотел. Очень они им интересовались. Понятное дело, красавец, 27 лет, седая прядь в черных волосах. Прядь они между собой звали «шеншеля», шиншилла то есть. Сама Кшесинская, которая вообще никого на свете не боялась, поскольку ее любили лично Государь-Император, потом сразу два Великих князя, за одного она даже замуж вышла, а публика просто носила на руках, — так даже она, как завидит в ложе во время спектакля чиновника по особым поручениям Дягилева, так сразу под подходящую вариацию танцует и мурлычет под нос, кокетка:

Сейчас узнала я,
Что в ложе — шеншеля,
И страшно я боюся,
Что в танце я собьюся!

Ага! Так она вам и собьется! Из зала-то не слышно, а кордебалет заинтересовался. На следующий раз только Дягилев в ложу, только Кшесинская хитренько скосила глазки, ротик приоткрыла, кордебалет как рявкнул куплет! Публика в первых рядах кресел даже отшатнулась: оперу, что ли, дают?

Большим авторитетом пользовался среди дам наш герой. Хотя сами они его вообще не интересовали. Классический случай: «Чем меньше женщину мы любим…» Так или иначе, а деньгами

помогали «Русско му балету» в основном женщины. То-то большинство балетов Дягилев посвящал princesse de Polignac, женщине влиятельной и богатой, которая чаще всего и поддерживала на плаву дягилевское дрыгоножество. А Мися Серт? Ну! Хорошенькая, молоденькая, замужем за стареньким газетным магнатом, он с нее пылинки сдувает, деньги без счета, яхта, ложа в опере, свой салон, ближайшая подруга Коко Шанель, художники вокруг, Ренуар, Дега, Мане, все ее рисуют, ну, понятное дело, импрессионисты, что с них взять, с одним вообще роман, да? И тут Дягилев! С седой прядью, оперой и балетом. Ата-ас! Мися Серт его от себя просто не отпускала. Рука в руке. Все советовала чего-то, все организовывала. По телефону мурлычут часами, чуть что — сцена ревности, померещится вдруг нехорошее, сразу шум, крик! Дягилев ей бац письмо: «Я люблю тебя со всеми твоими недостатками… Ты единственная женщина на земле, которую Мы любим». «Мы», это чтоб Нижинский чего плохого не начал подозревать. Бедные артисты за голову хватались, очень переживали: а ну как наш «женоненавистник» женится на мадам Серт?! Бросит своих бедных куколок. Он же толком-то ничего не расскажет, все мимоходом: «Быр-быр!»

А Мися, бывало, разнежится. «Я, — говорит, — муза русского балета». И имела основание. Под старость вспоминала: «Вспоминаю, — говорит, — как генеральная „Петрушки“ была задержана на двадцать минут. Полное тревоги ожидание. Зал, сверкающий бриллиантами, переполнен. Свет погашен. Ждут трех традиционных ударов молотка, возвещающих начало спектакля. Ничего… Начинается шепот. В нетерпении падают лорнеты, шелестят веера… Вдруг дверь моей ложи распахивается, как от порыва ветра. Бледный, покрытый потом Дягилев бросается ко мне: „У тебя есть четыре тысячи франков? — С собой нет. Дома. А что происходит? — Мне отказываются дать костюмы прежде, чем я заплачу. Грозят уйти со всеми вещами, если с ними немедленно не рассчитаются!..“

Не дав ему договорить, я выбежала из ложи. Это было счастливое время, когда шофер обязательно ждал вас у театра. Десять минут спустя занавес поднялся. Уф!.. Великолепный спектакль прошел безупречно, никто ничего не заподозрил…»

Ну, и что ты с него возьмешь? Продюсер он и есть. А мог бы стать неплохим артистом. Когда явился в Петербург восемнадцати лет от роду, он уже пел баритоном, играл на рояле и считал себя серьезным композитором, в портфеле у него лежало несколько сочинений, с которыми он, естественно, пошел сразу к Римскому-Корсакову, тот сочинения полистал, губу отвесил и говорит задумчиво: «Ну что ж, для начала… Надо бы вам,

батенька, поучиться». Дягилев собрал свои сочинения и как хлопнет дверью! А перед тем как хлопнуть, в щелку крикнул злобно: «История покажет, кто из нас двоих будет более знаменит! Вы еще обо мне услышите!» Но потом остыл и решил композитором не становиться. Ну его к черту! Хлопотное дело. Одному нравится, другому нет. Музыку же всегда можно заказать. Были бы деньги.

Учитесь. Разбирался во всех искусствах, а плюнул и остался дилетантом. Потому что понимал: профессия у него другая. Названия у нее только не было. По тем временам. Не было такого слова — «продюсер». Было — «антрепренер». Но это как-то уж слишком для породистого человека. Антрепренер… Хозяйственник какой-то! Тьфу!

Он как рассуждал: «У нас в России люди разделяются на две категории — на вечно „во весь голос“ протестующих и на вечно покорно молчащих. И то и другое одинаково бесцельно, так как при этом у нас совершенно отсутствует третья категория — людей что-либо „делающих“». Вот он до чего додумался.

Сразу стало ясно, чего России-то не хватает для полного счастья.

Художник, музыкант или там танцор — они каждый сам по себе. Их, конечно, все уважают, но — по отдельности. А соберешь их вместе — выходит совсем другое дело. Дягилев хотел стать собирателем. А что? Собрал всех, придумал, чего им делать, дал указания: один музыку пишет, другой — декорации, третий под эту музыку и под эти картины и костюмы ставит танцы, получается хорошо. То есть ему хотелось быть Карабасом-Барабасом и чтоб весь его театр был в одном сундуке, каждая куколка висит на гвоздике и ждет своего часа. А дождавшись, делает все, что скажут.

Решил, допустим, Дягилев: будем ставить балет «Дафнис и Хлоя». Ну, «Дафнис» так «Дафнис», хозяин — барин. Музыку заказал Дягилев Равелю, хороший композитор. Написал. Дягилев говорит: «Гениально!» Стали ставить. Ц! Не получается. Там финал написан на счет $^5/_4$, ну-ка станцуй за четыре такта пять движений, я на тебя погляжу. Ну и что? А станцевали. Только когда репетировали, все время хором считали, чтоб не сбиться: «Сергей-дя-ги-лев! Сергей-дя-ги-лев!»

Однажды отправился Дягилев со своим балетом в Испанию. А испанскому королю очень нравился русский балет. Он и пошел за кулисы любоваться на куколок вблизи, а навстречу Дягилев. Король говорит: «А что вы-то делаете в труппе? Вы не дирижируете, не танцуете, не играете на фортепиано — тогда что же?» — «Ваше величество, — отвечал ему Дягилев злобно, — я —

как вы. Я ничего не делаю, но я незаменим».

Но это все потом. А в юности все его друзья, а там и Бенуа, и Бакст, большие художники, и Дима Философов, философ, естественно, все знатоки своего дела, однажды смотрят, а этот краснощекий Дягилев, который знал меньше всех, всеми ими командует, и они его слушаются, потому что его почему-то слушается уже вся художественная общественность. Почему? А потому. Тамара Карсавина, она же его лучшая куколка (одно время лучшей была Анна Павлова, но потом зазналась, решила, что может выступать сама, а — и ничего не вышло!), объясняла всем желающим: «Еще молодым человеком он уже обладал тем чувством совершенства, которое является, бесспорно, достоянием гения. Он умел отличить в искусстве истину преходящую от истины вечной. За все время, что я его знала, он никогда не ошибся в своих суждениях, и артисты имели абсолютную веру в его мнение».

А мнение у него было такое: «Все направления имеют одинаковое право на существование, так как ценность произведения искусства вовсе не зависит от того, к какому направлению оно принадлежит. Из-за того что Рембрандт хорош, Фра Беато не стал ни лучше, ни хуже».

А раз он был такой умный, то ни с кем и не церемонился. Вы только представьте себе: приехал в столицу из своей Перми, из какой-то Бикбарды восемнадцатилетний пацан, к тетке Анне Павловне Философовой, первой русской эмансипэ, у которой собирались лучшие умы, живет себе у нее на всем готовом, и вдруг ей, передовой женщине, выросшей на передвижниках и Чернышевском, о кумире и учителе ее вдруг начинает нести крутой бред: «Эта нездоровая фигура (Чернышевский то есть) еще не переварена… наши художественные судьи в глубине своих мыслей еще лелеют этот варварский образ, который с неумытыми руками прикасался к искусству и думал уничтожить его или по крайней мере замарать».

Оказалось, что Дягилев, конечно, все принимает и допускает, но терпеть не может две вещи: передвижников и революционеров. Казалось бы, ну не любишь, ну и помалкивай, особенно когда все вокруг просто трясутся от негодования: сатрапы! тираны! бомбистов сюда, бомбистов, да побольше! До того гнет их самодержавие. Бедная Философова, считавшая себя ответственной за всех живших в ее доме «детей», сразу кинулась писать в своих воспоминаниях: «Дети мои все прекрасны, и я их люблю, но я похожа на курицу, которая высидела утят… Когда вся моя молодежь в сборе, я прислушиваюсь к их спорам и разговорам — и меня мутит. Вспоминаются наши споры в 60-х

годах о пользе, которую мы могли бы приносить народу. Где эта польза?»

В общем, со своим двоюродным братишкой Димой Философовым они напугали тетку до колик, объявив, что она присутствует при рождении нового направления в искусстве. Как называется, они пока не знают, но очень хорошее направление. «Декаденты!» — ахнула тетка, дрожащими руками пересчитывая серебряные ложечки, и как в воду глядела. «Русское декадентство, — взволнованно фиксировала тетка Философова в своих записях, — родилось у нас в Богдановском, и главными заправилами были мой сын Дмитрий Владимирович и мой племянник С. П. Дягилев. „Мир искусства“ зачался у нас. Для меня, женщины 60-х годов, все это было так дико, что я с трудом сдерживала свое негодование. Они надо мной смеялись!» Позже все кому не лень обзывали их декадентами, хотя сами они декадентами считали стариков из Академии художеств, поскольку их искусство — это и колобку понятно — мертво, уныло и в полном упадке.

И тут Дягилев предлагает своим приятелям кончать трепаться бесконечно на кухне, а взять и выпустить для оболваненного передвижниками общества журнал о настоящих художниках. «Мир искусства». Тут же нашлась и женщина, готовая его издавать, такая княгиня Тенишева. Меценатка.

Художники, которым она денег не давала, изображали ее, бывало, в виде здоровенной коровы, а к вымени уже Дягилев противный пристраивается с ведром. Но Тенишева хоть и была женщина больших размеров, но трусоватая, свои деньги в журнал вкладывать побоялась. Зато сразу нашла человека, готового вкладывать, был в те времена заядлый вкладчик во все непонятное: Савва Мамонтов. Он, правда, как человек дикий, поинтересовался: «Что за гриб этот Дягилев?» Бенуа испугался и тут же написал приятелям: «Дай Бог ему (Дягилеву то есть) устоять перед напором Мамонтова, который хоть и грандиозен и почтенен, но и весьма безвкусен и опасен». Ха! Это Мамонтову предстояло стоять пень пнем перед напором «гриба». Не устоял. Но остался удовлетворен. Почуял в «грибе» своего. В искусствах Мамонтов, конечно, не сильно соображал, но уж в продюсерах-то разбирался.

Эпиграф к первой своей статье, открывающей первый номер журнала, Дягилев списал у Микеланджело: «Тот, кто идет за другими, никогда не опередит их». Вот так. За что же его было любить? Гиппиус взяла и пригвоздила наглеца:

Курятнику петух единый дан.

Он властвует, своих вассалов множа.
И в стаде есть Наполеон — баран,
И в «Мир искусстве» есть — Сережа.

А тому уже все равно, его несет. Какой гвоздь его удержит! Он теперь кого захочет, того гением и назначает.

Ну вот. Решил он ставить «Жар-птицу». Балет. Сказка такая. Художники сразу все нарисовали, радуются. Осталось музыку написать. Дягилев заказывает ее автору любимого всеми романса «Соловей мой, соловей!», а также собирателю народных песен гению Лядову. А Лядов, как сочинил свою «Музыкальную табакерку», жутко обленился. То есть он, конечно, гений, но малопродуктивный. Проще говоря, тормоз. Прошло три месяца, пора бы репетировать, Бенуа, лапочка, идет по улице, смотрит — Лядов. Бенуа робко так интересуется: «Ну?..» А Лядов бабах его по плечу ручищей и фамильярно так говорит, зевая: «Все путем! Я уже купил нотную бумагу!» Бенуа побелел и побежал к Дягилеву жаловаться. Дягилев сказал: «Так. Лядова из гениев вычеркиваем. Сейчас я пойду и чего-нибудь подыщу». И сразу в консерваторию.

А там в этот момент исполняется небольшая такая, но симфоническая вещица «Фейерверк». Студент Стравинский сочинил ее в виде подхалимажа к свадьбе дочери своего учителя Римского-Корсакова. Ну, она и исполняется. Дягилев говорит: «Так. Вот этого как фамилия? Стравинский? Назначаю гением. Он у нас теперь будет главой новой музыки, заказываю ему балет!» И вышел. Оставшиеся с открытым ртом долго еще сидели.

Вы же понимаете, Стравинскому ничего не оставалось делать, как сочинить «Жар-птицу» и стать главой новой музыки. Но! Через три года дягилевский балет приезжает в Вену, а оркестр Венской оперы, с которым предстояло танцевать, считался, между прочим, лучшим в мире, и музыканты в нем были все — профессора консерватории. Ну, вот…

Сцена 1

Профессора смотрят вытаращенными глазами на расставленные по пюпитрам ноты и говорят, что почитают за оскорбление играть музыку, где ни одна нота не соответствует законам гармонии. Им: «Да вы что?! Тс-с! В зале находится Игорь Стравинский, глава новой музыки, Дягилев сказал, что он гений!»

А профессора: «Хм! А кто такой Дягилев? — И смычками по пюпитрам! — Сейчас, — говорят, — достучим — и домой. С вами

больше не играем!»

Сцена 2

(входит Дягилев)

Дягилев *(в изложении Брониславы Нижинской)* хорошо поставленным голосом: «Не могу поверить, что нахожусь в Венской опере, среди музыкантов с мировым именем, а не среди сапожников, ничего не понимающих в музыке. *(Сует в глаз монокль и рассматривает струхнувших профессоров.)* Стравинский — величайший из современных композиторов! Стравинский молодой человек, но в музыкальном отношении он старше вас. И вам всем, по-видимому, недостает культуры, если вы не понимаете Стравинского. Однажды в Вене Бетховена (!) обвинили в том, что он нарушает законы гармонии. Не демонстрируйте второй раз свое невежество. Попробуйте сыграть это произведение, а потом осуждайте».

Напряглись, стали играть. И, можете себе представить, им вдруг все это очень понравилось. Они въехали. Потому что все-таки профессора, а не сапожники. А уж когда закончили играть эту «Петрушку», просто разом встали все и давай устраивать Стравинскому овацию. Дягилев улыбался им самой противной из своих улыбок. Как он их сделал!

Он назначил гением Нижинского. Впрочем, это уже была любовь. Стравинский пришел в ужас. Ничего более негодного для танца, чем Нижинский, он представить себе не мог. «Его невежество, — писал несчастный Стравинский свою отчаянную правду, — в самых элементарных музыкальных понятиях было потрясающее. Несчастный юноша не умел ни читать нот, ни играть на каком-нибудь инструменте. Действие, которое на него производила музыка, выражалось им или банальными фразами, или повторением того, что говорилось в окружении. Не находя в нем личных впечатлений, можно было сомневаться в их существовании».

Что же с ним сделал Дягилев? Он носился с ним как с писаной торбой. Никого не подпускает, приставил телохранителя, ходит с Нижинским по музеям, рассматривают античные вазы, как на них во всяких позах расположены древние греки. Толстый Карабас сам показывает Нижинскому, как в древности передвигался фавн и как его теперь надо будет на сцене изображать. «Послеполуденный отдых фавна» — вещица вот такусенькая, а репетировали удивительным образом: Нижинский

сделает ручкой или ножкой, обернется к Дягилеву: «Так? А что теперь?» И так ручка за ножкой больше ста репетиций. Потом-то Карсавина догадалась: «Дягилев-чародей его тронул своей волшебной палочкой». Вот оно что… А вы что подумали?

В общем, к очередному триумфу «Русский балет» был готов. Но Париж, который все дягилевские штуки принимал с детским восторгом, вдруг натопорщился. Все-таки народ тогда был неиспорченный. Ну что там они видели? Пляс Пигаль, Фоли Бержер, сто ног, и все как заводные: ноги вверх — ноги вниз! И так до утра. Ужас!

А вот когда Нижинский в заключение «Фавна» бросился на вуаль, оставленную Нимфой, и начал ее терзать взамен хозяйки, делая неприличные движения тазом, тут господин Кальметт на следующий же день написал в «Фигаро»: «Те, кто говорит об искусстве и поэзии по поводу этого балета, насмехаются над нами… Мы увидели похотливого фавна с бесстыдной и какой-то бестиальной эротикой движений. И это все…»

И вся продажная французская пресса не замедлила и начала оскорблять нашего Нижинского. Тогда в газету «Монд» пришел Роден и принес такую заметку: «…Нижинского отличают физическое совершенство и гармония пропорций. В „Послеполуденном отдыхе фавна“ никаких прыжков, никаких скачков. Только позами и движениями полусознательной бестиальности он добивается чего-то сказочно чудесного. Идеальная гармония мимики и пластики. Он обладает красотой античных фресок и статуй. Он идеальная модель, о которой может только мечтать любой скульптор или живописец… Мне хочется, чтобы каждый художник, действительно влюбленный в свое искусство, увидел это совершенное воплощение античной эллинской красоты». С тех пор Дягилев всюду возил с собой статью Родена. И всем показывал.

А самому Родену он разрешил пользоваться Нижинским и его полусознательной бестиальностью как моделью. Потом испугался и давай ревновать. Мучился, на всех кричал, потом не выдержал и вломился к Родену в мастерскую. Смотрит: а они спят! Нижинский позировал-позировал и уснул. А старенький Роден лепил-лепил и тоже уснул. От криков Дягилева они проснулись, перепугались, вскочили, побежали куда-то… Вот была стыдоба!

А Нижинский все равно бросил его. Уже в следующем году увели. Поехал на гастроли в Америку без Дягилева, тот переплывать океан отказался, боялся утонуть. Несколько лет спустя, правда, попробовал сплавать в Америку, так едва с ума не сошел, целыми днями кричал на весь пароход от страха, а верный слуга его Василий по приказу барина непрерывно бил поклоны на

палубе, молился о его спасении. Но уцелели. Так вот, только слабохарактерный Нижинский ступил на палубу без Дягилева, как его тут же утащила в свою каюту некая девица из кордебалета Ромола Пульска. Приехали в Америку и давай венчаться. Эта самая Пульска и уговорила Нижинского Дягилева бросить, начать выступать самому, ведь он же гений. Он попробовал, но почему-то ничего у него не вышло. Стало ему плохо, потом еще хуже. И отправили бедного Нижинского в сумасшедший дом. Там он и умер.

Жалость какая. Вот так Дягилев делал-делал гениев, а они все его бросали. С обидами: да кто он такой? Эксплуататор! Вся его слава за счет бедных куколок. Кто танцует? Дягилев? Кому аплодируют? И сколько им платит жирный Карабас? Чего? Вот эти деньги — достойны их таланта? Уй, не смешите меня. Так все они говорили, уходя, обещая без него-то и показать наконец на что способны. И никто ничего не показал. Для большинства тут и закатывалась карьера.

В конце жизни остался возле эксплуататора один хитренький Лифарь, который звал Дягилева Котяшей. И этот необъятный Котяша встанет, бывало, поутру в длинной ночной рубашке перед своим полусонным Лифарем и, чтоб его развеселить, принимается вперевалочку танцевать, обозначая толстой ножкой и пируэты, и фуэте, и подпрыгивает слегка, показывая, как прыгал Нижинский. Мебель покачивается, пол вздрагивает, Лифарь жмурится, еще не проснувшись, а потом хохочет всласть.

В общем, дальше уже неинтересно. Хотя была еще у нашего безобразника «Весна священная» — много с ней мороки и триумф в конце концов. Было еще семнадцать лет скитаний по свету, толпы новых учеников и тьмы новых обличений. У России своя пойдет жизнь и судьба.

Хотя он всю жизнь помнил, как привез в Париж Шаляпина, в те еще благословенные годы, когда мир и благолепие разливались в воздухе, а Шаляпин пел парижанам о «кровавых мальчиках»: «Вон там, в углу! Движется, колышется, растет!!!» И публика, шарахнувшись, подымалась и вытаращенными глазами всматривалась в страшный угол. Кто ж знал тогда, что там, внутри России, зреет и уже ворочается…

Вот так, постепенно Дягилеву исполнилось 130 лет, с чем мы вас и поздравляем. А его не поздравляем, потому что аж семьдесят три года назад он умер в Венеции, и его увезли в сопровождении четырех черных гондол на русское кладбище.

На родине о нем и думать забыли. И все его забыли и бросили. Несчастный он был человек. Перед смертью все плакал и говорил, что счастлив был только в детстве.

Вот такая жизнь, господа. Стараешься для чего-то, живешь, а там, глядь, и умрешь. И лишь круги по воде…

Прелестная Шарлотта

Сказка о прелестной Шарлотте, которую погубили мужики, потому что сволочи

Эта книга, прошедшая через множество рук, была найдена мною уже без обложки и первых страниц, название исчезло вместе с ними. Она была прочитана мигом и насквозь и настолько впечатлила меня, что я посчитал своим долгом всем ее пересказать.

Речь в ней идет о несчастной Шарлотте, которую погубили. Если б не это досадное обстоятельство, все у нее было бы замечательно. Представляете, жила во Франции, в семнадцатом веке, при Людовике XIII. Правда, в монастыре. Куда родители отдали ее совсем крошкой. Тут, правда, затемнение. То ли сами отдали, то ли подбросили на порог, а добрые монахини утром вышли, смотрят — лежит. Пусенька такая. Зовут Шарлотта. Шарлотта Бакстон. Так было написано на записочке. Которая лежала на тряпочках, в которые было завернуто брошенное дитя.

Ну, подобрали, естественно. Там она и росла до пятнадцати лет. Не видя света, в темной келье, все молилась бедняжка. О чем молилась — непонятно, жизни-то не знала.

Но прехорошенькая. Все мужчины, как ее видели, впадали в такое легкое оцепенение, хотя совсем еще девочка. Впрочем, мужчин вокруг было всего один. Время от времени в монастырь захаживал начинающий священник, монахинь исповедовал, но как до девочки дойдет — оцепеневал. Долго такое продолжаться не могло, поскольку и на неопытное дитя производило неизгладимое впечатление.

Наконец священник собрал нервы в кулак и принялся уговаривать девочку сбежать из монастыря вместе с ним, обещая в награду райское блаженство. Она, дура, согласилась. Все-таки какое-то разнообразие.

Как бежать, куда? Эти мне влюбленные парочки… Гормональный взрыв! В общем, священник украл в родной церкви какие-то священные сосуды, видимо, из-под кагора, отступать было уж некуда. И — во тьму.

Тут же их, двух дураков, и засветили! Шум, гам, факелы, все бегут! Ай-я-яй! Священник сразу сдался, руки вверх, а мелкая девчонка куда-то затерялась. Сосуды отобрали, священника посадили в каталажку, получил 10 лет, кандалы и воровское клеймо в виде цветка лилии — на плечо. Ну, цветка — это сильно сказано. Что-то вроде куриной лапки. Но все равно неприятно.

Клеймить бедолагу пришел ЛП, лилльский палач. Мрачная

личность. То есть на деле-то ничего особенного, просто он — палач из города Лилля. Профессия у него такая. По стечению обстоятельств родной брат потерпевшего. Вообще-то, ничего себе оказалась семейка, священник и палач. Этот, понятно, валил все на девчонку, совратила братана, сука, загубила. Ну ладно. А девчонка все где-то мыкается. Ее ищут, да где уж теперь! Но наш ЛП мигом ее нашел и, слова не говоря, надругался. Нет, не то, что вы подумали. Он взял и выжег у нее на плече каторжную лилию. Такое украшение ребенку на всю оставшуюся жизнь. Выжег и отпустил обратно в темноту — носи на здоровье!

А брат его недотепистый каким-то вдруг странным образом из каталажки сбежал, то есть, значит, чего-то все-таки соображал. Тут он во тьме набрел и на свою несчастную, тоже с куриной лапой на плече. Вот они и отправились, меченые, куда глаза глядят и поселились от происшедшего в отдаленном месте, священник выдавал себя за священника, а девочку за свою сестру. Плохо тогда было с пропиской и всефранцузским розыском, поэтому что человек о себе говорил, тому все и верили. Выдавать безропотную Шарлотту за жену не получалось, католическому священнику жениться нельзя. Так они и поживали, добра наживали и состарились бы потихоньку, но тут на нашу Шарлотту положил глаз хозяин здешних мест, такой граф де ла Фер, крутой феодал (в дальнейшем Атос, через «о»). Вообще, в книжке все герои время от времени по-разному называются, автор явно торопился сдать книгу в печать и то, чего раньше насочинял, не перечитывал. Ну, неважно, вот этот пряник ее увидел и, как положено, тоже оцепенел.

Более того. Он где-то посреди книжки расслабился, а тут входит его приятель д'Артаньян, весь такой моветон и брудершафт, ну, выпили, граф пустился в воспоминания о былом, девочка, говорит, была «прелестна, как сама любовь», при этом у нее обнаружился «ум поэта». «Я, — говорит он д'Артаньяну, — мог бы легко соблазнить ее или взять силой, да и кто бы стал вступаться за чужих, никому не известных людей? Но, к несчастью, женился на ней. Глупец, болван, осел!» И вправду болван, вместо того, чтобы быть счастливым, женился!

Отказаться Шарлотта никак не могла, куда ей было деваться. И с графом жила она прекрасно, и тоже дожила бы, возможно, до седин, если бы не отправилась с супругом на охоту, не упала с лошади, не потеряла сознание, тут граф, срывая с нее платье (тут какая-то неувязка: что ж он, получается, первый раз с жены платье срывал? Хотя они же там все в темноте делали, с электричеством-то напряг) и обнаружил закорюку на плече. Ах! Лилия! «Ангел оказался демоном!» Ой-е-ей!

Ну, казалось бы, дай любимой женщине очухаться, расспроси: что да как, мало ли чего не случается в жизни, а случай-то был именно такой. Но наш быстрый граф, секунды не медля, берет веревку и собственноручно вешает любимую на дереве. «Что же вы не едите ветчину? — спрашивает он у разинувшего рот д'Артаньяна. — Она восхитительна».

Шарлотте повезло, когда муж умчался, не оборачиваясь, она как-то отвязалась и отправилась путешествовать, по пути вышла замуж за оцепеневшего при виде ее лорда Винтера, заговорила вдруг по-английски, причем с таким прононсом, что все считали ее английской леди. Или миледи. В книжке она является то как леди Кларк, то как баронесса Шеффилд. А лет ей, между прочим, чуть за двадцать. И никаких спецшкол не кончала.

Испытывая отныне определенные чувства к мужикам, которые по-прежнему все подряд почему-то хотели на ней жениться, стала прелестная Шарлотта международной шпионкой, работала в интеллигентной службе кардинала Ришелье, что позволяло ей наконец, вредить мужикам во всю мочь. Причем их же руками. Узнав через нее про планы соперника, они тут же направляли к нему какого-нибудь профессионала, который делал в противнике необходимое количество дырок. Впрочем, в те времена всякий дворянин и монпансье, если достиг совершеннолетия, мог считаться профессионалом, поскольку наверняка по ходу дела уже замочил много народу. Потому и выжил. А противные соперники не выжили и, соответственно, не достигли.

Вот тут в книге появляется еще один неуловимый мститель, тот самый д'Артаньян. Он-то за что собрался мстить? А вот за что. Безумно любя Констанцию Бонасье и непрерывно клянясь ей в верности, этот бонвиван и абажур решает мимоходом позабавиться и с миледи. Но — осечка. Ну не нравится он ей. Тогда он совращает ее служанку, незатейливую девушку Кетти. Пообвыкнув в ее комнатушке, забирается в спальню миледи и в полной темноте выдает себя за ожидаемого ею некоего графа де Варда.

Получив желаемое, наш куртизан, естественно, хочет еще, для чего сочиняет от имени этого самого де Варда издевательскую записку к миледи, дескать: «А-ха-ха! Такую б леди да в гарнизон!» Он ей в душу плюнул. А сам тут как тут, обещает злодея за издевательства убить, но требует плату все той же постельной монетой. Причем авансом. Бедняжка в отчаянии расплачивается. И тут он на радостях разомлел и давай самодовольно рассказывать дважды обдуренной им дуре, как он ее дважды сделал! Она просто с катушек слетела. Впервые в жизни захотела убить обидчика сама, лично, даже вытащила свой

маленький золотой кинжальчик, ха-ха-ха! Тут киллер-профессионал. Отмахался своей двухметровой шпагой и смылся. Тогда она, совсем потеряв голову, взяла и отравила его любимую Бонасье.

Теперь и у д'Артаньяна кое-что на миледи накопилось, поэтому он немедленно вступил в Чрезвычайную Тройку. Вот они под конец, три борца за справедливость — ЛП, Атос и д'Артаньян, и собрались, чтобы «исчадие ада» истребить.

«Вы не женщина, — с апломбом заявляют, поймав ее, три мстителя из Эльдорадо, — вы не человек, вы демон, вырвавшийся из ада, и мы заставим вас туда вернуться!» Это тот самый доберман, который ее заклеймил, тот самый Атас, который ее за это повесил, и тот самый жеребец, который дважды отнял у нее честь. Нет-нет, они не про тот ад, который ей сами устроили и откуда она было вырвалась. Это они ей голову собрались отрубить. И отрубили.

Хеппи-энд. А? Не слабо.

Генеральный землемер

Это что за Бармалей
Лезет прямо в мавзолей?
Брови страшные он носит,
Букв совсем не произносит…
Кто даст правильный ответ,
Тот получит десять лет!

Частушка

А зря смеялись! Леонид Ильич Брежнев прожил 76 лет замечательной жизни. Природа наделила его внушительным ростом, красивым мужественным лицом, низким голосом, могучими бровями, отменным здоровьем. При Государе Императоре таких молодцов моментально забирали в гренадеры, в наше время — в кремлевский полк. Девицы при виде такого мужчины сразу бегут сдаваться ему в плен.

Вообще-то товарищ Сталин думал, что Брежнев — молдаванин. На каком-то пленуме увидел и вдруг указал на него трубкой. Все вокруг так вздрогнули, встрепенулись. А товарищ Сталин усмехнулся в усы и сказал задумчиво: «Ка-кой краси-вий мал-даванин!» А Леонид Ильич был вовсе даже и не молдаванин, просто он во многих местах побывал партийным начальником, и в Молдавии тоже, и в Казахстане, например. Но ведь не стал же от этого казахом.

Вообще обилие достоинств расслабляет. Не случайно все великие полководцы, завоеватели, реформаторы и тираны были, как правило, мелкие, тощенькие. Именно плюгавость тела сподвигала их на великие дела. А добродушные великаны, которым все дано от пуза, обычно так и оставались где-нибудь в стороне, вполне довольствуясь тем, что само плыло в руки. Но к Леониду Ильичу сама в руки приплывала власть.

Никогда он ее не добивался. Хотя предлагавшие ему поруководить всякий раз понимали, что как вождь он ну не очень. У него было другое свойство. Он был компанейский парень. За компанию портянку съест. Где он только и чем не командовал и никогда не устраивал там никаких крутых перемен. Он все делал для товарищей, которыми сразу же обрастал и сразу же соглашался с тем, что товарищи ему предлагали. Товарищам это очень нравилось. Вот они его и выдвигали. Хотя сам он даже несколько сопротивлялся. Очень не любил лишних телодвижений. Ему и так было хорошо. Но товарищи сразу же

говорили хором: да ты вообще только сиди и надувай щеки. Мы все за тебя сделаем! Ну, он и уступал.

История о том, как он подсидел и свалил Хрущева, сочинена политологами, которые в любой карьере подразумевают как обязательное условие: подсидку, подрезку и кидалово. А ничего подобного в нашем случае.

Когда один из секретарей ЦК КПСС, некто Козлов, был сражен инсультом, Хрущев начал думать, кого взять вместо него. Смотрит: Брежнев, мужчина видный, безотказный, с Украины и полностью безопасный. В то время как вокруг такие волчары! Никита Сергеевич намеревался еще сам долго командовать, ему не преемники были нужны, а хорошие исполнительные ребята. Но Брежнев вместо того, чтобы обрадоваться: «В Москву! В Москву!» — жутко напрягся. Ему уже жилось хорошо. Вовсе не хотел он на это новое поприще, где сплошная нервотряска.

Нет, не Брежнев придумал смещать Хрущева, хотя и знал о приготовлениях и помалкивал, чтобы не высовываться из среды товарищей. Волчары же никак не могли договориться, что делать, когда съедят пахана. И тут кто-то умный говорит: а пока не придем к консенсусу, давай Брежнева. Мужчина видный, ну, и так далее. На время, пока не разберемся. И наш милый Леонид Ильич согласился потерпеть. А потом оказалось, что при таком раскладе жизнь у всех вокруг стала — просто малина.

Трудоголик Хрущев напрягал их безмерно. Он все реформировал, улучшал, ухудшал, посылал к кузькиной матери, всех тряс, привилегий лишал, ботинком по трибуне стучал, все носились как угорелые. Ну очень все уморились, прямо неизвестно, что завтра с тобой случится, нельзя же так. Всем хотелось пожить жируя. Все хотели стабильности. И уверенности в завтрашнем дне. А Хрущев на завтра обещал всем полный коммунизм. Ну-у, ребята! Но на кого менять? На Шелепина, что ли, которого Микоян сразу определил: «Этот молодой человек может доставить нам слишком много хлопот». На Суслова? Ужас какой! Вот и выходило, что кроме Брежнева — нет никого.

А он вообще-то собирался быть землемером. И мелиоратором. Даже обучался этим непростым специальностям в техникуме. Потому, кстати, хрущевский проект поворота сибирских рек задом наперед вовсе не показался ему странным. Ну, и мелиорируем, в чем вопрос? Проект так и разрабатывался все 18 лет, что Брежнев был у власти. Это ж только через четыре года после его смерти обнаружили, что там, в институтах, чего-то втихаря все чертят. Очень удивились: оказывается, это мы реки собираемся заворачивать. Батюшки! Ну, тут, правда, интеллигенция подсуетилась, она-то помнила все. И засветила

проект. Ну, и закрыли его к чертовой матери. Но это так, к слову.

Обучившись землеустройству, он в конце двадцатых годов им и занялся, высвобождая несчастную советскую землю из-под гнета кулаков и подкулачников, отправляя их куда подальше, а особо цеплявшихся за свои бугорки — расстреливая, чтобы передать ее безземельным беднякам, которых, чтоб не разбежались, собирал в колхозы.

Грубо говоря, всем сразу стало видно, что такому человеку не специалистом быть, а государственным и партийным работником. Тем более такая внешность. Его и назначили заведовать районным земельным отделом, потом райисполкомом, потом — в облисполком.

Распределив землю на Урале, он отправился на родную Украину, поднимать и ставить на ноги металлургию. Партийный работник чем хорош — его куда ни кинь, он везде управится. Леонид Ильич тут еще и институт нечувственно, между делом закончил, ну, как положено, и стал уже полный молодец. Назначили секретарем обкома. А тут война, дали ему звание, и стал он политработником, начал учить людей воевать.

Было непросто. Вначале даже тяжело. Вот какую характеристику написали на нового политработника тамошние военные начальники: «Черновой работы чурается. Военные знания весьма слабые. К людям относится не одинаково ровно. Склонен иметь любимчиков». Ну, правдоискатели! Если б они знали, кем он станет!

Потом-то спохватились, стали собирать боевую биографию по зернышку. Хотя сначала никак это ни у кого не складывалось. Поскольку политработник Брежнев, увы, ни в каких крупных и решающих сражениях участия не принимал. Было, конечно, одно, ну, не решающее, помельче, это когда 18-я армия удерживала чуть ли не целый 1943 год некий плацдарм под Новороссийском, который в оперативных сводках называли «Малая земля». Собственно говоря, на Малой земле воевала вовсе не армия, а лишь некоторые ее части. А штаб армии, как и политотдел, располагались, естественно, на Большой земле, от боев далеко.

Но полковник Брежнев бывал на Малой земле. Бывал. Два раза. Один раз с бригадой ЦК партии, показывал, как тут все устроились, второй — для вручения партийных билетов и наград солдатам и офицерам. Незадача.

Нет-нет, стоп! Однажды наш полковник, уже теплый, вышел на палубу, поскользнулся и упал с сейнера в море, откуда его в бессознательном состоянии выловили матросы. Ну!

Тут же свистнули журналистов. Такой был в «Известиях» знаменитый Сахнин, он тут же приступил к работе над книгой

«Малая земля». Так! — сказал Сахнин. На самом деле **сброшенный взрывной волной** в море полковник Брежнев **сам** влез на борт корабля. Нормально! Не-ет, — подумав, сказал Сахнин, — мало. Он влез **сам**, и **помог** выбраться из воды контуженному матросу. Грубо говоря, спас человека. Круто! И все равно еще — нет! Он **прыгнул** в море, чтобы спасти матроса! Вот!

И понеслось. Знаменитый Анатолий Аграновский сочинил книгу «Возрождение», знаменитый Мурзин из «Правды» — «Целину», образовалась трилогия. Леониду Ильичу тут же вручили Ленинскую премию. «За выдающиеся достижения в литературе».

После войны на груди генерал-майора Брежнева светилось четыре ордена и две медали. А к концу жизни ему было вручено орденов и медалей больше, чем Сталину и Хрущеву, вместе взятым. А за спасение матроса ему четыре раза присвоили звание Героя Советского Союза. По правилам, правда, присваивать можно было лишь три раза, но разве спасение матроса того не стоило?

Кстати, когда о подвиге, совершенном Леонидом Ильичом, узнал весь прогрессивный мир, то награды пошли со всех сторон. Он все получал и получал звания Героя и прочие высшие ордена всех социалистических стран. Его награждали орденами даже страны Латинской Америки и Африки. А как организатор и вдохновитель нашей Победы он был награжден высшим советским боевым орденом «Победа», который вручался лишь крупнейшим полководцам и лишь за выдающиеся победы в масштабах фронтов или групп фронтов.

Всего получилось больше двухсот орденов и медалей! И все надо было цеплять на парадный китель. Беда! Хоть на спину вешай!

При таком количестве высших боевых наград Леонида Ильича нельзя было оставлять в звании генерал-лейтенанта. Надо было привести положение в соответствие с действительностью. И в 1976 году, запоздало, конечно, но что уж тут, Брежневу было присвоено звание маршала СССР.

На встречу с ветеранами 18-й армии (а они ничего еще не знали) Брежнев вошел в плаще, войдя, скомандовал: «Внимание! Идет маршал!» И вдруг как скинет плащ, а под ним полный маршальский мундир. Среди ветеранов произошла немая сцена. А Леонид Ильич объяснил им застенчиво: «Дослужился!»

Простой он был и незатейливый человек и любил незатейливых людей, ими себя всегда окружал. И, став генсеком, все равно ими себя окружал. Например, был у него парикмахер Толя. Приходить должен был дважды в день: брить и укладывать

прическу, у Леонида Ильича волосы росли хорошо. Это все из воспоминаний охранника. Но Толя часто запаздывал, а то и вообще не приходил, потому что все свободное время пил водку. Леонид Ильич волновался, вскипал: «Если еще раз повторится, сейчас же позвоню, чтоб выгнали!» Но когда Толя являлся, сизый от похмелья, Леонид Ильич спрашивал его лукаво: «Ну, стаканчик опрокинул?» — «Да побольше», — отвечал Толя мрачно, берясь за опасную бритву и принимаясь скрести щеки генеральному секретарю ядерной державы. И когда доходил до шеи, охрана каменела и отводила глаза.

Говорил Леонид Ильич на суржике, но это его не беспокоило, потому что суржик был, так сказать, языком элиты. Поскольку практически вся элита была с Украины. Ученым филологам приходилось объяснять народу, что имел в виду руководитель, сказавший некое неожиданное правительственное словцо, и тогда оно уже входило в обиход. Однажды Леонид Ильич зачитывал подготовленную ему бумагу про новую находку ученых-социалистов, которую они называли «развитый социализм». Он же произносил, естественно, «развитой». Среди профессоров произошла некоторая пауза, а потом в «Правде» появилась статья академика от марксизма-филологизма, где академик объяснил народу, что Леонид Ильич вовсе не случайно так говорит. Просто помимо «рАзвитого» социализма существует еще и «развитОй», это разные социализмы. Второй вид — круче. К нему стремимся. Еще бы они с ним спорили, если Леонид Ильич был уже награжден Золотой медалью Карла Маркса от АН СССР как классик марксизма-ленинизма.

Нравилось Леониду Ильичу читать всякие речи и доклады, телевидение показывало это всей стране. По всем трем каналам. Говорят, что, когда заработал четвертый канал, все пробовали переключаться на него, но там на экране уже сидел человек со строгим лицом и говорил: «Я тебе попереключаю!» Скандал произошел лишь однажды, когда страна, слушая любимого вождя, вдруг обалдела, потому что вместо привычного текста раздалось какое-то пение и Генеральный секретарь забубнил замогильным голосом: «И ныне, и присно, и во веки веков!» Оказалось, что в это время по проклятой новой кнопке шел какой-то фильм из старинной жизни, кого-то там венчали в церкви или хоронили и звук оттуда попал на соседние каналы. Ну, уволили виновных и далее уже никто не сбивался.

Лишь однажды он изменил себе, отправившись выступать во Францию, где все очень любят ораторское мастерство. И представьте себе, Леонид Ильич придумал, как выйти из положения. Он попросил написать ему речь покороче и выучил ее

наизусть. На приеме в Елисейском дворце все им просто любовались. И хотя он половину речи забыл, а вторую перепутал, да и говорил невнятно, никто этого не заметил, поскольку переводчик тоже выучил эту импровизацию наизусть и шпарил ее взволнованно и с подъемом.

Позже у филологов и спичрайтеров жизнь стала просто ужасной. Что-то случилось с челюстями генсека, и Леонид Ильич стал плохо выговаривать все слова. Скажет, например, «социалистические страны», а выходят «сосиськи сраные». Как он это в первый раз произнес, вся мясомолочная промышленность СССР оцепенела. Потом уж разобрались и перевели дух. Фу-у.

В общем, он был близок к народу. Это интеллигенция его не любила, а простые люди — очень даже хорошо к нему относились.

Особенно медсестры его любили. И он любил медсестричек. А что? Чистенькие, беленькие и все время о тебе беспокоятся. На одной даже хотел жениться. Была такая Тамара, войну с ним прошла. Вот он и хотел. Хотя у самого уже семья.

«Какая это была женщина, Тома моя! — признавался он младшему брату Якову. — Любил ее как… Благодаря ей и выжил. Очень жить хотелось, когда рядом такое чудо. С ума сходил, от одного ее голоса в дрожь бросало. Однажды вышел из блиндажа, иду по окопу. Темно было совсем, ночь была сказочная, с луной, звездами. Слышу, Тамара моя за поворотом с кем-то из офицеров разговаривает и смеется. Остановился я, и такое счастье меня охватило, так что-то сердце сжалось, прислонился я к стене и заплакал».

Просто человек он был чувствительный и нежный. Вот в чем дело. Бывший канцлер ФРГ Брандт так его однажды и сформулировал: «Русская душа, возможны быстрые слезы». Очевидец рассказывал, что когда Председатель Всемирного совета мира индус Чандра в изысканных выражениях восхвалял миролюбие советского вождя, все полагали, что увидят на лице товарища Брежнева некую приличествующую случаю досаду или нетерпение, смотрят, а он плачет. Потом он расплакался в Болгарии, слушая, как хвалит его Тодор Живков. Так дальше и пошло. Перестал сдерживаться.

Искусство от этой его особенности очень выигрывало. Все помнили, как бесчувственный Хрущев обзывал деятелей советского искусства «пидарасами». А Леонид Ильич нет. Вот, например, собрались запретить «Белорусский вокзал». Авторы упросили показать фильм Леониду Ильичу. А там, в этом кино, собираются однополчане и поют песню Окуджавы о десантном батальоне. Ну, Леонид Ильич и заплакал. Фильм сразу

разрешили. Точно так же разрешили вырезанный было уже кусок из «Калины красной», где Шукшин рыдает по своей матери возле разрушенной церкви. Ужас! Это что еще за опиум для народа?! А Леонид Ильич увидел и тоже разрыдался. Оставили опиум.

Так вот, о медсестричке. Жена его, генеральша Виктория Петровна, о фронтовом романе знала все. Но ведь и преимущества были на ее стороне: она — законная жена с двумя детьми, Галей и Юрочкой. А партийному человеку развод — это партбилет на стол. Пришлось незаконной Тамаре сделать несколько абортов, после которых у нее, бедной, не было даже возможности отлежаться. Война-с!

И будто бы о незаконной любви полковника с медсестричкой доложили Сталину. И будто бы: «Ну что ж, — сказал вождь, — посмотрим, как он поведет себя дальше». И сразу это полковнику передали. После чего Леонид Ильич, как выразился брат его Яков, «наклал в штаны». Еще бы. Везло-везло, а в любой момент могло и закончиться на раз-два.

Вообще-то сомнительно, чтобы Сталину чего-то про Брежнева докладывали. Господи! Про какого-то полковника! У Сталина генералов-то было немерено, и то ли еще творили они на войне! Просто когда Леонид Ильич сам стал ужасен и велик, все подчиненные уверились, что Сталин, естественно, знал, что это там за полковник у него завелся, и лично наблюдал за его жизнью и продвижением, поскольку был не только всемогущ и вездесущ, но и всеведущ.

В общем, после перепуга роман с Тамарой у Леонида Ильича затух, хотя потом, когда Сталин умер, возобновился и тянулся долгие годы, то они сходились, то расходились. И все это знала законная жена. Докладывали.

Племянница его, дочка брата Якова, рассказывала, что однажды на каком-то праздничном приеме отец, то есть Яков, ее толкнул: «Посмотри на пару, которая сейчас вошла. Это Тома, боевая подруга Леонида. Ленька был в нее влюблен без памяти». Рядом с седым представительным мужчиной в генеральской форме стояла полноватая, но еще стройная женщина в элегантном вечернем платье, с красивой прической и уверенным, но доброжелательным лицом. В глазах ее и улыбке была неповторимая прелесть, и мне сразу стало понятно, почему эта женщина долгие годы играла такую роковую роль в жизни дяди. Красавица она была редкая!

Увидав отца, она вся так и вспыхнула, и радость озарила ее лицо. Отец пожал руку генералу, хотел поцеловать Тамаре руку, но она вдруг порывисто, совсем не по-светски обняла и расцеловала его тепло и просто. Они беседовали недолго, и отец

вернулся ко мне, растроганный, с влажными глазами. «Дурак Ленька, — сказал он мне, — сам несчастный и ее не пощадил. Только о нем и расспрашивала».

Когда Леонид Ильич перебрался в Москву, он устроил Тамаре квартиру в престижном районе — на Соколе. Виктория Петровна просто из себя вышла и не хотела входить обратно: мало того что эта ППЖ хотела увести отца у детей, она еще пользовалась его возможностями! Леонид Ильич опять перепугался, задрожал и говорит, что это не он, это все брат Яков. За обедом Виктория Петровна сказала брату Якову: «Ты, Яша, как был дурак, так им и остался. Как брат ты можешь, конечно, Леонида покрыть, но не до такой же степени. Может, ты еще скажешь, что спал с ней вместо него?» Леонид Ильич совсем испугался, плюнул с досады и вышел из-за стола.

Жену свою Леонид Ильич не любил. За что ее любить: страшная такая! Он и звал-то ее Витей, как пацана. Он просто женился на ней рано, в двадцать один год. Случился гормональный взрыв, и сразу наметился ребеночек, а в этих случаях по тем временам и красавцам приходилось жениться на ком попало. К тому же Виктория Петровна собиралась стать медсестрой, а про медсестер мы уже знаем. Но, выйдя замуж, собираться в медсестры она вдруг перестала. Может, потому Леонид Ильич в ней и разочаровался? Так или иначе, она задвинулась на второй план, откуда за всем и наблюдала. Естественно, в политическую жизнь не лезла: во-первых, ничего в ней не понимала, а во-вторых, Леонид Ильич, по натуре человек мягкий, тут свирепел и даже употреблял мужские выражения. Ну не любил он ее.

Иногда до дрожи. Едва став генеральшей, Виктория Петровна решила, что ее гардероб не соответствует статусу, и устроила мужу скандал по поводу женских тряпок. Тут Леонид Ильич вышел из себя, сгреб ее платья и туфли, схватил топор и изрубил все в мелкие кусочки. Еле брат Яков его оттащил. Сели они на кухне с братом Яковом, налили, выпили. Леонид Ильич выпил и заплакал. Потом брат Яков жалел: «Дурак я, что не дал тогда Леониду башку ей отрубить».

А что поделаешь! Ведь Леонид Ильич не Викторию Петровну боялся. Он боялся, что покарает его суровая рука товарищей. А что он без них? Ну а потом и привык.

Так и жили. Он работал. Виктория Петровна накопительствовала. В Москве у нее была однокомнатная квартира, где она хранила подарки, полученные Леонидом Ильичом от разных стран и народов. Виктория Петровна иногда наведывалась туда: проветрить, протереть пыль, пересчитать. На

полу стояли коробки, перевязанные и упакованные. На некоторых было написано: Викусе, Андрею, Галине, Марте, Лере… Заботилась о наследниках. И не любила брата Якова. И очень хотела его с Леонидом Ильичом поссорить.

И вот донесли до нее сведения о том, что этот брат Яков ходит по спецмагазинам с какой-то своей шатией-братией и берет там заграничные товары, будто он и не брат, а сам генеральный секретарь. А там боятся и дают. А братия потом продает их по спекулятивным ценам. Пошла она и настучала на брата Леониду Ильичу. Тот вызвал брата Якова в ЦК и сказал, что если что, отправит его «куда-нибудь к чертям собачьим»! В глушь! На Урал! Простым директором металлургического завода!

Не мастером, не начальником цеха — директором! Вот какая была в нем особенность. Никто из окружавших его людей и товарищей от его немилости не страдал никогда.

Уж даже если совершил человек чего-то такое, что его гнать надо взашей, все равно он оставался в «номенклатуре», ну, рангом пониже сделают. Ну, уж если совсем дело плохо, тогда — на пенсию, тем более что все вокруг по возрасту уже пенсионеры. Его же окружали товарищи. Если взглянуть на анкеты многих ребят из ЦК КПСС, можно подумать, что металлургические институты в Днепропетровске и Днепродзержинске готовили не инженеров-металлургов, а сплошь политиков. Оттуда и Щербицкий, и Щелоков. Из Кишинева явились Черненко и Цвигун. А Бугаева, личного пилота Леонида Ильича, сделали попозже министром гражданской авиации и Главным маршалом авиации.

Имя товарищам было — легион. Все сделаем, дорогой Леонид Ильич, говорил легион, ты не беспокойся, радуйся, жируй.

Нет, можно было бы так жить, если бы не еще одна женщина, которую просто некуда было деть, потому что она была его дочь.

«Отец говорит, что одним глазом ему приходится следить за страной, другим — за мной», — хвасталась она приятелям, потому что о ее попойках и похождениях ходили легенды.

Можете себе представить, что Первый секретарь ЦК КП Молдавии, а Леонид Ильич как раз тогда и командовал Молдавией, приходил в университет и просил студенток из группы, где училась дочь, повлиять на нее. «Нехорошо, — говорил им первый секретарь, — я возглавляю партийную организацию всей республики, а моя дочь даже не хочет стать комсомолкой». Но как заметила однажды дочь: «Всю жизнь я только любовью занималась».

Ну не любила она комсомольскую работу. Она любила цирк и циркачей. Когда в Кишинев приехал на гастроли передвижной

цирк «Шапито», Галина ходила на все его представления. Вскоре цирк уехал, а вместе с цирком, бросив университет, уехала и Галина. Уехала вместе с неким Евгением Милаевым, силачом, который в одиночку держал на себе пирамиду из десяти человек.

Он был на двадцать лет старше Галины, у него было двое маленьких детей от первого брака, и она прожила с ним десять лет, разъезжая вместе с цирком по стране и миру в качестве костюмерши.

Впрочем, через год заглянула к папе с мамой, чтобы оставить им маленькую дочку, которую дед и баба сразу полюбили.

И хоть дальше Галина развелась со своим силачом, родители неизменно брали сторону папы своей внучки. Перестав выступать на арене, папа вдруг получил звание заслуженного, а потом народного артиста СССР. Не успел опомниться, вдруг дают ему Героя Социалистического труда и назначают директором нового цирка на Вернадского. Потому что хорошую внучку родил.

А 35-летняя Галина уже полюбила 20-летнего Кио, сына иллюзиониста. На одном из южных курортов они явились в местный ЗАГС. А в СССР запрещалась немедленная регистрация, но заведующая загсом испугалась дочку генсека и нарушила закон. Объявила Галину и Игоря мужем и женой. И зря. Потому что вскоре на ближайшем аэродроме приземлился самолет, несколько могучих мужчин сели в машину и поехали к вилле, на которой жили счастливые молодожены. Взяли Галину под ручки и увезли в Москву. А Игоря Кио вызвали в милицию, где у него отобрали паспорт и вручили новый, без всяких следов регистрации. Заведующую загсом с должности сняли и отдали под суд. А не нарушай! И все потому, что деду и бабе нравился силач и не нравился фокусник.

И вдруг мужем Галины, третьим по счету, стал подполковник милиции Юрий Чурбанов. Он был, конечно, всего на 7 лет моложе Галины, зато у него уже была жена и двое детей. Но он их сразу разлюбил, едва полюбил Галю. На этот раз Леонид Ильич не возражал. Потому что новый зять был милиционер. Леонид Ильич очень на него рассчитывал. Кому еще в руки можно передать такую дочь, как не милиционеру?

Молодожены получили отдельную квартиру в Москве, им построили отдельную дачу недалеко от дачи отца. Зять из подполковника стал генерал-лейтенантом и первым заместителем министра внутренних дел СССР. А Галя продолжала шляться по всяким компаниям и напиваться. Правда, напившись, она теперь объявляла: «Я люблю искусство, а мой муж — генерал».

Леонид Ильич начал стареть. И подлечиваться. Больше всего из лекарств он полюбил некое «снотворное», которое его сразу

взбадривало, и он снова чувствовал себя молодцом. Как вспоминает его охранник, «мы пытались его удержать, сражаясь за каждую лишнюю таблетку. Чтобы упорядочить прием лекарств, придумали постоянный медицинский пост при генсеке, одна из медсестер, как на грех, оказалась молодой и красивой, установила с Брежневым „особые отношения“, и он дал указание: „Пусть будет следить за мной одна она“».

То есть в его жизни снова возникла медсестра.

Медсестре Нине было наплевать на то, что он генеральный секретарь, борец за мир, литературный лауреат и знаток марксизма-ленинизма. Она говорила, что он для нее просто красивый мужчина с черными бровями, для которого она готова на все. Она вернула ему жизнь, то забытое ощущение молодости, тот смех в окопе, а «снотворных» таблеток она приносила уже сколько хочешь. Доставал их ее муж, капитан. Леонид Ильич больше не делал без нее ни шагу. Муж-капитан вскоре стал генералом. Медсестренка же теперь сидела возле Леонида Ильича на всех заседаниях Политбюро, в ее присутствии обсуждались всякие секретные проблемы.

И тут очень забеспокоился председатель КГБ товарищ Андропов. Потому что невесть откуда взявшаяся Нина неожиданно начала представлять собой государственную опасность. При ней приходилось обсуждать военные планы, секретные донесения и, что хуже всего, всякие денежные дела, ведь кормить приходилось все свободолюбивые народы и всех борцов с тиранией капитализма. Кому сколько.

А Леонида Ильича уже несло. Он одергивал Андропова, который намекал ему, что нельзя мешать личную жизнь с проблемами безопасности всей страны. Куда там!

Вместе с Ниной смотрел Леонид Ильич любимые ее фильмы. С опозданием (раньше все некогда было) посмотрел, наконец, «Семнадцать мгновений весны», а Нина сказала ему, что разведчик Исаев жив и поныне, но всеми забыт. И Леонид Ильич разволновался и отдал приказ: «Найти и наградить!» — «Нет никакого Исаева, — отвечали ему поисковики, — есть актер Тихонов!» — «Наградить Золотой Звездой Героя актера Тихонова!» Наградили.

Бедный товарищ Андропов чувствовал себя чужим и ненужным. Никого не было теперь у генсека ближе Нины. И тогда под руководством КГБ, Министерства внутренних дел и Минздрава была разработана операция по устранению ужасной Нины.

И ее устранили, объяснив Леониду Ильичу, что иначе нельзя никак, потому что… ну, никак. И она ушла, тихо плача. А муж ее,

генерал, приносивший таблетки, вдруг погиб в автокатастрофе.

И Леонид Ильич снова остался один. И не было никого на свете, кто был бы ему мил. Хорошее кончилось. Его уже не волновало ни то, что дочь спуталась с каким-то цыганом-альфонсом, замешанным в какие-то подпольные дела, ни то, что она вместе с женой Щелокова спекулирует бриллиантами, что ее друга Соколова, директора Елисеевского магазина, вот-вот посадят, ему пытались, конечно, рассказать, но он уже не внимал, он хотел в отставку. Как вспоминал один из ближайших его помощников Александров-Агентов, Леонид Ильич дважды просился в отставку, но старцы Политбюро его не отпускали. Им страшно было, ведь многие из них выглядели еще хуже. Разваливался Черненко, тоже уже принимавший большие дозы «снотворного». Один Андропов как-то еще держался. Ну, он, вообще-то, был и помоложе.

И вдруг все посыпалось. Само собой. И — рухнуло.

Товарищ Андропов, еще сохранявший трезвый ум и холодные руки, зорко следил за распадом окружения вождя, его регулируя и направляя.

Сначала попался молодой цыган Буряце, которого любила Галина. Она уже сделала его солистом Большого театра, хотя на сцену он пока ни разу не выходил, да и кто бы его пустил? Он попался после крупной кражи бриллиантов у дрессировщицы Бугримовой. Его заложили воры. Сам он тут же стал закладывать всех, кого мог. В сведениях о «бриллиантовых» делах всплывали имена не только Галины Брежневой, но и Соколова, и жены Щелокова, и многих других людей, которых даже допрашивать без санкции Политбюро не решался никто. Весь компромат держал под контролем первый заместитель председателя КГБ генерал Семен Цвигун, свояк Брежнева (они были женаты на родных сестрах).

Товарищ Андропов поручил Цвигуну обсудить сложившуюся ситуацию с Сусловым, вторым лицом в Секретариате ЦК и в Политбюро. Но, вернувшись от Суслова домой, Цвигун вдруг принял ампулу с цианистым калием, а у 80-летнего Суслова случился инсульт, язык у него перестал шевелиться, и добиться от него чего-нибудь не представлялось уже возможным. А через несколько дней он вообще помер.

Тогда товарищ Андропов решил действовать сам. Был арестован и расстрелян Соколов. Буряце посажен в тюрьму. Министр внутренних дел Щелоков снят со своего поста, исключен из ЦК КПСС, жена его покончила с собой, выбросившись из окна.

Уголовное дело на Щелокова тянулось долго и закончилось тем, что однажды он надел парадную форму генерала армии со

всеми орденами и медалями, зарядил охотничье ружье и выстрелил себе в рот.

Сын Леонида Ильича Юрий, хронический алкоголик, который был и членом ЦК КПСС, и заместителем министра внешней торговли СССР, потерял все свои посты и был отправлен на пенсию, хотя ему еще и не исполнилось 60 лет. Был посажен Чурбанов.

Дочь Галину дважды принудительно лечили от алкоголизма. Она жила на даче в поселке Жуковка под Москвой, которую ей когда-то построили за бесценок по распоряжению отца. С дачи ее не выпускала охрана. Суеверные охранники рассказывали, что по ночам она вдруг возникала в дверях в каком-то халате, натянутом на огромное тело, с лопатой в руках. Долго стояла и вдруг принималась ходить по участку, что-то бормоча и раскапывая землю, разыскивая, видимо, зарытые ею в разное время драгоценности.

Но все это уже не тревожило Леонида Ильича, потому что он умер. И когда гроб его опускали в яму за Мавзолеем и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой, над Кремлем поднялись и заслонили небо тысячи перепуганных насмерть ворон. И многие крестились, полагая, что грядут страшные времена.

Так и кончилась длинная жизнь генсека, в которой никого он не спас. И никому не помог. Бедный.

А какая славная была эпоха! И как разом развалилась. Через год умер и злой гений Андропов, еще через год развалина Черненко. Все умерли. Ничего себе!

Страшила Мудрый

Чучело, чучело! Всех людей измучило!

Такого, как Сальвадор Дали, мир не видывал. Видывал философов, проживавших в бочке, юродивых, летавших с колоколен, слыхивал кликуш, предсказывавших бедствия и чудеса, разевал рот перед в пух и прах разодетыми франтами, но ничто так мир не прогибало. И такого, я думаю, мир никому не позволит больше никогда. Ему вот так хватило Дали.

Что же это было?

В былые дни поутру всякий раз мне попадался доктор наук дядя Валера, совершавший у подъезда свой моцион. «Знаешь, чем ты от меня отличаешься? — задирал меня дядя Валера. — Я дышу, расправив грудь, любуюсь на ножки весенних дам, а ты — дачник. Ты ходишь сутулый, мордой в землю и глазами шаришь, где бы спи…ть трубу».

Отомстила за меня его родная дочь: толстый домашний ребенок, как-то незаметно достигший пубертатного состояния. Вдруг среди бела дня оказался я окружен стайкой малолеток, разодетых, как японские горные ведьмы, и одна их них с абсолютно выбеленным лицом и огромным раскрашенным ртом (о господи! Это была дяди-Валерина дочь!) кинулась и повисла у меня на шее с победным криком: «Вован!» — показывая подругам, какой у нее, в отличие от них, дур и растерех, уже завелся Папашка. Совершив нарушение правил, счастливая вернулась к своим упавшим от ужаса и восхищения подругам, а я побрел дальше, растирая по лицу помаду и размышляя о том, что делает с детьми переходный возраст.

Теперь представьте, что в состоянии чего-то похожего наш ужасный Сальвадор находился непрерывно — с рождения до смерти.

Однажды великий советский Арам Хачатурян, сочинивший «Танец с саблями» (нынешние дети его знают, поскольку попал в мобильники), захотел, будучи во Франции, чего-нибудь растленного, ну, например, взглянуть на Дали, который в нашей стране был определен как буржуазная отрыжка. Которая на вопрос, например, о пролетариате надменно отвечала: «У меня нет знакомого с фамилией Пролетариат».

Хуже того. Эта жертва разложения время от времени выдавала нечто вроде: «Я хочу написать Ленина с ягодицей трехметровой длины, которую будет подпирать костыль. Для

этого мне понадобится пять с половиной метров холста. На руках у него будет маленький мальчик — это буду я. Но он будет смотреть на меня людоедскими глазами, и я закричу: он хочет меня съесть!..» Это все он и изобразил. И выставил. И заявил: «Коммунизм неустанно деградирует. Судите сами: Маркс был необыкновенно волосат, Ленин носил бороду и усы, Сталин только усы, а у Хрущева и того нет!»

Ладно Ленин. Он и про Гитлера! «Гитлера я рассматривал как законченного мазохиста, одержимого навязчивой идеей развязать войну с тем, чтобы героически ее проиграть!» И что? А то: «Я буквально бредил Гитлером, который являлся мне в образе женщины. Я был зачарован мягкой пухлой спиной Гитлера, которую так ладно облегал неизменный тугой мундир. Мягкая податливость проступавшей под военным кителем гитлеровской плоти приводила меня в настоящий экстаз. И я сказал Гале:

— Принеси мне амбры, растворенной в лавандовом масле, и самых тонких кистей. Никакие краски не смогут насытить моей жажды, когда я начну изображать тот сверхпитательный бред, тот мистический и одновременно плотский экстаз, который охватит меня, едва я начну запечатлевать на холсте след гибкой кожаной бретельки, врезающейся в плоть Гитлера…»

Ну, больной человек! И как все больные, естественно, заявлял: «Мое отличие от сумасшедшего в том, что я-то — не сумасшедший!» Ха-ха! А прогнивший Запад радостно потирал ручки.

Вот на какую опасную гадость захотелось взглянуть Араму Ильичу. Эмигранты подсуетились, организовали. Увы, Дали о Хачатуряне услышал от них впервые, но вскоре Араму сообщили, что престарелый Дали (ему было под семьдесят) готов принять «человека из России» в своей Испании поутру. И Арам пустился. В какой-то Фигерас, с пересадками…

Он уже догадался, что западные умники считают гением не Хачатуряна, а Дали. Поэтому, про себя усмехаясь, но весь при параде, явился точно в назначенный час во дворец, где проживала отрыжка. Его ввели в огромный зал, и некоторое время он оглядывался, не понимая, где спрятан и откуда вывезут Ужасного Старца. И вдруг со страшной силой отовсюду загремел «Танец с саблями», двери распахнулись, и в зал влетел абсолютно голый старикашка с торчащими кверху усами и под музыку принялся бешено скакать, размахивая двумя саблями. На последних тактах он ускакал за двери, они захлопнулись, и ошарашенный Арам некоторое время чего-то ждал. Может, кофе.

Но вошел надутый дворецкий и на весь пустой зал гулко объявил, что аудиенция закончена.

Естественно, этот разложенец был сказочно богат. Более того, всем рассказывал, как он любит денежки. «Вот какой я нехороший! Полюбуйтесь на меня!»

Еще в тридцатые годы Андре Бретон склонность эту заметил и подобрал из букв имени и фамилии этого деньголюба анаграмму, вышло замечательно: «AVIDA DOLLARS» («Хочу долларов»). На что деньголюб высокомерно заметил, что вряд ли это можно считать крупной творческой удачей поэта, хотя, впрочем, его далианские честолюбивые намерения достаточно точно отражены. И даже стал подписываться этой позорной анаграммой. Утверждая, что у него страсть эта вовсе не от жадности, тут заложена идея. «Лучший способ не поступаться ничем ради денег — это иметь их самому. Тогда не будет надобности вставать под чьи-то знамена, служить кому-то или чему-то. Герой нигде не служит». Про Героя он вычитал у своего земляка, был такой каталонский философ Франсиско Пухольс, тот прямо резал: «Величайшая мечта человека в плане общественном есть священная свобода жить без необходимости работать». Кроме Пухольса, еще в детстве Дали начитался про умерших в дикой бедности Сервантеса и Христофора Колумба (этот вообще умер в тюрьме) и решил, что с ним такое безобразие не пройдет. И потому составил план, как напастий избежать. Вернее, планов было два:

1. Как можно раньше отсидеть в тюрьме.

2. Найти способ стать мультимиллионером. Оба плана он выполнил. Еще в Школе изящных искусств в Мадриде пришел на занятия, как всегда опоздав, а там учащиеся бунтуют: противного педагога им назначили! Дали пришел к самому разбору, когда уже все расходились, когда уже позвали полицейских, они его и поймали. Подержали в каталажке и отпустили, поскольку арестованный явно не понимал, о чем его спрашивают. Но общение с отверженными обитателями каталажки состоялось, первый пункт — вычеркиваем. А вот способ разбогатеть долго ему не давался.

Способы разбогатеть Дали принялся изобретать с детства. Школьником. Учился он отвратительно, но вдруг сделал грандиозное математическое и финансовое открытие: деньги можно купить! И принялся скупать деньги у всех, кто был на это согласен. Естественно, за деньги. Он скупал монетки в пять сентимо, уплачивая за каждую — десять. Из тех, что дали родители! То есть «не свои» деньги он превращал в «свои». Окружающие были счастливы, родители почему-то рыдали.

Более того, родители констатировали, что их мальчик был столь рассеян, что, спросив в трамвае цену билета и услышав «пятьдесят», давал пятьдесят песет (а вовсе не сентимо). «У меня такой сын, — подбил жестокий итог папа-нотариус, — который не имеет ни малейшего контакта с действительностью, он не знает, что такое монета в пять сентимо, или песета, или дуро, или любая бумажная купюра. Вы понимаете, он не имеет о жизни никакого понятия, он — безнадежный случай!»

Учась в Мадриде, он тратил за несколько дней то, что родители присылали ему на месяц, и вечно ходил голодный. Однокашники быстро сообразили, что он не очень реально представляет себе устройство жизни, он, например, заходит в первую попавшуюся лавочку, к какому-нибудь торговцу рыбой и требует продать ему кисти и краски и негодует, когда хозяин уверяет, что ничего подобного не держит. Однокашники быстро сообразили, что товарищу надо прийти на помощь, и они моментально бежали покупать для него все необходимое, при этом за бумагу, которая стоила реал, они брали с него три, поскольку ему-то было абсолютно все равно. «Господи! — говорил папа, посылая сыночку очередные деньги. — Он умрет под забором!»

Приятель его Гарсия Лорка вспоминал те прекрасные дни: «В какой-то день мы с Дали оказались полностью на нуле. Мы растворили окна настежь и стали взывать к прохожим о помощи — заблудшие и потерянные, поскольку находились в пустыне. Два дня мы обходились без бритья и безвыходно проторчали в комнате. Половина Мадрида отметилась в нашей хижине».

К ужасу папы, который и так поддерживал своего непутевого ребенка из последних сил, его выгнали из Школы изящных искусств, потому что, явившись на экзамен и взяв билет, он вдруг сказал: «Вопрос пустяковый, но я на него вам отвечать не буду, потому что вы все равно ничего не поймете. И научить меня ничему не можете. Я вас покидаю!» Все решили, что мальчик сошел с ума. Как же он сможет прожить без педагогов, которые готовили его к должности учителя рисования, как же… Он — сумасшедший. А что еще можно подумать о человеке, который заявляет, например: «Больше всего на свете я презираю Родена, который изваял этого „Мыслителя“. В такой позе не то что мыслить — даже гадить неудобно!» Только руками развести!

Покидая Мадрид, он решил потратить все деньги, которые только что получил от папы, и устроил однокашникам умопомрачительный прощальный вечер. На улице к нему пристала нищенка. Тащилась за ним и клянчила. Но на углу у Испанского банка он столкнулся с прелестной цветочницей — она

протянула ему гардению. Богатенький Сальвадор дал ей сто песет за всю корзину, потом повернулся к нищенке, которая не отставала, и одарил ее корзиной гардений. Старуха застыла соляным столбом.

Наутро он не стал собирать вещи, так и уехал, без багажа. Его появление повергло семью в шок: «Мало того что он исключен из школы, так еще вернулся без вещей. Чистой рубашки не захватил!» — сказала мама. «Господи! — сказал папа. — Он умрет под забором!»

Видимо, так бы оно и случилось и план № 2 остался бы не реализован, если бы чуть позже в жизни золотомечтателя не появилась Гала, женщина с репутацией шлюхи и наркоманки, старше его на десять лет, уже побывавшая замужем, пожившая сразу с двумя мужчинами, родившая дочь, Гала, которая взяла на себя все заботы о приумножении его богатств.

Она стала его моделью, любовницей, продюсером, рекламным агентом, его экономкой и банкиром. Она была расчетлива и жестока в обращении с деньгодателями и деньгопросящими. Она была хищной бизнесвумен, и многие ее ненавидели и боялись. И все, что зарабатывал руководимый ею художник, все его капиталы, его не имеющая цены художественная коллекция, его дома — вскоре стали принадлежать жене Гале, то есть Елене Дмитриевне Дьяконовой.

Как-то он спросил Аманду Лир: «Я ведь рассказывал про улетевшие банкноты? Это случилось, когда у нас впервые появились какие-то деньги. Мы с Галой приехали на автобусе из Парижа в Порт-Боу, дул сильный северный ветер с гор. Я держал наши бумажные деньги, крепко зажав их в кулаке. Гала твердила, чтобы я спрятал их в карман, не то потеряю, но мне из суеверия хотелось чувствовать их в руке. Выбравшись из автобуса, я на миг разжал ладонь — и все банкноты до одной разлетелись в разные стороны. У нас не осталось ни гроша. Гала — она так рыдала, бедняжка! С тех пор она вечно боится, что я потеряю деньги, и умоляет меня носить с собой чековую книжку».

И хитренькая Аманда заметила лицемерно: «У него никогда не было при себе ни гроша. Из опаски, как бы он не потерял их или не потратил впустую, Гала не давала ему наличных денег. А едва он получал чек, он тут же передавал его Гале, и та прятала чек к себе в сумочку». Все свои счета в магазинах, отелях он просил пересылать Гале, она их оплачивала, он был у нее на содержании. И, желая подольститься к жене, которая держала его в строгости, он как-то сказал журналистам: «Я люблю Галу больше, чем отца, больше чем мать, больше, чем Пикассо. И даже больше, чем деньги».

Мальчик сошел с ума? Всю жизнь он трубил о своей любви к деньгам, которых на самом деле и в руках-то у него не было? Ничего он не сошел. Даже сознался однажды: «Я понятия не имею, беден я или богат. Всем распоряжается жена. А для меня деньги — мистика». А ближе к старости вообще говорил покаянно, что «если бы я не встретил Галу, я кончил бы свой век в конуре, отрепьях, изъеденный вшами…» Ну и зачем ему деньги в руках, если он стал наконец жить именно так, как и планировал (вычеркиваем пункт № 2). Не беспокоясь ни о какой службе, делая лишь то, что нравится. Как Герой.

Варианты

Хотя вообще-то шансов сойти с ума у него было предостаточно. О себе в детстве он вообще вспоминал как о существе малоперспективном: «Я был вялым, трусливым и противным».

И рос он в подходящем месте, может быть, самом подходящем из испанского захолустья. Причем это не просто была Каталония, это был Кадакес, рыбацкая деревушка, заключенная в кольцо скал, где совершенно ненормальные перепады погоды и девять месяцев несется, гнет деревья и выматывает душу трамонтана. Местные рыбаки сходили там с ума через одного, и по сию пору возле церкви стоят старые деревья, на ветвях которых непрестанно кто-нибудь вешался.

И всю жизнь этот несчастный Дали рисовал, по сути, лишь одну картину: равнину Ампурдана, на которой торчат искривленные трамонтаной засохшие оливы, и зубастые камни мыса Креус, на котором ни одна скала, сточенная ветрами или водой, не похожа на просто камни, это фигуры уродов, и у каждой скалы есть имя, о каждой рыбаки рассказывают угрюмые истории, в каждой живет чья-то чудовищная душа. Ему даже придумывать ничего было не надо, нанося на холст вот эти, например, угластые человеческие профили, клюющие носом, на Креусе любой мальчишка покажет вам нависший над землей огромный носатый камень, имя ему — Спящая старуха.

Поэтому странности какого-то там ребенка в Кадакесе не трогали вообще никого.

Но этот мальчик даже родиться сразу не сумел. Сразу не получилось. То есть у папы и мамы родился было ребенок Сальвадор Дали с явными признаками гениальности на лице, но признаков было чересчур, Сальвадор их не перенес и, не прожив года, скончался. Переборщили. Родители тут же принялись за

вторую попытку. И вот в мае 1904 года снова родился Сальвадор, в нынешнем мае будет как раз 105 лет с этого дня. У нового Сальвадора Дали гениальных признаков на лице было поменьше, поэтому он выжил.

Мама любила водить его на кладбище, где он читал на надгробном камне собственное имя и преисполнялся гордости, поскольку вот сидит живой, а под камнем — первый вариант. Временами он, конечно, запутывался, поскольку вообще-то Сальвадоров Дали было три, папу тоже так звали, поэтому сын часами сосал палец, размышляя, какой же он номер — второй или третий. Тем более что папа по-прежнему любил лишь номера первого, хранил его игрушки, был строг и суров с номером вторым. Зато мама любила второго номера безмерно и прощала ему все выходки. Она разрешала ему совершать все, что взбредет в голову, всем восхищаясь, поэтому однажды он решил, что любые его выходки просто изумительно хороши.

Мама купила крошке-сыну королевский наряд. Корону, мантию, скипетр. Он, бывало, оденется королем и стоит в темной комнате, держа свой скипетр одной рукой, а в другой сжимая хлыстик, чтоб отхлестать всякого, кто придет смеяться над ним.

С папой было напряженно. Папу все это мамино сюсюканье и избалованность ребенка дико раздражало. А ребенок еще и постоянно вредил папе, до восьми лет специально писался в постели, устраивал сеансы притворного кашля. Он дразнил папу, прекрасно понимая, что каждый раз тому невыносимо хочется прихлопнуть этого дубля.

Вообще-то мальчик был совершенно не уверен в реальности собственного существования, поэтому все время проверял мир на прочность, хотел убедиться в его реальности. Ну, например, отправился он гулять с еще более крошечным ребенком, который катил впереди него на трехколесном велосипедике. И вот переходят они мост с недостроенными перилами. И маленький король, оглянувшись по сторонам, как толкнет этого несчастного велосипедистика с моста и смотрит, как тот летит с четырехметровой высоты прямо на скалы, и неведомая слабость и сладость охватывает его ручки и ножки, и страшная дрожь от содеянного. И вот он уже бежит домой сообщать, что его попутчика пора спасать. Разбившееся дитя достают из-под моста, он весь в крови, но — жив. Никто ни о чем не спрашивал. Все содеянное осталось тайной.

Так был ли упавший мальчик настоящим? Или нет? Где измеритель настоящести?

Потом появилась сестренка, которую он тоже всячески испытывал на жизнеспособность, проверял: настоящая или тоже

взамен кого-то? Например, смотрит как-то: сестренка важно путешествует по коридору на четвереньках, он изо всех сил как дал ей пинка по голове, она кувыркнулась и заверещала. Братик помчался в диком возбуждении от нового преступления. Но в этот раз его застукал папа. Мама плакала и говорила, что все дети жестоки, потому что не знают чужой боли, что мальчик всего лишь осваивается в этом чужом для него мире. Но папа схватил бедного испытателя за уши и начал его трясти, а потом на целый вечер запер в темный кабинет.

Попозже сын взял как-то и нарисовал себя в руках у папы-людоеда, но с котлетой на своей голове, в надежде, что папа сначала съест котлету и на этом остановится. В общем, непростая шла жизнь.

А сестренку мальчик полюбил, и когда однажды пришел старичок-доктор, чтобы проколоть девчонке ушки для сережек, брат выскочил с веничком и так отхлестал доктора по морде, что тот заплакал от боли. После чего мальчик полюбил и доктора. Стал часто объявлять себя больным, хотел, чтобы снова пришел добрый доктор с бородой и всячески с ним возился.

Мальчика отправили в школу, в обычную, где ему, ребенку из зажиточной семьи, предстояло встретиться с самыми бедными детьми Фигераса. Так захотел папа. Зато мама давала ему с собой горячий шоколад в термосе, на чехле которого были вышиты его инициалы. Мама одевала его в темно-голубой костюмчик, расшитый золотом на манжетах, надевала ботиночки с серебряными пуговками, а в руках он вертел маленькую бамбуковую трость с серебряным набалдашником.

Беда-то была в том, что ему никогда не удавалось самому снять с себя курточку или надеть. Он настолько оказался ни к чему не приспособлен, что мог заблудиться, оказавшись в незнакомом доме. Он мог провести целый день взаперти лишь потому, что не знал, как справиться с дверной ручкой. Мама расчесывала и опрыскивала духами его волосы, и рыбацкие дети в школе подходили к нему и обнюхивали. Он не играл с ними и даже не разговаривал. Они затеяли драку из-за серебряной пуговки, которая оторвалась с его ботинка. Мальчик с тоской смотрел на этих бестий, способных из листа бумаги сделать птицу и ее запускать, и она летала. Они с легкостью завязывали шнурки на своих башмаках. Рыбацкие дети бросали в него улитками, но он и этого не замечал, поэтому вскоре они оставили его в покое. А он сидел и смотрел в окно на то, как меняют под солнцем цвет огромные кипарисы во дворе.

Отправляясь в школу, мальчик мог уже написать свое имя. После года в школе он и это делать разучился, отец с

прискорбием констатировал, что его сын в школе не выучился вообще ничему. Он не умел ни читать, ни писать. Отец раскрыл дневник сына и прочитал запись, сделанную учителем: «Настолько закоренел в умственной лени, что это делает невозможным любые успехи в учении». Мама заплакала. Мальчика оставили на второй год.

Но папа не мог с этим смириться. Он отправил мальчика в другую школу, где его научили писать, хотя он всячески этому сопротивлялся, он этого делать не хотел и нарочно писал так неразборчиво, да еще украшал лист разными кляксами, что назвать это письмом не решался никто. Но в конце года от учеников потребовали продемонстрировать свои навыки в письме и раздали им для этого необычайно красивую шелковую бумагу. И тут мальчик очнулся и вдруг заполнил листок такими чистыми и красивыми буквами, что учителя не могли поверить глазам и показывали этот листок всем как чудо и даже вывесили на доске как образец каллиграфии. Учителя стали подозревать, что мальчик Дали осваивает их науку каким-то неведомым способом, как-то по-своему. Ничего не делая.

На самом деле он воспринимал мир через цвета, непрерывно его меняющие. Этого ему было достаточно. Ему было очень интересно жить. А школьные знания, что пытались ему навязать, попадали внутрь как бы сами по себе, мимоходом, от него усилий не требуя. Поэтому он и не понимал, чего хотят от него взрослые.

Когда же удавалось добраться до него с вопросами, не обращая при этом внимания на курточку с золотыми позументами и трость с серебряной рукоятью, он краснел и терял способность говорить.

Он оказался дико застенчив и чуть что прятался в свою скорлупу из серебряных и золотых побрякушек и аромата духов. Он и любил-то лишь тех морских зверюшек, что сидели в панцирях. А лучше всех были морские ежи, самые закрытые и вооруженные против проникновения внутрь. Именно ежи с детства и на всю жизнь оказались и его любимым лакомством. Он сам поглощал их в неимоверных количествах и угощал ими всех вокруг, хотя мало кто соглашался с ним в изысканности этого блюда. Но для него наслаждением был даже не вкус мякоти этих вооруженных длинными тонкими страшными иглами созданий, наслаждением было добывать эту мякоть, разламывая скорлупу. А в детстве — да, он был похож на маленького краба-отшельника. И вел себя как краб. Пусть все видят панцирь и не видят, что внутри.

Он стал просить взрослых отдать ему комнатку-прачечную, чтобы там была его мастерская, и они согласились. Там стояла

цементная ванна, и он ставил туда столик, забирался сам и принимался рисовать. Если пришедшие в гости спрашивали родителей, куда запропастился их странный мальчик, родители отвечали однозначно, показывая пальцем в потолок:

— Там! — И поясняли: — На крыше. В старой прачечной. У него там мастерская, и он все время играет наверху. Один.

Иногда он спускался. Но просто спуститься, и все, он не мог себе позволить. Он, например, спускался, чтобы заявить, что научился волшебству. И может теперь оживлять неживое. Бросал на стол зеленый листок, стукал по столу волшебным камнем, и листок оживал, начинал уползать, взрослые только рты открывали. Это были глупые, ненаблюдательные взрослые. А мальчик просто разглядел то, что никто вокруг не замечал. Бродя по берегу, он однажды наткнулся на странных насекомых, похожих на листья, такая была у них маскировка. Почему никто из живущих рядом об этих зверюшках даже не подозревал? Ответа он не знал.

Или однажды отвезли его в поместье к художнику Пичоту. Побрел мальчик по двору с горстью вишен в руке, вдруг видит — дверь. Старая, коричневая, изъеденная древоточцами. Он дико возбудился, побежал, схватил три тюбика краски: белую, красную и кармин — и, поскольку левая рука была занята вишнями, начал правой выдавливать на дверь краски, устраивая на ней такие же вишни, как в руке. Красные сгустки с темными карминными бочками и белыми каплями света. А взрослые забеспокоились: вроде только что мелькал под окном, вдруг чего-то затих, прибежали, смотрят: вся дверь в вишнях. Говорят: Ах! Прямо как настоящие! Мальчик жалостливо на них посмотрел и давай дожевывать вишни из левой руки, а хвостики от них приделывать к тем, что на двери. А художник Пичот сказал: «Гениально! Мальчика надо учить!» На что мальчик отвечал, что не надо, он и так все знает. Все только руками развели.

В школе в перемену все спускались в сад по очень крутой лестнице, и всякий раз, взглянув с высоты, ему становилось страшно и хотелось прервать нарастающий ужас, прыгнув туда, вниз. И однажды он не выдержал и прыгнул, и пролетел до нижних ступенек, и прокатился по ним, и позволил себя собрать, замазать царапины и ушибы. Он потряс всех этим прыжком. И ему это понравилось. И на следующий день он снова прыгнул, и на следующий — снова. И всякий раз его собирали и лечили. И наконец настал момент истины. Он, как всегда, вышел на крыльцо; дети и взрослые, уже спустившиеся вниз, замерли: сейчас этот сумасшедший ребенок снова прыгнет и разобьется. И он — Не Прыгнул, а спустился вниз, как все, держась за поручень

и наслаждаясь всеобщим вниманием. Вот такой мальчик-с-пальчик.

Папа не случайно считал, что мальчик немного не в себе. Зато мама считала: в себе, в себе! У них было тайное удовольствие, он забирался к маме в постель и прижимался к ней сзади, одетой лишь в тонкую рубашку. Они делали это молча и молча же расходились. Если б об этом узнал папа, он бы их убил! Просто у мальчика был эдипов комплекс. Он любил маму и не любил папу. Мама умерла, когда мальчику исполнилось шестнадцать лет. У нее был рак. А папа чуть ли не сразу женился на маминой сестре, тетке мальчика, которая всегда жила с ними, и, как говорили злые соседи, роман с сестрой жены у папы начался давно, еще когда мальчик был крошкой. Так что ревновать (к папе и папу) имели основания и мальчик и мама.

Но чуть позже, а пока он стал подростком. То есть оказался в том самом пубертатном состоянии, когда и возникает нестерпимое желание немедленно превращать себя во что-то невозможное. Как и полагается. Просто мальчишки чаще изображают из себя крутых бандюганов. А наш нежный мальчик отрастил себе длинные волосы и начал красть косметику матери, густо покрывая себе лицо рисовой пудрой, обводя карандашом для бровей вокруг глаз и кусая губы, чтобы придать им красный цвет. В семнадцать лет он отпустил бакенбарды.

Со всем этим и явился в Мадрид, в Школу изящных искусств. Когда он впервые ступил в студенческое общежитие «Ресиденсию», где самыми большими модниками считались лишь те, кто мог позволить себе одеться как денди, студенты онемели. Вдруг из глухой провинции явилось нечто. «Этот мальчик бросался в глаза… Его длинные бакенбарды и волосы ниспадали на воротник. На нем был охотничий жакет с мешковатыми бриджами, застегнутыми под коленями на пуговицы. Ноги обматывали особые обмотки, которые известны под названием „мулетки“, поскольку их носят каталонские погонщики мулов… Для большего эффекта Дали оставил промежутки между их витками, выставляя на обозрение свои волосатые икры».

Но компания, в которую его приняли, а главными там были ни много ни мало Федерико Гарсия Лорка и Луис Бюнюэль, такой наряд очень даже оценила. Из живущих в «Ресиденсии» так выглядеть не рискнул бы никто. При том оказалось, что этот безумный мальчик, похожий на девочку, говорил низким и хриплым голосом. Это было неотразимо. Компания так и воспринимала его — как сочетание маленького мальчика и безумца. Они решили, что такой сгусток обязательно должен приносить удачу и счастье. И они сделали его своим талисманом.

Тогда же начались и отношения с Лоркой, который пробовал сделать из него любовника, но Дали от него шарахался, чуть позже объяснив происходившее следующим образом: «Он пробовал заниматься со мной любовью, но у него не получилось!» Есть снимок, на котором оба они в Кадакасе, среди скал, два гибких молодых тела безумной красоты. Поэт и художник. Впрочем, о Дали и Лорке, одна из величайших поэм которого называется «Ода Сальвадору Дали», — уже другая история. Может, как-нибудь в следующий раз.

А пока Они научили его кутить. Но перед учебой он решил полностью стать таким же, как они, и для этого сменить наряд. Вопрос был поставлен на голосование. Большинство было против превращения экстремального Дали в «одного из денди». Но Дали сказал, что из него и денди получится такой, какого они не виды вали.

Приготовления заняли у него два дня. Он коротко постриг волосы у лучшего парикмахера, купил твидовый костюм, под который надета была небесно-голубая шелковая рубашка с сапфировыми запонками в манжетах. Далее он напомадил волосы ужасно липким бриллиантином, затем натянул на них специально купленную сетку и, наконец, густо покрыл настоящим лаком для живописи. В таком сверкающем виде он и явился. Далее начался кутеж: «Мне хватило ровно пятнадцать минут, чтоб наклюкаться, а еще до шести часов следующего дня я пробыл под градусом».

Придя в себя, он обнаружил, что ему необходимо принимать участие в конкурсе на высшую художественную премию. Друзья сильно сомневались, сможет ли он удержать в руке кисть. Тогда он заключил пари, что выполнит конкурсную работу, ни разу не взяв кисть в руки и, естественно, не прикоснувшись ею к полотну. И выиграл: с расстояния в метр он принялся набрызгивать на холст краски, которые каким-то удивительным образом сложились в конкурсный сюжет. Только в стиле пуантилистов. Рисунок и колорит так всех впечатлили, что наглому мальчишке вручили первую премию. Теперь пришлось уже пропивать выигранное пари.

Мед слаще крови

Он много интересного держал внутри, этот не годный к обычной жизни мальчишка. Но главной тайной его, тем, в чем он более всего боялся признаться, были его неутолимые эротические мучения. Он все время думал о женщинах, но всегда их избегал.

Он их боялся. Еще бы. Ему совсем немного надо было, чтобы наворожить себе вещи, которые потом ложились внутрь и там становились целыми жизненными программами. Лет восьми отроду в оптическом театре своего учителя г-на Траитера «я увидел силуэт русской девочки. Она явилась мне, укутанная в белоснежные меха, в русской тройке, за которой мчались волки с фосфоресцирующими глазами. И у меня сжалось сердце». Он вспоминал эту девочку всякий раз, как влюблялся на расстоянии и вглядывался, пытаясь понять — то или нет. Понять было трудно, он же танцевал не от подробностей, а от силуэта, причем девочка обязательно должна быть русской. Где ж такую взять?

И в детстве просто не с кем было поговорить о тех картинах, что сжигали его изнутри. У него не было друзей. То есть были. Но не сверстники. Он мгновенно сближался с такими же странными экземплярами, как сам. Таких в Кадакесе было довольно. Была, например, старуха Лидия Ногерес, которую считали ведьмой, у которой еще в молодости погиб муж рыбак, а два сумасшедших угрюмых сына, живших с нею, заняты были тем, что кроме рыбной ловли ночами ходили в тайное место «закапывать сокровище». Закапывать. Сокровище находилось вовсе не в их руках, оно где-то там лежало, и его следовало закапывать. Тайно. Чтоб никто, никогда, никому! Страшное дело! Но мальчишке, приятелю своей матери, они, естественно, обо всем рассказали. Жарким шепотом. Они сообщили онемевшему Дали, что на Креусе великое множество радия. И надо прятать его, пока люди не догадались о сокровище под ногами.

Лидия, в общем-то, вела себя совершенно нормально, замечательно рассказывала страшные сказки, все хорошо, кроме одного пунктика, на котором у нее что-то щелкало. Она утверждала, что у нее тайный роман со знаменитым поэтом Эухенио д'Орсом, который как-то приезжал в Кадакес, тут-то все будто бы и началось. Но о романе этом надо было молчать. Знал о нем лишь мальчик. Лидия писала и отправляла Эухенио длинные письма, а тот не мог ей ответить, поскольку… ну, нельзя было. И он тайно отвечал ей через газеты, в своих критических статьях, в них и были спрятаны его ответы. Поэтому любимым занятием Лидии, к которому она привлекала и Сальвадора, была расшифровка искусствоведческих опусов д'Орса. Лидия истолковывала эти послания мастерски, находила в них адресованный ей любовный подтекст. В минуты отгадок в ней не видно было ни ведьминского, ни больного, она произносила точные и мудрые слова. Не поверить в то, что все — правда, было невозможно.

От нее услышал Дали формулу, которая поселилась в нем на

всю жизнь. «Кровь и мед». «Кровь — это я, — говорила Лидия низким страшным голосом, — а мед — другие женщины. Сыновья мои гоняются за медом. Это бунт против крови!» Дали даже подумывал, не на кровесмесительные ли дела со своими детьми намекает ему взрослая его подруга. Он же сам испытывал странные и страшные чувства к своей матери. Которая и умерла на пике его пубертатных преобразований. Он остался один. Без «крови».

И Лидия осталась одна. Без мужчин. Ее сыновей увезли в сумасшедший дом.

Дали думал о матери, потом о русской девочке, потом о женщинах. И не знал, что ему с этим делать. Он хотел избавиться от наваждений. И сказал Бюнюэлю, вместе с которым снимал «Андалузского пса», что в первых же кадрах надо разрезать глаз девушки-героини опасной бритвой.

Но однажды, однажды он просто шел по улице, он шел, и вдруг ему захотелось бежать. Он побежал и неожиданно ощутил, что больше всего на свете он любит прыгать в высоту, и он стал прыгать через каждые несколько шагов, и у него получалось, он прыгал все выше и, поднявшись в воздух, понял наконец, что спрятано внутри, и закричал: «Мед слаще крови!» И снова вверх! И — «Мед слаще крови!» И вдруг увидел среди расступавшихся прохожих своего соседа по общежитию, который съежился, увидев летящего Дали. И он приземлился возле несчастного однокашника и прямо в ухо крикнул ему изо всех сил: «Мед слаще крови!» И полетел дальше, а однокашник поплелся в «Ресиденсию» рассказывать, как только что видел Дали, который сошел с ума.

Дали отправился к проституткам. Бордели ему понравились, их убранство вдохновляло, в нем был стиль, попсовый, кричащий, но нацеленный на одно — на пробуждение красного и жаркого, проститутки же его разочаровали. Он увидел «оскалы вместо улыбок, эти вечно раззявленные звериные пасти, призванные завлекать! Нет, женщин следовало искать в других местах!»

Приятели сказали, что «элегантных» женщин в Мадриде можно увидеть лишь в одном месте — в кабаре «Флорида». Он и там побывал, увидел много красавиц. Но… не то! Он ведь уже знал, что ищет. Он видел одну даму в кафе и понял, что «элегантная женщина, во-первых, вас презирает и, во-вторых, чисто выбривает подмышки». Приметы элегантности он находил повсюду, но лишь деталями, хотя общее уже вырисовывалось: «Я никогда не встречал женщины одновременно красивой и элегантной — это взаимоисключающие характеристики. У элегантной женщины не может быть глупого выражения лица, как

нельзя боле характерного для красавицы. В очертаниях рта элегантной женщины должна непременно сквозить отчужденность, высокомерная и печальная. Но иногда, в минуты душевного волнения, лицо ее вдруг преображается, исполняясь неземной нежностью. Нос? У элегантных женщин не бывает носов! Это привилегия красавиц. Элегантность должна быть стержнем ее бытия и в то же время причиной ее изнеможения». И так далее, желающие могут сами отыскать и прочесть этот вдохновенный бред.

Но заметьте, ведь он, еще ее не встретив, более или менее точно описывает Галу. До сих пор удивляются, что красивого в этой заурядной широкоплечей Гале с ее скуластым невыразительным лицом? Что он в ней нашел? А то и нашел, что сформулировал. При этом она была — русской. Вот все и сошлось. Вот объяснение его бесповоротной любви, мгновенной и на всю жизнь.

И потому, когда они встретились, Дали овладели приступы дикого хохота. Он не мог ей ничего отвечать, он вообще ни с кем не мог разговаривать, он хохотал, и все переглядывались — что же смешного увидел он и в чем? А ему совершенно было не до смеха. Это была типичная истерика. Нет, он очень хотел ей понравиться, он хотел быть мачо, он придумывал безумные наряды, мазался какой-то невообразимой дрянью, чтобы пахнуть, как козел, резал рубаху, выворачивал наизнанку штаны и плавки, все это надевал, приходил в ужас, все смывал с головы и одевался в белые развевающиеся рубашки, которые на нем обожал Лорка, но оказывался слишком женственным. Потом он рвал эти рубашки, потому что от них не оказывалось толку. Он не понимал, что сделать с собой, чтобы она его увидела. Он сходил с ума. Он пугал всех, но о том, что происходит с мальчишкой, догадалась лишь Гала, догадалась, потому что была не просто элегантна, она была умна и сразу увидела, что сможет из этого мальчика сделать. Потому что этот мальчик сделает для нее все.

При этом она владела искусством любви, это был ее мир, она окунула мальчишку в темную страсть. Получив наконец возможность делать с ней что угодно, он, не знавший женщин, обреченно и в панике спросил ее: «Что я должен сделать?! Скажи!» И она сказала: «Убей меня!» В том же пафосном ключе, что и вопрос. И мальчик принял ее слова всерьез. Он задрожал, в обморок упал, он ждал совсем другого, и далее: «Мы кусали, мы грызли друг друга!..»

Странная вышла любовь. Дали с подробностями рассказывает о любых неприличных или непозволительных моментах своей жизни, и почти ничего — о плотской любви. Многие утверждают,

что ее и не было меж ними, они нашли какие-то другие способы друг друга любить, не прикасаясь. И если вначале они «грызли друг друга» и Дали наконец-то получил возможность вволю и в подробностях изучать тело женщины, он мял и терзал его, как глину, то позже наступила эпоха вуайеризма. Тут Дали признавался: «Я — извращенец, вуайерист». Здесь важнее даже не третье слово, а второе. Любовь, как и все прочее в его жизни, должна быть извращенной. Иначе как ее писать на холсте?

Для Галы же все это не имело значения. Это были его проблемы. Она не колебалась, потому что абсолютно точно поняла, что именно ищет этот мальчик, в чем он нуждается и какое место возле него следует занять. Место его «крови», его матери. И заняла. И сразу все пришло в равновесие. Некрасивое тело Галы он растиражировал так, как не было растиражировано тело ни одной другой модели. С ее помощью он прогнул мир, подарив ей славу. И они уже не могли друг без друга. До старости, когда уже стали просто друзьями, жили рядом, но врозь: Гала в своем замке, в Пуболе, куда Дали без письменной просьбы вход был запрещен, поскольку в замке ее окружали молодые любовники за деньги. Увы, ее чувственность оказалась куда большей, чем у Дали. Еще бы, у нее не было холстов и красок, куда ее гений выбрасывал все, что накапливал внутри. Но, как и прежде, она контролировала все, что он совершал. Потому что, потеряв его — в мгновение ока могла стать ничем.

Она сразу поняла, что она будет продавать. Не только его безумные картины. Нет, его поведение. Эти естественные для него, но шокирующие всех эскапады. Она не будет ему мешать, она будет всячески его на них подталкивать, уверяя, так же, как его мать, что все, что он ни сделает, все! — исключительно хорошо. Он должен перестать стыдиться своих выходок. Она научит его, как самому стать шедевром.

И Дали стал. Он разучился краснеть. Именно этого все от него и ждали.

Шедевр

И сказал Дали: «Ницше — слабак! Мне надо было превзойти Ницше во всем, даже в усах! Уж мои-то усы не будут нагонять тоску, наводить на мысли о катастрофах, густых туманах и музыке Вагнера. У меня будут заостренные на концах империалистические, сверхрациональные усы, обращенные к небу». И появились те самые усы.

И велел Дали повару на пароходе, который вез их в Америку,

изготовить ему батон длиной в два с половиной метра. И изготовил повар. И Дали гулял по Нью-Йорку со своим батоном, который усох и сделался тверд как камень. И возле гостиницы «Уорлдорф Астория», ровно в полдень, поскользнулся Дали, упал и выронил батон. И полицейский помог ему подняться, и Дали спохватился: где хлеб мой? И увидел Дали, что ни у полицейского, ни у прохожих не видно остатков замечательного батона. Батон бесследно исчез. И Дали сделал доклад «Хлеб-невидимка».

И решил Дали выступить перед народом в водолазном скафандре и вышел, еле передвигая ноги в свинцовых башмаках и ведя на сворке пару русских борзых. И стал говорить, но его не было слышно, и начал кричать Дали, но вдруг обнаружил, что задыхается, и стал знаками показывать, чтобы освободили его от тяжелого шлема. И Гала с механиком пытались отвинтить шлем, но тот был завернут на славу. Кто-то схватил бильярдный кий и пытался просунуть его между шлемом и костюмом, но кий сломался. И притащили молот и принялись бить Дали по шлему его. И зрители хохотали и аплодировали, потому что решили: так и надо. И еле живого вытащили наконец Дали из костюма. И он произнес речь свою.

И вернулся Дали домой. И мэр родного города его, Фигераса, попросил его выступить перед горожанами. И собрались горожане. И стал говорить им Дали о сюрреализме. И возроптали горожане, и одни говорили, что лектор гугнив и невнятен, а другие, что на хрен им сдался этот сюрреализм! И вскипел Дали и заорал: «Все! Больше я вам не скажу ни слова!» И едва произнес он эти страшные слова, как мэр рухнул замертво к его ногам. И написали газеты, что дикий сюрреалист своей лекцией убил мэра. Но врачи отвечали им, что это ложь и мэра сразил внезапный приступ грудной жабы. Но не поверили им горожане. И детям и внукам своим рассказывают они о Художнике, который словом убил Администратора.

И еще были замечательные картины, которые рождались спонтанно. Однажды в Порт-Льигате, когда Гала ушла в кино, он писал некий пейзаж в закатном свете со скрюченной засохшей оливой. И у него дико болела голова. Галы не было рядом, время тянулось и растекалось, и, не зная, что сделать со временем, он нарисовал на ветке оливы жалкие, свисающие с нее часы. А Гала не шла. И он нарисовал еще одни часы, которые наполовину растеклись, и еще одни. И пространство на холсте завершилось. И вошла Гала, и он сказал ей: «Вот что вышло, пока я ждал тебя. Смешная картинка. Думаешь кто-нибудь через три года об этом вспомнит?» Она же смотрела не отрываясь, а потом сказала:

«Нет… Это запомнит навсегда всякий, кто увидит». И через три дня продала картину заезжему американцу, который приобрел ее как чудачество художника, чтобы повесить у себя дома для друзей, не выставлять же в самом-то деле. Потом картинка ему наскучила, он продал ее, потом ее выставили, и… Далее ее стали перекупать уже за бешеные деньги, успех оказался оглушительным. Это было «Постоянство памяти», самая знаменитая его картина.

И Джордж Оруэлл написал: «Дали являет собой симптом всемирной болезни».

Он имел в виду вседозволенность, в которую все с большим сладострастием погружался мир. Лелея ее и культивируя. Что мог ответить на это Симптом? Он почему-то постоянно говорил о Возрождении. Говорил, всячески развивая и подталкивая при этом Вседозволенность. Для чего? И он ответил: «Я думаю, идеальная любовь еще вернется. Именно вседозволенность и возродит поэзию чистоты и запрета». Просто Вседозволенность должна дойти до дна. От нее не избавиться, значит, ее нужно поторапливать и всячески помогать ей быстрее спуститься на дно. Потому что потом — только вверх! Он понимал, что вряд ли дождется конца, хотя все время говорил, что уже не разбрасывает, а собирает камни.

Он и не дождался, потому что Гала умерла. Исчезло то, что держало его на земле. Женщина, которая была ему матерью. Эта вторая смерть раздавила Дали. Гала умерла в Порт-Льигате, но она завещала похоронить себя в своем замке в Пуболе. Дали решил перевезти ее туда. Он не хотел, чтобы врачи трогали ее тело, поэтому слуги перенесли ее в машину, и Дали повез ее, мертвую, в Пубол. Ночью, чтобы не приставала полиция. Теперь уже без всякого письменного предупреждения он остался в ее замке. И уже не хотел из него выходить. Спал в кровати Галы, никого не хотел видеть, едва не сгорел при пожаре, был спасен, вылечен в Барселоне, вернулся обратно и отказался есть. Он не хотел жить.

Он стал похож на те чудовищные наросты, что населяли его картины. Он полулежал в этом замке, и вокруг не было никого, даже обычных его придворных подхалимов. Все эти профессиональные девственницы и педики, похожие на парикмахеров, которые питались крошками с его стола, куда-то подевались.

Он думал о том, сколько бросил он им беспроигрышных крошек: и прозрачный манекен — внутрь льют воду и пускают рыбок, и пластиковое кресло, застывающее по фигуре хозяина, и туфли на рессорах. Платья с разными прокладками — по идеалу

красоты. Ну и пару добавочных грудей, чтобы цеплять их на спину. Дураки, дураки! Самое большее, на что оказывались способны эти паразиты, — перелагать хорошие идеи на свой убогий лад. Впрочем, и сколотившие на том состояния.

В конце концов все придуманное воплощается, но в каких-то исковерканных упрощенных вариантах: «В духе Дали!» Рынку нужен не Дали, нужна «щепотка Дали». Щепоточку туда, щепоточку сюда — и покупайте! И покупают.

«Господи, — записал он сразу после Ее смерти, — я всегда жил вне этой грязи, не зная ни наркотиков, ни блуда. Гала защищала меня от богемы и от сюрреалистов, от коммунистов и монархистов, от обывателей и психопатов. Ее больше нет…»

Больше он не хотел писать. Ни на холсте, ни на бумаге. Он ничего уже не хотел. Выбеленный временем, никому не нужный, отжатый жизнью старик. Похожий на огромную кость. Кость в горле мира. Он больше не прогибает мир, он даже не шевелится, он ждет и лишь шелестит потерявшими звук губами: «Кровь слаще меда!»

Жил на свете клоун бедный

И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный черт ухватил карапузика…

Александр Блок

Молчаливый и простой. С виду сумрачный и бледный. Звали его Вацлав Нижинский. Он был сумасшедший. Тридцать лет сидел, вернее, лежал в сумасшедшем доме, там и помер. А до того считался танцевальным гением, но в 29 лет обнаружили, что слабая у него голова. Вот он с ней и лежал. А что происходило все эти годы лежания в его помраченных мозгах, не знает никто. Впрочем, когда крыша только поехала, он начал записывать все, что в них крутилось. Чуть просветление, хватает тетрадь и пишет: «Гу-гу, гу-гу-гу. Ты гу-гу, и я гу-гу» (из дневника).

Перед смертью его перевезли из Швейцарии в Лондон. Он этого не заметил, ему было все равно где лежать. Умер ранней весной 1950 года, когда город набухал готовой прорваться зеленью. То ли в конце марта, то ли в начале апреля, все называют разные даты. Просто всем было наплевать. Не наплевать было его жене Ромоле, она столько сил положила, чтобы выйти замуж за гения, вышла и — ц! Всего несколько лет пожили как люди, и до свидания, забрали мужика в психушку. Вот она и теребила мир сообщениями, что ее гений до сих пор молодец.

Вдруг сообщает, что в 1939 году Нижинский «в последний раз исполнил» свой знаменитый прыжок небывалой ширины перед группой журналистов, которых она привела к нему в больницу. Ну, ребята, может, он и спрыгнул с койки на пол, но насчет всяких там батманов что-то сомнительно. Ну-ка, попрыгайте в пятьдесят лет, перед тем двадцать лет пролежав на матрасе, я на вас посмотрю. М-да.

Между тем Лифарь рассказывает, что за десять лет до журналистов, в 1928 году, заходили они с Дягилевым в больничку к Нижинскому. «Дягилев решил повезти его в Оперу, он надеялся, что там с ним произойдет чудо… никто не приходил к нему, и он лежал один, забытый…

Я попросил его встать… И был поражен его маленьким ростом. Вставал он странно: сполз со своего низкого матраса на

четвереньки, на четвереньках сделал круг по комнате и потом уже выпрямился. Когда он шел, он как-то клонился к полу и чувствовал себя уверенно только в лежачем положении. Он оказался на полголовы ниже меня, его ноги — ноги великого танцора — были невероятных размеров, шаровидные, но вместе с тем такие дряблые, что непонятно было, как он может держаться на них… слугу он явно побаивался и особенно испугался, когда тот начал его стричь».

Впрочем, дотащить его до Оперы Дягилеву удалось. Граф Гарри Кесслер вспоминает, как его потряс Нижинский, спускавшийся по лестнице. «Дягилев поддерживал его под руку… Тот, кто когда-то, казалось, мог беззаботно летать над крышами домов, теперь едва переступал со ступеньки на ступеньку обыкновенной лестницы. Взгляд, которым он мне ответил, был бессмысленным, но бесконечно трогательным, как у больного животного».

Первый раз заставить Нижинского выйти из сумрака Дягилев пытался еще раньше, в 1924 году. Нижинского привели на одну из репетиций. Тот же Лифарь запомнил, что «появление Нижинского вызвало у всех в труппе подавленное состояние. Было жутко от его взгляда: он все время смотрел поверх всех и бессмысленно полуулыбался страшной нездешней полуулыбкой человеческого существа, которое *ничего не знает*».

Он, конечно, не сразу стал «гу-гу-гу». Некоторые места в его дневнике хоть и не здравые, но вполне внятные. В самом начале ему, правда, тоже пришла в голову мысль о сумасшествии, но не собственном: «Если моя жена прочитает все это, она сойдет с ума». Сам он свихиваться не собирался: «Люди думают, что я сойду с ума, ибо думают, что я свихну голову. Свихнул себе голову Ницше, ибо он думал. Я не думаю, а потому не свихну голову. У меня голова крепкая, и в голове тоже крепко».

Вот он какой был крепыш! И все бы ничего, если бы в голове у него не сошлись три неразрешимых идеи: Бог, а еще секс и война. Грубо говоря, любовь и смерть. Тут действительно столько уже умных голов наломано. Но он быстро сделал глобальные выводы, которые его сразу утешили:

«Я подобен Христу, ибо исполняю веления Божии. Я Бог».

«Я боюсь толпы: она питает ко мне грязные намерения и не в состоянии меня понять; она хочет линчевать меня».

Себя он представлял многоликим — вегетарианец, толстовец, «нерассуждающий философ», враг английского языка и онанист («Я думаю, Гоголь был онанистом», — приходит он в этом месте к интересному умозаключению). И — по кругу, от Бога до глубоких размышлений о дефекации.

А все 1917 год. В России случилась революция. А Нижинский с женой и трехлетней дочкой Кирой поселился на вилле в Швейцарии, в городишке Сен-Мориц. Тут все и началось.

Вообще-то давно уже всем видно было, что он — сущий воск. Дягилев взял и слепил из него себе любовника. Ромола Пульска, оказавшись с ним на корабле, плывшем в Америку, в несколько дней взяла и слепила из него мужа. Он до того и не подозревал о ее существовании: крутилась в труппе какая-то девица на подтанцовках, мало ли их крутилось, что ж теперь, на всех жениться? Если бы Дягилев ее в те поры догнал, он бы ее уничтожил, но заманить своего Кара-баса переплывать океан балетным куколкам не удалось, очень боялся утонуть. Какие уж тут гастроли! Вот и потерял своего паиньку, которого и на улицу-то выпускал с телохранителем. А тут на миг оставил одного, и — цап-царап цыпленочка. Говорят, Дягилев орал, ломал кресла и даже столы. А уж теперь что, ломай — не ломай!

Заметив такую несамостоятельность, взялись за Нижинского два толстовца, оказавшихся в труппе «Русского балета». Им тут нечего было и трудиться, хлеб сам шел за брюхом. Услыхав о толстовском непротивлении, несчастный гений просто обалдел. Все его ругали и упрекали за это самое непротивление, а тут прямо на нем образовалась целая религия.

Правда, вдобавок прилагались вегетарианство, аскетизм и жуткая мораль. Здесь он и сломался. Никак не выходило согласовать мораль с его привычным образом жизни. «Я обманывал мою жену, — покаянно пишет Нижинский, — ибо, — объясняет он далее, — имел такое количество семени, что мне надо было его выбрасывать… Я любил несколько кокоток в день… Я сам употреблял мою жену до 5 раз в день… Я был большой онанист. Я плохо понимал Бога и думал, что он хочет мне добра, занимаясь онанизмом…» А с другой стороны, еще и Дягилев его любил со страшной силой. Беда! Как горько комментирует это безобразие Жоан Акоселла (она реставрировала и комментировала записки Нижинского), в те времена «артисты балета отличались необыкновенной сексуальной активностью».

«Меня часто преследовал образ несчастного Нижинского, — замечает ехидный Лифарь, — гуляющего по швейцарской деревне с золотым крестом и останавливающего прохожих проповедью христианства».

А он честно пытался несоединимое соединять. Ночи просиживал в своей мастерской, покрывая листы бумаги одними и теми же каракулями, он рисовал глаза. Иногда пауков или лицо Дягилева, но чаще — глаза. Черные, красные. Нажимая на карандаш с такой силой, что иногда прорывал бумагу.

«Шекспировские клоуны, у которых так много юмора, мне симпатичны, но у них есть злобные черты, из-за чего они отдаляются от Бога. Я ценю шутки, так как я Божий клоун. Но я считаю, что клоун идеален, только если он выражает любовь, иначе он не является для меня Божьим клоуном…» (из дневника).

Непротивление взимоисключающим идеям приводит к сотрясению всего организма. Чего говорить, сам граф тоже ведь не выдержал и побрел куда-то из дому, куда глаза глядят, еле отловили. Где ж за ним угнаться бедному танцору. Ну вот, смейся, паяц!

«Я летал на самолете и плакал. Не знаю почему, у меня создалось впечатление, что он вот-вот уничтожит птиц» (из дневника).

В общем, два года он все что-то соединял, а в 1919 году вышел на публику. В танцзале какого-то отеля. Сначала Нижинский полчаса сидел на стуле, мрачно рассматривая собравшихся. Местные его любители, всякие врачи, банкиры, парикмахеры, их жены и детки, ежились и потупляли глаза. Насладившим всеобщим замешательством, Нижинский отворил рот и сказал: «Сейчас я станцую вам войну, которую вы не сумели предотвратить». И станцевал. «Что это было? — спрашивала друг у друга местная интеллигенция в полном опупении. — Не крыша же у него…» А это она, голубушка, и отправилась в путь (уже и ехала с ускорением).

Далее все растянулось на тридцать лет и уже неинтересно. Все интересное оказывалось не далее, а позади. В ушедших двадцати девяти годах. Поэтому бедный клоун жил как бы задом наперед, чуть светлело в его голове, он вглядывался не вперед, а назад. Назад, назад, где было все! Где с каждым предыдущим днем все радостнее жить.

Например, в сентябрь 1917 года, когда последний раз он танцевал всерьез. В «Призраке розы». Он там танцевал — никогда не догадаетесь — запах розы. Роль такая. А потом улетал в окно, как и положено всякому запаху. Жан Кокто так рассказывал об этом улете: «Нижинский исчезает в окне прыжком столь патетическим, столь отрицающим законы равновесия, столь изогнутым и высоким, что никогда теперь летучий запах розы не коснется меня без того, чтобы не вызвать с собой этот неизгладимый призрак».

А ведь и вправду был большой молодец. Некоторые видевшие его вообще считают, что лучшего танцовщика не было на земле и больше не будет. Правда, доказательств кот наплакал. Есть кусочек пленки на 11 минут с записью балета «Фавн», несколько фотографий да рассказы очевидцев.

«Вы понимаете, что видели сейчас настоящее чудо? — спрашивал у друга очевидец Руперт Брук. — Нижинский действительно умеет парить в воздухе. Русские, — подумав, добавил он, — могут спасти нашу цивилизацию».

А Кокто просто захлебывался: «Юный, прямой, гибкий, он ходит на кончиках пальцев мелкими, уверенными шажками, он собран, как пальцы в кулак, у него длинная мощная шея, как у Донателло, его тонкий торс контрастирует с чрезмерно развитыми бедрами, он похож на юного флорентийца, в котором жизни больше, чем во всем живом, и его повадки так похожи на кошачьи, что становится страшно. Он перевернул все законы равновесия с ног на голову, он напоминает нарисованную на потолке фигуру; он легко вращается в воздушном пространстве, он отвергает рай тысячью различных способов, его танец скорее похож на любовное стихотворение, написанное заглавными буквами».

Графини его очень любили. Помните анекдот: «В графине вижу мать свою»? Вот и графиня de Noailles, очевидица, как вспомнит Нижинского, так все плачет и пишет: «Кто видел танцующего Нижинского, тому всегда будет его недоставать, тот будет раздумывать над его ужасным уходом в область жалкого безумия, где теперь пребывает тот, чье тело жило в пространстве без какой-либо поддержки, без опоры… Кто не видел его, никогда не узнает, каков был могучий юноша, опьяненный ритмической силой, поражавший гибкостью своих мускулов, как поражает ребенка на лугу кузнечик, играющий своими стальными ногами».

А очевидец Литтон Стречи послал ему огромную корзину роскошных цветов и сообщил друзьям, что перед сном «грезил о Нижинском».

Но бог с ними, грезами и корзинами, назад, назад, к 1913 году, в котором 23-летняя Ромола Пульска увела его, тоже 23-летнего, от Карабаса-Барабаса русского балета. Можно сказать, вырвала, нашептывая, что этот гад его погубил, лишил жизни. Карабас и вправду большой был собственник, требовал, чтобы Нижинский упаси бог не переспал с женщиной, потому что после этого танцевать уже не получится у него никогда. Бабы, сволочи, уничтожают мужика. И он таки запугал птенчика. И когда однажды в 1909 году в Венеции тот потряс самою Айседору Дункан и та вдруг стала умолять заняться с ней любовью, потому что мечтает родить от него ребенка, напуганный до печенок птенчик тут же принялся уносить от нее ноги. Довольный Дягилев вдвое раздулся от такой виктории.

И вот Ромола мигом ему доказала, что раз он гений, то проживет прекрасно и без гнусного Дягилева, сам, ну, с ней то

есть. Нижинский обрадовался, собрал свою труппу, поехал с ней в Лондон, а! — нет успеха! Попробовал выступать один, танцевал даже в ресторанах, нет, сломалось. То, что выходило с Дягилевым, — без Дягилева увы! И так четыре года — одна лишь былая слава. Все разваливалось. Он стремительно становился самим собой, обнаруживая, что сам по себе — ничто. Да… «Не дай мне Бог сойти с ума!..»

Но назад-назад, где камушки из-под ноги еще не осыпаются в темный провал. Назад, в те шесть лет славы. С 1913 по 1907 год.

Ему было по фигу, что его счастье далеко не всегда счастье для других. Нижинский выделывал со всеми частями своего тела невероятные вещи, кроме одной — с собственным костяным языком сладить он не мог. Поскольку был юношей девственно необразованным. Элен Терри в книге «Русский балет» задумчиво сообщает, что для Нижинского балетные роли были лишь средством отстранения от самого себя: «Ему было куда легче чувствовать себя куклой, полуживотным, фавном, персонажем комедии дель арте и даже самовлюбленным зеленым юнцом, чем быть собою. Он нуждался в маске».

Но Дягилев был от любимого мальчика в восторге и потому в 1912 году сделал его хореографом. Чем напряг своих куколок необычайно. Репетиции стали мучением.

Куколка Карсавина, которой Нижинский достался в партнеры, просто растерялась: «У Нижинского не было дара ясно мыслить и еще менее — ясно выражаться. Он не в состоянии был объяснить мне, что он от меня хочет… Я испытала горькое разочарование, когда обнаружила, что танцую, страдаю, теряю голову и умираю без всякой ответной реакции со стороны Нижинского. Он стоял совершенно безучастно и грыз ногти».

В Лондоне в 1911 году маркиза де Грей Рипон, фрейлина королевы, ставшая в Англии для «Русского балета» тем же, чем графиня де Грифе во Франции, дала ужин Дягилеву, на который пригласила королеву Александру. Но по правую руку от себя она посадила не королеву, а мистера Нижинского, и эта чудовищная смелость была безропотно принята высшим английским обществом.

Нижинский между тем за ужином не проронил ни слова, и двор принял это как еще одно доказательство его таинственной гениальности. А он просто рот боялся открыть, вдруг выронишь что-нибудь не то.

Нижинский умел делать хорошо только одно — прыгать. Очень высоко и очень далеко. Он даже как бы зависал в воздухе. Отчего все видевшие начинали визжать и гадали, в чем тут фокус. Некоторые потом ползали ночью, ощупывали сцену, где тут

подкидные дощечки? Кто-то даже украл и распотрошил балетные туфли бедного прыгуна, искал пружину. Однажды товарищи не выдержали и прямо попросили Нижинского поделиться производственным опытом, как это у него выходит то, что у нас не получается? И он не стал таиться, он сразу все товарищам объяснил, можно сказать, на пальцах: «Это совсем не трудно. Вы подымаетесь и на один момент останавливаетесь в воздухе».

Вот и сейчас бедные куколки сообразили одно: Нижинский своим корявым языком заставляет их разучивать какую-то неведомую пластику. То, на что их с детства натаскивали: плавные движения и элегантные изгибы рук, чувственно оттянутые пальцы — полностью исключались. Нижинский считал, что руки должны быть разведены в стороны, согнуты в локте… Ноги не следовало «выворачивать» от бедер (как в классической технике), нельзя было также ступать на пуантах — колени «глядят вперед», ступни обращены внутрь. Такая у него вытанцовывалась «Весна священная».

29 мая 1913 года балет этот был представлен в Театре на Елисейских Полях. Давка, двойная цена за билеты… Далее произошел скандал. Месье и медам, немного послушав и посмотрев, принялись вставать на задние ноги и вопить, им возражали, в зале начался мордобой. Ор стоял такой, что оркестр стал не слышен. Новоявленный балетмейстер из-за кулис выкрикивал танцующим, что им следует делать. Они и делали это, не слыша музыки. Критики наутро определили происшедшее в зале и на сцене как «бессвязный вой эпохи». Потом, естественно, разобрались и о балете уже писали как о явлении века. Но это потом.

Назад-назад! Какое замечательное шло время! Каждый скандал заканчивался потрясающим поворотом в жизни. С чего, например, начался Дягилевский «Русский балет»? С того, что Нижинского выгнали из лучшего в мире театра — из Мариинки.

24 января 1911 года в первом отделении «Жизели», на который явилась вдовствующая императрица Мария Федоровна с великими князьями, Нижинский вышел не в коротких штанишках, которые обязательно надевались всеми танцорами, а в трико, таком, как в наши дни. Это придумал художник балета Бенуа, он называл это «стилем Карпаччи». Вдовствующая императрица Мария Федоровна некоторое время лорнировала это позорное трико, потом сказала: ах! Великие князья поняли это однозначно, побежали за кулисы, внимательно рассмотрели трико, обтягивающее перепуганного Нижинского, потом свистнули директора и велели тут же уволить наглеца. Вот какое было самодержавие.

А Дягилев потирал ручки, теперь он уже просто должен был превратить свою антрепризу в постоянную труппу, поскольку у него появилась звезда, которой кроме него некуда было деться. «Русский балет» состоялся.

Вообще-то Нижинский стал собственностью Дягилева еще в 1907 году, когда он был учеником выпускного класса училища.

Всякий, кому доводилось в те поры видеть его, бывал потрясен при виде этого «фантастического балетного животного с длинной шеей». Александр Бенуа описывал мальчишку как «полукота-полузмею, дьявольски гибкого, женоподобного и при этом внушающего неподдельный ужас». Чуть выше 160 сантиметров, гениальный, по-кошачьи гибкий семнадцатилетний мальчик с быстро развивающимися порочными наклонностями. «Не дай мне Бог сойти с ума!»

Его уже содержал князь Львов. В его жизни уже появились лихачи, меховые шубы, ночные рестораны. Князь оплачивал его уроки у знаменитого маэстро Чекетти, купил Нижинскому рояль, помог дорого и со вкусом обставить комнаты, подарил золотое кольцо с бриллиантом. Был внимателен князь и к матери, и к сестре своего мальчика, он приглашал их в концерты, делал подарки, катал на автомобиле. Мать и сестра на князя только что не молились. Еще бы. Мальчик был наконец устроен. И вдруг расставание! Почему? Злые языки утверждали, что Нижинского перекупил Дягилев. Мать и сестра стали ненавидеть Дягилева. Они ненавидели его до тех пор, пока не увидели, что и он не даст их мальчику пропасть. Вот какие нравы были в те поры. Такое было счастье.

Дягилев говорил, что влюбился в это летающее чудо с раскосыми, ориентальными глазами. А Нижинскому не хватало Дягилева с его хваткой, тщеславием и собачьим чутьем на все талантливое. Это был замечательный союз двух порочных людей, давших двадцатому веку новую пластику, иначе двигаться век больше уже не хотел.

Куда ж дальше назад? Остановись!.. Нет, еще! Туда, где ни славы, ни лихачей, ни колец с бриллиантами. Туда, где ничего неизвестно, все в будущем, туда, в Киев, где его семья — бродячие танцоры. Громкие имена. Провинциальная слава. Элеонора Береда и Томаш (Фома) Нижинский. Они, как и положено, начинали в Варшавском императорском театре, а потом — чес по городам и весям империи. В трехлетнем возрасте мальчишка уже поехал с ними. Отец его прыгал как бес, женщины его обожали. Потому однажды он ушел и не вернулся. Мать осталась с этой своей навечно высоко поставленной гордой балетной головой. Сын был «неуклюжим и медленно

соображающим» ребенком. Младшая сестра Бронислава делала за него домашние задания, потому что учение у него не шло. Вечно открытый рот, палец во рту.

Но каждый день вместо молитвы на ночь мать шептала своему засыпающему, нескладному, некрасивому, заторможенному ребенку, что у него есть шанс, ему надо научиться прыгать, как отец, все-таки наследственность. И тогда может быть…

Это матери удалось устроить Вацлава вместе с Брониславой на казенное содержание в Петербургское балетное училище. Его взяли только потому, что он высоко прыгнул, в остальном… Уж очень хил и плохо сложен. В училище Нижинского дразнили «япончиком» за раскосые глаза, он ни с кем не дружил.

Малышей занимали в спектаклях. Они были чертенятами, оловянными солдатиками, пасторальными пастушками. В танце «фавнят» им предстояло разбежаться и прыгнуть. Когда все уже приземлились, оказалось, что один все еще летит.

Нелюдимый, никем не любимый «япончик». Потом он приземлился и испуганно посмотрел на отвисшие челюсти взрослых. И балетмейстер Фокин тут же отвел его в угол и придумал для прыгучего малыша крохотную сольную партию. Все!

Нет, еще не конец. Далее, далее, туда, где чистый лист, то ли в 1889, то ли в 1890 год, когда впервые он закричал, вдохнув сладкий воздух этого смертельного мира. С датами рождения тот же туман, что и с датами смерти, на рождение маленького клоуна всем было плевать. Впрочем, как и ему на всех. Ребенок не знает, красивый он или урод, умный или дурак. Светит ему что-либо в будущем или нет. Его это не колышит. Детям плевать на будущее. Потому что их просто любят. Сегодня и всяких. Они живут в мире, который прекрасен. Рядом огромные всемогущие люди, которые накормят, и защитят, и утешат. Рядом мать. Ее грудь, ее тонкие прозрачные пальцы. И весь мир твой, и весенний будоражащий ветер, и бесконечное сонное лето, и этот «белый мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева…» Не дай мне Бог сойти с ума!

«И судимы были мертвые сообразно с делами своими…»

Человек из футляра

За стеклом консульского отдела старуха Шапокляк сидела, и по ее поджатому ротику было неопровержимо ясно: эта суконная моль в Англию нас с фотографом Феклистовым не пустит никогда. Мы ее утомляли. На вопрос: «А почему вы едете с этим господином?» — я удивлялся: «А нельзя?» Она спрашивала, потупив глазки: «А что вы будете там делать?» Я честно отвечал: «Пойдем в Букингемский дворец». — «Если вы не начнете говорить правду, — с трудом скрывая наслаждение, шелестела эта буква параграфа, — получение вами визы станет весьма проблематичным. Я дам вам неделю, подумайте».

Ну полный блеск! Дело в том, что месяца полтора назад позвонил Слава Ростропович и сказал, как всегда, в запале, глотая тридцать шесть букв: «Во-оденька, соби-айтесь с Ю-очкой и пвиезжайте, у меня день ождения, пвиглашения мы вам послали». Естественно, никакие бумаги до нас не дошли, да и странно было бы предполагать у нашей почты столь бешеную прыть. То есть официального приглашения на празднование семидесятипятилетия Ростроповича у нас не было. Мы отправили в Лондон слезный факс, после чего мгновенно в телефоне возник Слава и закричал уже в полном атасе: «Да! И имей в виду, что без смокингов вас не пустят никуда!» Потом пришел мятый факс от Лондонского симфонического оркестра, мы поплелись в консульский отдел, где вместо нашего пугала обнаружили вторую защитницу английской короны — милую толстенькую, которая страшно веселилась, слушая наши объяснения, так, похохатывая, она нечувственно поставила нам визы, и мы пустились!

Надо знать, что это в Москве спектакли устраиваются в специальных местах, Лондон — сплошной круглосуточный спектакль, одновременно играемый на улицах, в парках, замках от Хитроу до блошиного рынка в Кэмден-Таун, где стоит восковой Джон Леннон. Если вы вытащите «мыльницу» и щелкнете Джона, он сразу разозлится, выбросит в вашу сторону руку и хрипло гавкнет: «Паунд!» Получив паунд, сунет его в карман и вернется в исходную восковую позу. Ступив в Лондон, на его вымытые мостовые, на которых можно сидеть, а можно лежать, вы уже на сцене, хотя, что играть, вам пока совершенно неясно. Вы нежитесь под мартовским солнышком среди цветущих магнолий и камелий, к вам на скамейку плюхается могучий люмпен-пролетарий, переобувается, старые ботинки выбрасывает, новые надевает, сопит, просит у вас «э сигарет», закуривает — жизнь удалась! — отвешивает вам между лопаток одобрительную плюху

и требует «мани», а получив, тычет в вас грязным пальцем и ставит диагноз: «Russian!» Вот теперь вы свой. Ваша роль — russian.

Glory, Glory Halliluja

К Букингемскому дворцу на вечернее представление Celebration of Rostropovich 75 birthday все приглашенные russians, естественно, притащились первыми, минут за пятнадцать до начала. Во дворец их не пустили, они толкались у ворот, окруженные лондонскими обывателями, которые всячески пытались у нас разведать, что это там внутри затеяло их любимое королевское семейство. Лондонцев очень беспокоило, что себе думает принц Чарльз, связавшись с этой мммн-да… Камиллой, вот и бабушка, то есть матушка наша Елизавета, слегла, достал ее внучок разнузданным поведением. Родион Щедрин прогуливал топающую в нетерпении ножкой Плисецкую. Сестра Ростроповича Вероника Леопольдовна ее обнимала, вспоминая, как в юности они менялись нарядами, поскольку размеры совпадали, «а теперь вот ты какая, а я такая». Зябко поводила плечиками вдова Юля Ромашина, муж ее был одним из приятелей Славы, и ребеночку их был Слава крестным отцом. Мэр Лужков демонстрировал своего телохранителя. Тут же топтался и коротко стриженный, обильный телом, некий new russian, который привез показать аристократам свою юную, тоненькую, кое-где одетую подругу.

Принялись подъезжать лимузины, секьюрити их тормозили, ложились вокруг на пол и долго светили фонариками под днище, тихо переговариваясь, показывая пальцем на тени и изгибы, где мог спрятаться аммонал. Принц Чарльз выходить из лимузина не стал, толпа болельщиков ахнула: там, в глубине, явно находилась его мммн-да… пассия, таки привез ее во дворец! Какая несдержанность! Боже, храни королеву, такого еще не видывал наш славный Букингем. Наконец всех пустили, толпа russians побрела по гравию внутреннего дворика вслед за лимузинами к подъезду, где в мегафон уже объявляли из машин вылезающих.

На celebration собралось много прекрасного народу. От нас были — я уже перечислил. От них — король Испании Хуан Карлос I со своей королевой Софией, принцесса Бурбонская Элена с мужем герцогом Луго. У этого любителя экстрима вечно что-нибудь сломано, приехал со сломанной рукой — упал, кажется, с самолета. Были король и королева Греции, Их Императорские и Королевские Высочества австрийские, Жан, великий герцог Люксембургский, и его сын Анри, тоже великий герцог, толпа

виконтов, баронов, а также мистер Ян Штуцкер, председатель совета директоров UBS-bank и спонсор всего происходящего. От Азербайджана ждали Гейдара Алиева, но он вместо себя прислал министра своей культуры Полада Бюль-Бюль оглы.

В большой зале стены украшали изрядного размера картины с изображениями королевских особ разных возрастов и достоинств. Они представительно гуляли по саду, короновались, резвились на лужайках и мчались на конях. Гостей обносили выпивкой из бутылок, на которых было написано: вино 1792 года. Я не поверил, погнался за разносчиком, потянул у него из руки бутылку, чтоб посмотреть, он испугался, стал ее не давать, видимо полагая, что я намерен хлебнуть из горла, но «моя его победила», да, правильно — 1792. Ну не знаю, не знаю, как там у них на самом деле, верится слабо, но вино пилось замечательно. И наливали его отменно. Человек во фраке склонялся пред вами в поклоне, одна рука за спиной, второй наливает. За передвижениями гостей и наливающих следил толстый седой дядька — то ли мажордом, а может, дворецкий, в общем, он был у них там главный, стоял у стены как памятник в золотых нашивках, смотрел поверх голов, все видел и, едва где-то образовывался непорядок, поднимал толстый палец, к нему кидался один из наливающих, дядька бровями указывал ему направление, тот туда и мчался. Ну! Столетия тренировки.

Гости образовывали живописные группы. Все эти аристократы, натренированные на лужайках и в водоемах, были отлично сложены, женщины еще великолепней, никаких вам животов, небесные движения, чрезвычайное собственное достоинство при чрезвычайной простоте поведения. Одно казалось странным. У всех у них, и у дам тоже, были собственные старые лица — ни одного не коснулся пластический хирург. Это вам не кинозвезды. У аристократов такое не принято. Может, потому, что все друг друга знают сто лет, стареют друг у друга на глазах, чего уж там скрывать. Такое же лицо было и у Майи Плисецкой. Помню, кто-то восхищался: «Какую сохранила фигуру. — И удивлялся: — Жаль не „сделала“ лица». Потому и не сделала, что обретается среди тех, у кого это — дурной тон. Вот где стало до меня неразумного доходить: так и надо, так — правильно. Потому они и аристократы. С гибкими фигурами и прекрасными старыми лицами. В строгих по канону нарядах. И юная дама new russian, которая у ворот гордо сверкала соблазнительной голой спиной и разрезом на платье, показывавшим, какие там у нее ноги до зубов, вдруг сообразила, на что напоролась. И спряталась в уголку за спину своего могучего мужика. И больше они мне не попадались.

Потом был концерт, на который явилась королева Елизавета. Все встали. Принц Чарльз сказал речь. Он сказал замысловатую фразу: «Слава, вы — великий русский, вы делаете честь своей стране и честь миру, ее представляя!» Слушать это было весьма приятно: у Великого Маэстро в этом Театре оказалась та же роль, что у меня. Он Russian. С большой буквы, конечно, но… На концерте всех потряс какой-то аргентинец, который дирижировал-дирижировал оркестром и вдруг, повернувшись к залу лицом, запел во весь свой тенор, гад буду, не хуже Паваротти, продолжая дирижировать спиною, и это было странно и здорово. Ему устроили овацию. И отправились на обед. Меня лично более всего интересовал Королевский салат, о котором Валерий Попов написал бессмертные строки: «Вдруг вспыхнули люстры, музыка грянула! И начали нести тот салат!.. В ведрах, на тачках… Много чего было в том салате: грибы, ананасы, стружка металлическая, костры горели, змеи ползали, птицы летали… Салат — как жизнь!»

На следующий день концерт состоялся в Барбикен-центре. Тут случилось событие, которого никто не ожидал.

Все эти дни мы с фотографом Феклистовым искали в Лондоне приглашения, которые были отосланы в далекую Россию, так что мы оказались самозванцами. Правда, недолго. Мне приглашение выдали, поскольку я был главным, да и постарше бедного Феклистова, которому не дали ничего. До ворот Букингемского дворца он добрался, спрятавшись на дне такси, и там снимал приезжавших. Но дальше ворот его не пустили. В Барбикен-центре история повторилась. Организаторы удивились, обнаружив, что на мероприятие, где фотографировать запрещено, рвется некий неведомый russian. То есть они понимали, что он потому рвется, что правил не знает, но… Это же правила. Нельзя снимать королевских особ так близко без предварительной их подготовки. Даже журнал «Хэллоу», который только о жизни двора и пишет, не оказался среди допущенных, что вы, какой Феклистов?! Мы заплакали друг у друга на груди и расстались, Феклистов рыбкой нырнул в толпу, пискнув на прощание, что попробует снимать у входа, я отправился в зал.

Внизу, в партере, располагалась обычная публика, заплатившая за билеты по пять тысяч фунтов (примерно семь с половиной тысяч долларов). На балконе сидели ребята еще проще, их места стоили что-то возле тысячи. Посредине, в бельэтаже, сидели мы (dress code: black tie), совершенно бесплатно. Здесь собрались и Майя Плисецкая с Родионом Щедриным, и мэр Лужков с телохранителем, и Маргарет Тэтчер с толстым старым дядькой в черных очках, наверное, с мужем, хотя

вел ее под ручку не он, а специальная дама, поскольку Маргарет с трудом переставляла ноги, видимо не совсем оправившись после болезни, и прочие бароны. Первый ряд был пуст, кресла ждали коронованных особ, они явились. Зал встал, встал оркестр, грянул гимн. Короли спускались сверху вниз по лестнице, непринужденно беседуя с юбиляром и его величественной Галиной Павловной, и тут я чуть не свалился в партер. Потому что прямо перед ними, пятясь задом, оступаясь на каждой ступеньке, двигался весь красный и мокрый Феклистов, непрерывно щелкая фотоаппаратами. Их у него было несколько, они торчали из нескольких сумок, он выхватывал подходящий, вскидывал, это была маленькая бесстрашная непрерывно работающая фотомашина, которую могли выкинуть в любой момент, бабочка сбилась ему за спину, смокинг разъехался, он шел задом наперед, но он снимал!

Концерт был невообразим. Я на таком не бывал никогда и, естественно, вряд ли уже побываю. Играли артисты, каждый из которых мог бы держать в состоянии гроги любую публику не просто целый концерт, но целый сезон. Башмет, Кремер, Венгеров, Кисин, дирижировали Пендерецкий и мой любимый Озава, похожий на сумасшедшего каратиста из фильма «Гений дзюдо». Эти ребята выходили на сцену, чтобы сыграть здесь лишь одну вещь. Короли были в восторге. Концерт закончился бунтом Лондонского симфонического оркестра, который начал было концерт Дворжака для виолончели, вдруг флейты, как-то так вписавшись и не нарушая общего строя музыки, сыграли, к полному восторгу публики, Happy birthday to you. Дирижер застучал на них палочкой, но эту же фразочку сыграл сидевший у ног его виолончелист, потом она прорезалась у медных, потом началась какая-то вакханалия — поздравительную фразу по очереди вставлял в исполняемое музыкальное произведение весь оркестр, она звучала гневно, печально, кокетливо, и дирижер сдался, и — оркестр грянул ее во всю мощь! Зал поднялся и в полном упоении принялся петь под аккомпанемент великого оркестра, и музыканты, отыгравшие свое, высыпали на сцену, и Ростропович туда побежал, и вывезли огромный торт в виде виолончели с единственной свечкой, и Ростропович ее задул, и все хохотали и аплодировали, а я извертелся, ища Феклистова: достанет ли он все это с балкона своим телевиком? И снова едва не рухнул в зал, потому что увидел растрепанного Феклистова прямо на сцене, со своими сумками он снова снимал всех в упор, снимал как бешеный, и разноцветные карточки «для прохода», где-то добытые им, покрывали его смокинг как государственные награды.

Потом снова был пир. Добраться до Славы, вкрученного в водовороты из королевских особ, было делом дохлым. Этот волшебный старенький ребенок купался во всеобщем обожании, он произносил тосты, рассказывал байки на своем чудовищном английском, там, где ему не хватало слов, жестикулировал, складывал губы в разнообразные трубочки, короли таяли как пломбир, они им любовались, королева испанская не отпускала его от себя, он был их любимой игрушкой, что поделаешь, такой Театр. Хотя… Мимоходом в одном из спичей он обронил вдруг, что для Лондона мало, конечно, одного Барбикена, нужен второй такой же культурный центр. Реакция была мгновенной. Банкиры полезли за чековыми книжками, аристократы тут же создали комитет или фонд, а он уже умчался. Натыкаясь на своих, кидался на них с поцелуями и опять исчезал. Его на всех не хватало, но он старался. Он старался успеть так, как делал это всю жизнь, человек, несущийся по миру, отводящий на сон четыре часа.

Наутро мы явились к нему в восемь, хотя обычно он встает раньше, но, полагали мы, после такой ночи вряд ли добудимся. Дверь открыла Галина Павловна, всячески уворачивая и пряча лицо, еще не готовое для гостей, а Слава выскочил свеженький из соседней комнаты, где уже сидел толстый господин при полном параде, явно с деловыми намерениями разложив на столе бумаги. Мы всучили подарки; потирая ручки, Слава тут же утащил их подальше; мы, взглянув на сидящего в соседней комнате господина, поняли, что опять не выйдет потрепаться, попить чайку. «Во-оденька! — закричал Ростропович, возвращаясь. — Ты же все понимаешь, но знай! Певвый, кому я позвоню, когда пвиеду в Москву, будешь ты! Ах, пвости, пвости!» Ну, можно устоять?

Как-то давно, когда мы не были еще знакомы, желая пригвоздить Ростроповича, я кинул ему на бегу: «О чем вы жалеете?» Много народу наостанавливал я в свое время этим коварным приемом, хотя вопрос, в общем-то, дурацкий, и уже спокойненько брал у оцепеневшего перед загадкой бытия человека свое интервью. Но рыцарь ордена Британской империи, кавалер ордена Почетного легиона (у него их штук семьдесят, высших наград всяких народов и стран), не прекращая движения, облобызал меня троекратно (жена его, Галина Павловна, утверждает, что в любой толпе способна указать местопребывание легкомысленного супруга по непрерывному чмоканью, сопровождающему его продвижение среди людей) и, заглянув в глаза мои, шепнул: «Ни о чем». И скользнул прочь.

Где-то через полгода мы снова встретились, и он несказанно

удивился: «А почему мы на „вы“?» И мы стали на «ты». И это ничего не означало. С кем он не на «ты»? Как одеялом накрывает он вас приязнью, поцелуями. И ускользает.

Дочь Оля: *Он собирался выступать в благотворительном концерте. Я говорю: «Папа, мы с Ленкой прочитали в газете, что там будет Элтон Джон, а ты ни слова!» Он удивился: «Правда, там поет какой-то мистер Элтон». — «Ну, попроси, чтоб нас пустили на репетицию, а?» Входим, а там и Элтон Джон, и Дайана Росс, и Стинг! Отец натопорщился: все чужие. Кто такие? И вдруг на него набрасывается толстяк в бороде, начинает целовать буквально взасос и кричать: «Маэстро! О, грандиозный маэстро! Как я перед вами преклоняюсь!» Папа от него вырывается и говорит нам по-русски, a parte: «Какой-то ненормальный!» А тот: «Да, вам надо отдыхать! Вижу, как вы устали! Но я от вас черпаю свое вдохновение!» И понесся. Папа говорит: «Этот псих чудовищно похож на Паваротти!» Мы говорим: «Папа, так это и есть Паваротти!» Тут отец как кинется вслед за ним, догнал, схватил и давай целовать: «О-о-о! Дорогой друг!» Ну, наконец-то они нацеловались.*

— Знаешь, — сказал мне приятель, — он так избалован всеобщей любовью, настолько к ней привык, что на самом деле ему уже не нужно ничего. И сам он не любит никого. Он же Овен.

— Кто?

— Овен. Читай гороскоп.

Гороскоп: «Как истинное дитя, Овен полностью поглощен своим собственным Я, рассматривая окружающий мир как приложение к себе самому. Не придет же вам в голову назвать ребенка эгоистом? В нем нет и следа хитрости. Он с трогательной доверчивостью смотрит вам прямо в глаза: вы ведь мой лучший друг, да? Вы любите меня? Какой вы счастливый: я у вас есть! И слезы готовы хлынуть из глаз его, но он сдерживается».

— Ну и что? Их, таких, целая компания. И Бах. И Гайдн, и Рахманинов, и Прокофьев. Да-да. И Чаплин. Ханс Христиан Андерсен. Гарри Гудини, наконец. Все — Овны. Божьи Агнцы. Ягнята, играющие в травах всеобщей любви. Кого-то они любят, кого-то нет. Для них нет закона. Они сами — закон. Ростропович из хорошей компании. Просто его голос — виолончель.

Виолончель

Бывало, Мстислав Леопольдович, весь в кружевах, полеживал в футляре для виолончели и предавался мечтам. Родители держали Великого Маэстро в ящике, пропахшем канифолью, чтоб

куда-нибудь не завалился. Очень берегли. Детство, пропахшее канифолью, сделало его в некотором роде токсикоманом. Вне канифольных паров он чувствовал себя обездоленным.

Однажды родители, усевшись помузицировать: мама — за рояль, папа — за виолончель, — обнаружили свое чадо пристроившимся в уголку со шваброй между колен и прутиком в правой руке, которым, сопя, возил он по швабре под музыку папы.

— Боже мой, Слава! — сказали родители. Славой звали его в детстве. Славой зовут по сию пору. На славу он был обречен.

С тех пор как он уехал, я не видел его играющим на виолончели. Тогда смотреть на это было нестерпимо. Это было что-то запретное, почти неприличное. Это был какой-то эротический экстаз. Я видел, как, сжав виолончель ногами, он берет ее за горло и, оттопырив нижнюю губу, хлещет смычком, маленький владыка со вставшим дыбом венчиком волос, извлекая из тела ее звуки такой страсти, и откидывается в упоении! Господи, до чего им было хорошо!

— Ну еще бы, — сказал он мне своей картавой скороговоркой, — еще бы, ха-ха! Все виолончелисты чувствуют в ней партнершу. Сама форма ее, э-э, формы… располагают. Это, знаешь ли, женское начало. Рубенс! Да-а-а!.. Знаешь, меня просто потрясло, когда я узнал, что во французском языке виолончель — мужского рода! А контрабас, представляешь, женского! Чушь какая! Я заявил «бессмертным», что следует пересмотреть французский язык!

— Каким «бессмертным»?

— Ну, «сорок бессмертных», Французская академия. О-о! Это зрелище! Одеты как при Людовике XIV, платье обшито золотом, шляпы с перьями, шпаги. Ну! Шпага очень дорогая, 65 тысяч долларов. Каждый должен купить ее себе сам. Откуда у меня в те времена такие деньги? А меня уже обсуждают, уже приглашают, там место освободилось. Там берут новеньких, только если кто-нибудь из «бессмертных», э-э, так сказать, умер, их же всегда должно быть сорок. А умер мой большой друг — английский скульптор Хенри Мур. И меня выбирают вместо него. Я, надо сказать, растерялся. Шпаги нету.

Но у меня были друзья! Они купили мне шпагу, скинулись и купили. Вот тебе, говорят, иди, вступай! Да дело-то в том, что при вступлении надо было произнести часовую речь, посвященную своему предшественнику. Я бы и произнес, да говорить-то надо по-французски. А я и сейчас по-французски, ну… потрепаться еще могу, а серьезную речь! Но у меня был друг Бенджамин Бриттен, он же большой друг Хенри Мура. Бриттен написал сюиту для виолончели-соло, закончив ее замечательной частью — «Со

святыми упокой». Ага! Сыграю-ка я им вместо речуги эту сюиту! Вот так, общими усилиями, друзья экипировали меня до зубов. Со шпагой и сюитой я уже вполне смотрелся.

И все равно хоть пару слов сказать было бы надо. Я эту пару слов написал на бумаге русскими буквами и, встав перед «бессмертными», картавя и шепелявя, зачитал им свое предложение пересмотреть французский язык. Надо сказать, они обалдели. Ну, я поскорее начал играть, в результате чего, надеюсь, они убедились, что я прав. Во всяком случае, мое выступление в конце концов им очень понравилось. Но пересматривать французский язык они почему-то не захотели. Жаль.

— Интересно, а швабру в детстве ты тоже воспринимал как…

— Не-не-не, я же был маленький. Если бы родители вздумали учить меня играть, допустим, на барабане, я стал бы играть на барабане. Я просто музыку очень любил. И до сих пор люблю, между прочим. Всякую. Я и оперу люблю, и оперетту. Просто музыку. Знаешь, где-то лет до четырех, честное слово, я был очень талантливым парнишкой, даже сочинил какое-то произведение, отец его записал. Заканчивалось оно, помнится, отвратительно. С тех пор я начал терять свой талант. Кое-что осталось, но мало.

Вероника Леопольдовна, сестра: *В детстве Славка очень любил конфеты. А я поспать. Или почитать. А мы учились в музыкальной школе. Славка только начинал, а я вовсю играла уже на скрипке. И вот родители оставляют нас одних, прикрывают такие двустворчатые двери (мы жили в коммуналке, но у нас были две комнаты, разделенные этими дверьми), уходят в соседнюю, чтобы не мешать мне заниматься: я должна быть примером для младшего братишки, с детства должен он видеть, что взрослые неустанно работают, так же, как всю жизнь работали папа и мама. Труд, труд и труд. И они уходят, и я говорю одними губами: «Слава-а! А у меня конфеты есть!» Славка тут же образуется рядом. Я даю ему конфет, беру книжку, ложусь и!.. А он, сообразительный малыш, уже знает, чего делать: жует конфету, берет мою скрипку, ставит ее, как виолончель, между ног и начинает играть мой урок. А я представляю, как родители удовлетворенно переглядываются, услышав мои быстрые пассажи.*

И ведь он выучил весь мой репертуар, он даже концерт Мендельсона играл, причем свободно, все сложные технические вещи. Он играл так, что наш папа, профессор консерватории, так никогда и не догадался, что все это играю не я и вообще не скрипач.

Хотя лентяй он при этом был порядочный и предпочитал делать лишь те вещи, которые ему нравились, а нравилось ему делать бог знает что. Ему было лет, наверное, десять, когда он,

влезши на табурет, а это была его собственная табуреточка, с подрезанными ножками, чтобы ему удобней было играть, маленькому, стал на этом табурете делать ласточку, то есть весь растопырился и качается. А я как раз вхожу. И вижу: он стоит в этой своей дурацкой ласточке, и качается, и смотрит на меня, и начинает падать, потому что табуретка под ним поехала. И он шлепнулся, и закричал, и заплакал, а он очень сдержанный, никогда он от боли не плакал, но сейчас плакал, потому что, оказывается, руку сломал. Две косточки у основания кисти — пополам, я беру его руку, а она вот так висит на коже, ступенькой. Тут и я заорала. И какая рука! Смычковая, правая!

Довоенные годы, семья музыкантов, музыкой защищенная от жизни, талантливый ребенок, чье будущее выстраивается само собой, но он мимоходом ломает себе руку и… другая судьба. Больница, гипс, месяц в гипсе, снимают и видят, что сломанные эти косточки срослись ступенечкой, как их сложили замечательные доктора, так они и срослись, и двигаться больше не могут. Увы, конец вам, Мстислав Леопольдович, как виолончелисту. Советская медицина тут бессильна. Нет, вот парафин, массаж, гимнастика, со временем кисть будет даже шевелиться, но это, увы, все, что мы можем. Не надо делать ласточек на табуреточках. На музыке ставим крест.

Отчаяние родителей, угрюмость пострадавшего. Сопротивление материала.

И тут он ушел в себя. Буквально. Ото всех. Он сидел и часами развивал эту руку. Он выходил из себя, когда его пытались от этого занятия отвлечь, он топал на отвлекающих ногами. А ведь достаточно было взглянуть на эту искривленную лапку, чтобы понять: никогда не удастся взять ею смычок так, как положено. А он кричал: не мешайте! Мне надо заниматься, а она не работает!!! Он взял судьбу в свою руку. И он поворачивал ее миллиметр за миллиметром, и вы знаете, вдруг однажды он ухватил ею смычок. Да, не так, как положено, но! И еще пуще набросился на эту калеку и терзал ее, добиваясь, чтобы смычок поплыл в ней с нужным нажимом в любой его части.

Я слышал и прежде, что весь успех Ростроповича в его особой технике, которую он изобрел, чтобы всех победить. Смотрите: шпиль, которым обычно виолончель упирается в пол под углом, у него повернут и поставлен вертикально, от чего инструмент ложится удобней, а заметили вы, как он держит смычок? Обычному музыканту и руку-то не вывернуть эдаким манером. А он как-то вот так выворачивает, и уникальный получается звук. И многие наповорачивали свои шпили, многие в отчаянии выкручивали себе руки, надеясь играть, как он. А!

В очередной приезд его я после первых же фраз кинулся на оторопевшего Маэстро, вцепился в его несчастную правую руку, требуя показать. Он снисходительно закатал рубашку и устрашающе подвигал до сих пор торчащими ступенькой косточками, как рычагами. Знают ли неистовые последователи, что спрятано у Мстислава Леопольдовича под манжетой?

— Да-да, меня не раз просили научить так же держать руку. Я отвечал: такую возможность вы уже упустили. Для этого вам следовало не просто руку сломать, но жить при этом в Советском Союзе в период окончательной победы социализма.

— Но ведь в конце-то концов все эти приспособления: более высокая подставка под струны, иначе поставленный шпиль, — все лишь для того, чтобы извлечь наконец из виолончели ее собственный, полный голос. А ведь голоса-то разные?

— Голоса разные. Хотя однажды у меня была встреча с уникальным инструментом. В 1942 году, в эвакуации, в Оренбурге, по-тогдашнему — Чкалов, когда умер мой отец, меня, четырнадцатилетнего мальчишку, взяли с собой в гастрольную поездку по районным городкам, госпиталям артисты Ленинградского Малого оперного театра, Малегота. Я взял с собой не отцовскую итальянскую виолончель, пожалел, а казенную из музучилища. Вот это был замечательный инструмент. Он был сколочен из крепких досок, при этом на нем голубой краской был крупно выведен инвентарный номер. Номер восемь. Помимо полного отсутствия звука этот замечательный инструмент имел еще одно очень важное свойство: на нем можно было сидеть. Это была виолончель, просто созданная для поездок в тамбурах, причем никакого футляра ей не полагалось, она в нем не нуждалась, достаточно было тряпочного чехла с лямкой.

— Виолончель-пэтэушница?

— Примерно. Но мы с ней производили фурор в госпиталях, на концертах. У меня был номер, который пользовался у слушателей феноменальным успехом. Выходит щупленький мальчишечка зелененького цвета, выволакивает за собой здоровенную виолончель, ухватывается за нее, и тут ведущий, а был у нас такой Дон Борисович Лютиков, объявляет во все горло: «А сейчас Слава исполнит вам „Муки любви“!» Зал валился на пол от хохота, а я как дурак играю этому изнемогающему от веселья залу вполне серьезную, трогательную вещь. Думаю, веселью способствовали и звуки, которые издавала моя могучая подруга.

А с нами ехал замечательный человек Борис Осипович Гефт, тенор. Он был настоящий певец, потрясающе чувствовал звук. И он замечательно ко мне относился. Я ему явно нравился. Но он не

фамильярничал, напротив, вел себя эдак по-отцовски, и вот он приходил в угол, который я занимал, располагался, как мэтр, ногу на ногу, и заказывал: «Слава, а сыграйте-ка вы мне „Арию“ Баха». И я, счастливый, с большим настроением ему играл. С тем большим настроением, что это был единственный человек, который звал меня на «вы» и явно любил. Бывает такая симпатия между мальчишкой и взрослым, когда приязнь выражается не комплиментами, а ворчанием. Да и вообще теноров в простомузыкантье не считают большими философами, мягко выражаясь, поэтому, выслушав со вниманием мою игру, он по окончании обычно заявлял: «Слава! Вы сапожник! А не музыкант! Вы должны целыми днями сидеть и заниматься, а вы что?» Он знал, что моя виолончель не звучит, но он требовал, чтобы я и из нее извлекал надлежащие звуки. Вот такой потрясающий тиран. Я разозлюсь на него, больше не хочу с ним общаться. Но вот он опять приходил, усаживался, ладонь под щеку и просил: «А давайте „Арию“ Баха!»

— А есть самая лучшая в мире виолончель?

— Есть. Я с ней встретился в 1956 году в Америке. По-моему, я был третьим советским артистом, появившимся там после революции. До меня туда забирались лишь Ойстрах и Гилельс. Я играл в Нью-Йорке, в небольшом зале, знали меня мало, было немного народу, зато все виолончелисты Нью-Йорка пришли на этот концерт, а потом — за кулисы. И пришел с ними один милый человек, Джером Ворбург, банкир и страшный любитель виолончельной музыки. И вот он спросил: «Слава, а хочешь взглянуть на Страдивари „Дюпор“?» И тут меня затрясло. Дело в том, что все великие инструменты имеют имена. Обычно это имена великих музыкантов, которым они принадлежали. Есть Страдивари «Дизаи», Страдивари «Сарасате» или Гварнери «Паганини» и так далее. Так Страдивари «Дюпор» — величайшая виолончель, которая когда-либо существовала. А Дюпор — классик виолончельной музыки, я его этюды играл еще в Москве, на них все учатся. Однажды Дюпор играл в Тюильри императору Наполеону. И Наполеону так понравилось, что он пришел за кулисы и говорит Дюпору: «Дайте-ка мне вашу виолончель, хочу попробовать сам». Взял, уселся, и тут раздался истошный крик Дюпора. Дело в том, что у Наполеона на сапогах были шпоры. Но оказалось, что поздно. Одной шпорой он уже процарапал виолончель. Вот эту легендарную вещь с царапиной Наполеона мне и предлагалось посмотреть.

Ночь я не спал. Я думал об этой виолончели. Я понимал, что поскольку никогда не буду ею обладать, думал, может, не стоит и встречаться, но соблазн был велик, человек слаб. Наутро я

отправился на свидание с ней. И вот мне ее показали. И я попросил разрешения до нее дотронуться. И мне разрешили, а жена Ворбурга сделала полароидный снимок этого касания. Я коснулся мифа. И повез в Москву снимок-доказательство. Ну, это примерно как если бы поклонник итальянского кино из города Копейска продемонстрировал приятелям снимок, на котором он обнимает Софии Лорен. В те-то годы.

Его вышибли из Москвы 26 мая 1974 года. Вышвырнули, все отобрав на таможне. «Но это же мои награды», — мямлил он таможеннику, сгребавшему конкурсные медали, значок лауреата Сталинской премии. «Это, гражданин Ростропович, — отвечал ему таможенник, — награды не ваши, это награды государственные». — «Но тут же международные награды, и они не из латуни, из золота». — «А это не награды, это ценные металлы, которые вы хотите вывезти за границу!» Ему оставили только собаку Кузю. Поскольку был не из драгоценных металлов, да еще и пришлось бы государству здоровенного Кузю кормить.

Вдвоем с Кузей они оказались за границей. В Англии. Куда въехать с собакой дело нешуточное. И бедного Кузьму, избалованного, роскошного, родоначальника всех московских ньюфаундлендов, сразу схватили и бросили за решетку. В карантин. На полгода. И несчастному хозяину, самому оставшемуся без гроша, ничего не оставалось, как своего страдальца навещать и носить ему передачи.

А денег действительно не было ни гроша, не было ни одного контракта, все контракты подписываются заранее, а значит, ни единого способа денег заработать.

Но у него, вы уже помните, были друзья. И он начал с того, с чего начинал всякий советский человек на новом месте. Он начал занимать у друзей деньги. Разрушительный путь, и многие, ступившие на него, так с пути этого и не сошли. «Но вдруг мне позвонил дядя Марк, Марк Шагал, и говорит: „10 сентября открывается моя мозаика в Первом американском банке в Чикаго. Не смог бы ты сыграть на этом открытии Баха?“ Суди сам, я же не мог отказать дяде Марку?»

Действительно. Так он прилетел в Чикаго, зашел в гостиничный номер, услышал телефонный звонок, взял трубку, и женский голос сказал ему: «Слава, может быть, вы меня не вспомните, я вдова Джерри Ворбурга. Он умер два года назад и перед смертью сказал: „Предложи нашу виолончель Ростроповичу.

Если он ее не купит, пусть она навсегда останется в нашей семье“. Я знаю, купить ее вы не можете, но звоню, выполняя последнюю волю мужа».

Паузы не было, хотя она предполагалась. Ростропович ответил мгновенно, покрываясь мурашками от наглости произносимого: «У вас единственный шанс безукоризненно выполнить волю вашего покойного мужа — немедленно прислать мне эту виолончель». Вот теперь пауза. Вдова Ворбург глубоко вздохнула: «Хорошо, я сейчас посмотрю расписание самолетов и, если успею, пришлю ее вам».

В Америке все просто. Перед самым началом концерта распахнулась дверь, за ней стоял человек, держа в руках Страдивари «Дюпор». Не изменившись в лице, Мстислав Леопольдович недрогнувшей рукою взял за горло материализовавшееся сокровище, обнаружив одновременно, что струны на нем не те, к каким он привык, но переставлять их не было уже времени, он взял за горло свою новую партнершу и на подгибающихся ногах отправился играть.

— В маленьком зале, у камина, я играл третью сюиту Баха, все плыло у меня слегка перед глазами, в руках моих пела моя виолончель…

— Как первая брачная ночь? С королевой фей? А как же расплата?

— А у меня был друг, Пауль Сахер, в Швейцарии. Я поехал к нему на другой же день и сказал: «Ты можешь составить счастье моей жизни?» И рассказал ему все. Он спросил: «Сколько тебе надо?» И тут же выписал чек. А вообще оформлена была покупка за один доллар. Так принято, когда продается вещь, не имеющая цены. И даже те бешеные деньги, которые я заплатил, — ничто, этот инструмент — достояние человечества. А я на нем играю. Я заказал для него специальный футляр, металлический, тяжелый, как сейф, на колесиках. И вожу за собой этого бегемота.

— Итак, отношения с виолончелью выяснились до конца?

— А никаких отношений больше нет. С некоторых пор я не могу понять, где мы с ней разъединены. У меня есть два моих портрета, один давнишний, Сальвадора Дали, другой, сделанный позже, такого замечательного художника Гликмана, он живет в Германии, ему за восемьдесят сейчас. Так у Дали мы вдвоем с виолончелью, я ее держу, все отлично. А у Гликмана — я есть, а виолончель стала таким красным пятном у меня на животе, вроде вскрытой брюшины. И в самом деле, я ощущаю ее теперь так, как, видимо, певец ощущает свои голосовые связки. Никакого затруднения при воспроизведении звуков я не испытываю. Я же говорю, не отдавая себе отчета — как. Так же и играю, безотчетно. Она перестала быть инструментом.

— Ей, наверное, обидно. Так раствориться…

— Еще как обидно-то! Ничего, потерпит.

Ну, не знаю, не знаю. С капризными этими созданиями лучше поосторожней. Чуть перегнул палку и… Тут как-то явился он на концерт в Лондон. Опаздывал, торопился. Уже в Хитроу начал нервничать, раздраженно дернул свой бесценный сейф с сокровищем, и тут же тяжелая стальная платформа, на которой закреплен футляр, ударила ему по пятке. Он вырубился. Врач сделал обезболивание, и Маэстро, прихрамывая, кинулся на концерт. И на следующий. Обезболивал и играл. Через несколько дней нога чудовищно распухла. Оказывается, пятка была раздроблена и уже началось заражение. Больница, операция. Зачем-то он позвонил в Москву Веронике. «Откуда ты, Слава?» — «Да из больницы, сейчас сделают операцию — и я снова на ногах!» Вероника обмерла и принялась звонить Вишневской: «Галя, что у Славы с ногой?» — «С какой ногой? — рассердилась Галина Павловна. — Что за чушь?!» Потом она перезвонила уже из больницы, она уже сидела в палате возле притихшего своего мужа, который сразу осознал степень своей вины и постигшего его несчастья, со всеми доводами жены немедленно он согласился, проникся, обещал быть хорошим. И вся больница стояла уже на ушах, послушно внимая распоряжениям, которые своим знаменитым, всюду проникающим голосом отдавала прославленная жена прославленного Маэстро.

Испытывать терпение женщин Мстислав Леопольдович не рискует. Поэтому он им просто ничего не сообщает, не нагружает своими несчастьями. Всю жизнь он поворачивался к женщинам своей удачливой, праздничной стороной. Тем самым он от них очень хорошо защищен, ибо их раздражение гораздо опасней, чем возможные обиды капризной, но малоподвижной виолончели. И тем не менее женщины в его жизни по значимости всегда шли сразу за ней.

Женщины

За что они его любили? За то, что в двадцать с небольшим лет стал профессором консерватории? За то, что побеждал на всевозможных конкурсах? Проще говоря, за талант? Но его любили женщины, которых талантом весьма трудно было удивить, они сами ни талантом, ни славой не были обижены.

Вероника Леопольдовна: *Когда мы жили уже на Немировича-Данченко, вечно дом полон был молодежью. Вся эта орава крутилась вокруг Славы, он всех дразнил, непрерывно острил, все постоянно друг друга разыгрывали, рисовались какие-то карикатуры, однажды стали вдруг создавать дом-музей*

Ростроповича, вовсе не потому, что он настолько был значим, просто он более других позволял смеяться над собой. Экспонаты в музей собирал Слава Рихтер, во флаконе у него хранились «слезы Ростроповича», в коробочках — «коренной зуб Ростроповича», «волосы с головы Ростроповича». Слава уже начал лысеть.

— Не комплексовал?

— Ой, что вы? Отчего? У него всегда были самые лучшие девчонки, самые красивые поклонницы, какие только могут быть, хотя он и не Аполлон. Да они и сами это понимали, их это не то что не останавливало — привлекало, вот в чем загадка. Я как-то записывалась с одной Славиной подружкой, она пела, я аккомпанировала. Она взглянет на меня — и все, петь не может, начинает хохотать. «Ты знаешь, — говорит, — я не могу. Я на тебя смотрю и вижу Славу. Только ты выдвинешь свою губу, у меня все внутри от хохота прыгает». А губа у нас фамильная, от нее никуда. В чем загадка? Почему он действовал на людей как магнит? Ведь вокруг него сразу же начиналась круговерть, едва он появлялся. Он будто градусов пятьдесят добавлял в эту и так уже разогретую среду, и сразу же она вскипала. Он, конечно, человек даже не блестящий, а просто сверкающий. И вот, может быть, самое главное: он необычайно широкий по натуре, щедрый. Он раздает себя горстями, он может сделать просто сумасшедший жест, так поразить, что не устоишь, женщин он просто покорял. И при этом никогда в его поступках не было корысти, он так увлекался, что не мог остановиться. Что-то было в этом гусарское. Он так умел поклоняться!..

В эвакуации отец их, кроме преподавания в музыкальном училище, подрабатывал, играя перед сеансами в кинотеатре «Молот». Там составилось трио: виолончель, скрипка, а на рояле играла Софья Вакман, трогательно красивая ленинградка, в которую четырнадцатилетний Мстислав Леопольдович безумно влюбился. Боже мой, Софа Вакман! Он провожал ее в кинотеатр и поздним вечером обратно. Муж Софы, дирижер Малегота Эдуард Грикуров, снисходительно наблюдал, как часа за три до сеанса в их комнатенку совершенно бесстрашно входил юный рыцарь, паж, садился на ящик у двери и неотрывно следил, как любимая женщина управляется по хозяйству, кормит и собирает в школу сынишку. Пока они играли, он ждал в кинотеатре. В фойе гулял морозный пар, они играли в перчатках, слушатели в тулупах и валенках не особенно прислушивались к звукам «Вальса» Сибелиуса или мендельсоновского «Скерцо», которые играло трио. Слава бесился, он хотел видеть успех и своего отца, и любимой Софы. Они не то играют, догадался он и, вернувшись домой, достал тетрадку, разлиновал ее нотными строчками и

принялся делать переложение для трио «Лунного вальса» Дунаевского, всеми любимого по кино «Цирк», вальсов Штрауса. Через несколько дней он положил их перед отцом, отец долго смотрел на листочки, потом на сына, сказал: «Знаешь, ты сделал очень хорошее переложение, наверное, ты прав, играть нужно это. Мы их берем». И вечером, когда зазвучал в промороженном фойе «Лунный вальс», впервые стих тот гомон и гул, который, казалось, был природной особенностью этого кинопредбанника, и все лица повернулись к эстраде, и все увидели наконец музыкантов. А Слава отвел глаза. Он сделал отличный подарок. Он подарил женщине успех. Чуть позже он сунул ей в сумочку свой обычный дар — пять пряников. Ежедневно в школе он получал пряник на завтрак и тут же прятал его, накапливая до пяти, чтобы в конце недели сунуть их в сумочку Софы. Теперь это мальчишеское приношение потускнело рядом с настоящим мужским подарком.

Что дарил он потом другим женщинам? Майе Плисецкой? Заре Долухановой? Алле Шелест? В кругах поклонниц, внимательно и пристрастно следивших за рыцарскими подвигами своего кумира, появилась вдруг ехидная присказка: «Маялся-маялся, зарился-зарился, шелестел-шелестел! А подавился вишневой косточкой».

Просто настала эпоха главной женщины его жизни — Галины Вишневской.

Великий Маэстро, уже прославленный, уже получивший от жизни все, что могла она дать ему в СССР, да и возраст был у него уже солидный — 28 лет, вдруг напоролся на нечто неразрешимое: замужнюю женщину абсолютно иного характера, воспитания, на собственную противоположность. Абсолютно им не интересующуюся.

Галина Павловна Вишневская, жена (из книги «Галина): *«Мы сидели за столиком своей компанией. Вдруг подходит какой-то молодой мужчина, здоровается со всеми. Меня спрашивают: „Вы не знакомы?“ — „Нет“. — „Так познакомьтесь — это виолончелист Мстислав Ростропович…“ Имя его я слышала в первый раз — да еще такое трудное, я его сразу и забыла. Он рассказывал какие-то смешные истории, потом смотрю — яблоко от него ко мне через весь стол катится (как Парис в „Прекрасной Елене“ — „Отдал яблоко он ей…“). Я собралась уходить домой, молодой человек вскакивает:*

— Послушайте, можно мне вас проводить?

— Проводите…

— Можно я подарю вам эти конфеты? Ну, прошу вас, мне это очень важно…

…Вышли мы с ним на улицу, возле отеля — женщина с полной

корзиной ландышей. Он всю охапку вынимает — и мне в руки!»

(Заметьте, дело происходит за границей, в Праге, в 1955 году.)

«Зашел ко мне в комнату, сел за рояль, играет… И вдруг!.. Выскочил из-за рояля и опустился на колени!

— Простите, я еще в Москве при нашей первой встрече заметил, что у вас очень красивые ноги, и мне захотелось их поцеловать…»

И наконец: «Сошли с дорожек, попали в густую чащу, впереди — высокая каменная ограда.

— Придется возвращаться…

— Зачем? Полезем через стену. Уже с другой стороны кричит мне:

— Прыгайте!

— Куда же прыгать — смотрите, какие вокруг лужи и грязь!

— Да ничего, я вам сейчас пальто подстелю!

И летит его пальто в лужу!»

Может женщина устоять перед таким натиском? Не может. Он увозит ее от мужа, даже не увозит — крадет. Все? Хеппи-энд? Если бы. На самую красивую женщину Большого театра «кладет глаз» глава тогдашнего правительства Булганин. Приглашает ее на приемы, сажает между собой и Хрущевым, зовет на дачу, откровенно объясняет свои желания и выгоды, которые с этого можно получить. Следует за Вишневской неотступно, приезжает к ним домой. Но разговаривает с Ростроповичем, потому что он — главное препятствие. Кто еще из тогдашних мужей смог помешать своей жене стать правительственной «фавориткой»?

«Бывало, охмелеют оба, старик упрется в меня глазами, как бык, и начинается:

— Да, обскакал ты меня…

— Да вроде бы так.

— А ты ее любишь?

— Очень люблю…

— Нет, ты мне скажи, как ты ее любишь? Эх ты, мальчишка! Разве ты можешь понимать, что такое любовь?! Вот я ее люблю, это моя лебединая песня… Ну, ничего, подождем, мы ждать умеем, приучены…»

Увы, старый лебедь не дождался. Правители приходят и уходят, а музыка вечна.

Дочь Оля: *Отец всегда говорил, что для него самая сексуальная женщина та, которая одета вот до сих пор, до ушей. И мама всегда одевалась по-королевски. Она иногда вспоминает, как он впервые объяснился ей в любви: встал на колени, ногу ей, вот здесь, у щиколотки, поцеловал и просил стать его женой.*

— А мать он ревновал?

— Да не далее чем вчера! Не буду называть имен, но у мамы есть один замечательный поклонник, талантливый поэт, он посвящает маме стихи, называет ее «моя королева». И вот вчера папа мне с возмущением говорит: «Представляешь, к ней звонит этот… поэт. Причем по второму телефону, чтоб я не услышал!» — «Да почему ты решил, что это он ей звонит?» — «Да потому, что как только я подхожу, он сразу же вешает трубку!»

— А она отца ревнует?

— Еще как! Но старается этого не показывать, хотя во время сцен, которые он ей устраивает, выплескивает. «Это он-то, — говорит, показывая на папу, — смеет мне устраивать сцены ревности!!! Боже!»

— А они что, ссорятся и у вас на глазах?

— А вы думаете, для них когда-нибудь имело значение, на чьих глазах выяснять отношения?! Это же два безумца! Там такие тексты идут, что бросать друг в друга тарелками уже излишне! Он ведь когда в Москву-то поехал, на баррикады, среди ночи — никому ни звука, в полной тайне: боялся, что мать ему устроит скандал. Взял сумку, вышел, как бы пройтись. И когда мама нашла записку, что он уехал на баррикады, она кинулась к телефону и: «Ах ты, сволочь проклятая! До чего же ты меня доводишь! Ненавижу!»

— Сложно не оказаться у такой женщины под каблуком…

— Что вы говорите?! Под каким каблуком?!! Это он, Он — великий и ужасный. Мы всегда его смертельно боялись! И если, например, велено было прийти домой в десять вечера, а ты являлась в пять минут одиннадцатого, то отец уже стоял на лестничной клетке буквально с секундомером в руке, и вот тебя уже берут за волосы и втаскивают в квартиру!

— За волосы?

— Господи! Еще как! Разве могло нам прийти в голову надеть, например, джинсы, которые мама нам привозила, чтобы мы не чувствовали себя обездоленными по сравнению с другими девочками?! Никогда!

Галина Вишневская: *Он ревновал их, как мужчина, он видеть совершенно не мог, как мальчишки вокруг них вились. Боже мой, я им, помню, джинсы привезла из Вены, девчонки были счастливы, и вот я возвращаюсь на дачу часов в пять вечера, а на участке дым валит из-за дома, захожу, а на веранде — костер! Прямо на полу! Около костра две девки зареванные и Ростропович с палкой шурует, жжет проклятые джинсы! Облил бензином — и!.. На деревянной веранде! Слава богу, ветра не было, дом бы точно сгорел. Девки стоят, как возле могилы, джинсы догорают. Ревность, это ре-е-вность!*

— И боярышник ведь какой-то страшный сажал?

— Да он боярышник этот искал по всей Москве, академики к нам приезжали, из Академии сельского хозяйства, посмотрели, какая у нас земля, и подобрали сорт боярышника — вот такие шипы! Вот такие! Страшнее колючей проволоки. Чтоб мальчишки штаны свои оставляли, когда будут через забор лазить.

Дочь Оля: *До 18 лет я ни разу не намазала себе лица, потому что едва пробовала, тут же отец вот так вот, рукой сверху вниз, делал тебе хорошую смазь. Я какое-то время занималась у отца. Где ж еще найти лучшего преподавателя? А он, не отдавая себе отчета, что я и девочка, и не такая талантливая, как он, требовал от меня того же, что от себя. А он гениален во всем. Он, например, может совершенно спокойно написать телеграмму в стихах. И тост в стихах может сказать. Причем первые буквы каждой строчки сложатся в какую-нибудь заумнейшую фразу. Так вот, если я не справлялась, мне так доставалось!*

— По пальцам бил?

— По каким пальцам?! По заднице!

— Смычком?

— Да чем попало! Занимался он со мной летом, на даче. И вот он уезжает, и пока идет к машине, я играю, как надо, медленно и печально, но лишь садится, я — кое-как, фальшиво, быстренько: дыр-дыр-дыр! — лишь бы поскорей. И вот то ли он что-то забыл, то ли специально вернулся, смотрю: дверь распахивается, он на пороге, как заорет: «Ты что?!!» Как на меня кинется! Я на улицу! И вот мы несемся по лужайке кругами. Я — как заяц, сзади он со смычком и виолончелью в руках: «Немедленно остановись! Я тебя убью!» А в Жуковке рядом с нами жили и Шостакович, и Сахаров, и масса замечательных людей. И они выскочили из домов и увидели, что это Ростропович гоняется за дочерью с криками: «Убью!» Какой пассаж!

— Да я сам видел, как однажды он помчался с газетой в руке за своей таксой. Милая зверюшка что-то тявкнула невпопад, а он за ней, как Карабас: «Замолчи, сука!» А ведь любимица, прямо облизывают друг друга.

— Он что на ум пришло, то и говорит.

— А мама?

— Мама тоже может гавкнуть, но она всегда берегла голос, поэтому чуть что — закрывает дверь в свою комнату и: «У меня завтра „Аида“. Я ни с кем не разговариваю!»

— Хорошенькое воспитание! И вот таких злодеев вы любите!

— А как их не любить?

Галина Вишневская: *Мы жили у его матери в коммуналке, у*

них там было две комнаты. И вот в маленькой комнатке Слава и я с ребенком, а они — Софья Николаевна и Вероника, его сестра, — в той, что побольше. Мне в театре петь надо, а Ольга орет по ночам и мне спать не дает совершенно. До четырех утра я с ней хожу по комнате.

— А что же хозяин?

— Хозяин рядом спит, на голове у него подушка. Как мужики умудряются спать, когда ребенок орет, я не знаю. И однажды я ему говорю: «Все, кончено, я выставляю Ольгу в соседнюю комнату. Что хочешь делай, но я должна выспаться перед спектаклем». — «Да, да, конечно». Я легла, но разве заснешь? Слышу, как Ольга начинает кряхтеть, потом начинает реветь. Слышу, как Славка ходит, как босыми ногами по паркету шлепает, как качает ее: «а-а-а». Ходит, ходит, ходит, и вдруг тишина — ни шагов не слышно, ни рева, ничего. Господи, думаю, что же такое произошло? Встаю, потихоньку открываю дверь. Боже мой, сидит Славка голый в кресле и спит, а Ольга у него на руках, присосалась к его сиське. И теперь он говорит: «Не одна ты кормила грудью, я ее тоже кормил».

Вероника Леопольдовна: «*Самое удивительное, что он привязывает к себе людей навсегда. Вот этот парень Юра из Белого дома, который в августе 1991 года приставлен был Славу охранять, и на снимке — он спит, а Слава с автоматом его охраняет, так он и сейчас, едва Слава приезжает, тут же откуда-то появляется и ходит за ним неотлучно. Прямо член семьи».*

— А что это за крошечная восточная женщина, которая помогает ему здесь по хозяйству? Мы пили с ним кофе в кухне, вдруг входит женщина, принимается мыть посуду, прибираться, просит его что-то не делать. Он тут же взвинчивается, начинает выходить из себя, и эта женщина, слов у нее больше нет, вдруг — бух перед ним на колени! Пауза. Он перед ней — бух! И продолжили диспут на коленях. Пока не договорились.

— А это старинная его помощница, она была когда-то у него концертмейстером, и старинная же поклонница его Ося. То есть ее зовут Аза Магомедовна, она дагестанка, но Славка ее издавна называет Осей. Мы еще учились вместе, но она постарше нас со Славой. Очень талантливая пианистка. Еще в консерватории она ездила со Славой, аккомпанировала ему на концертах, вела его открытые уроки. Это даже не дружба, она — родной нам человек.

Когда он уехал, все его знаменитое окружение — профессионалы, умницы, таланты — стало опально. Те, кто осмеливался по-прежнему называть его своим другом, быстро теряли все достигнутое годами труда: положение, вес, значение,

имена. Его очень долго не было дома. Его здешняя слава, его громкое имя растаяли как дым. Вместе с учениками, поклонниками, со знаменитыми уроками в консерватории, слушать которые сбегалось пол музыкальной Москвы. Об этих уроках остались легенды, потому что студента, который взялся вести было записи этой блистательной серии, арестовали, записи у него отобрали. Где-то они наверняка до сих пор лежат в архивах КГБ. Будущие музыковеды, историки русской музыки! — даю вам наводку: там, в архивах, темы возможных ваших диссертаций.

Маленькая состарившаяся Аза Магомедовна, кое-как доживавшая на свою пенсию в крошечной комнатушке, большую часть которой некогда занимало прокатное пианино (так бы и играть ей всю оставшуюся жизнь на чужих инструментах), однажды получила письмо, в котором сообщалось, что ушедший в небытие незабвенный Слава Ростропович жив и что он заработал денег, на которые купил и прислал ей в подарок кабинетный «Стейнвей», не больше и не меньше, чтобы отныне, назло врагам, был у нее собственный инструмент. И такой, какой им самим и не снился, чтоб они сдохли! И она помчалась в Шереметьево, куда уже прикатил этот невероятный подарок, и увидела его своими глазами, и обалдела, потому что в том месте, где обычно красуется название фирмы, стояло имя «Оська». Так теперь назывался этот единственный в своем роде экземпляр.

«Слава!» — будто бы сказала потрясенная Аза Магомедовна и уже протянула было ручки к своему сокровищу, но таможенник с лицом, напоминающим малый барабан, сказал ей: «Не-ет, дорогая гражданочка. Вы представляете, сколько стоит этот ящичек?» Она представляла. Ведь это был второй ящичек, который прислал Ростропович из сияющего далека в родную страну. Первый он подарил своему ненаглядному Шостаковичу на шестидесятилетие, поскольку умирающий уже композитор так всю жизнь и проиграл на взятом в прокате рояле. Шостакович, говорят, увидев сверкающее чудо, заслонил «Стейнвей» ладошкой и сказал в жутком волнении: «Ладно, дачу я продам, чтобы расплатиться, но хватит ли этого?» Еле его успокоили. Так что бедная Ося прекрасно была осведомлена, почем рояль ее имени, стоящий за таможенным барьером. «Все оплачено, — успокоил ее могучий таможенник, — с вас только пошлина». И дал ей в руки бумажку, на которой значилась сумма в три полных стоимости рояля. Лучше бы он ей плюнул в лицо. Как она плакала, звоня Веронике, объясняя, что так и оставила «им свой рояль».

Ростропович, узнав об этом, вышел из себя. Он написал таможенникам письмо, в котором сообщал, что, если они не отдадут Оське рояль, он устроит где-нибудь в Европе музей

одного предмета, этого самого рояля, с надписью: «Рояль, который не пустили в Советский Союз». — «Ну и хрен с тобой! — ржала таможня. — Во народ, эти диссидяры!» Год украшал «Стейнвей» советскую таможню, и зажравшийся Ростропович был-таки сломлен. Он заплатил им все, что они хотели. А поскольку у него не было рублей, он выплатил эту тройную стоимость долларами, а один зеленый стоил тогда, если помните, 63 копейки. Аза свой рояль получила. И теперь в ее комнатушке, где давно уже нет ни одной несостарившейся вещи, сверкает «Стейнвей» стоимостью в четыре своих цены. Самый дорогой в мире рояль «Оська». Вот так!

Подход Ростроповича

Ростропович был известный хулиган, а Солженицын всюду боролся за правду. Однажды Солженицын написал Ростроповичу письмо. В те поры он уже перестал быть Теленком, Который Бодался с Дубом, но не стал еще Великим Старцем. В те поры он назывался Вермонтский Отшельник и жил в персональной усадьбе, сочиняя необъятную эпопею обо всем.

И вот он вспомнил, как некогда жил в далекой России, на даче всеми обласканного виолончелиста, который приютил несчастного сочинителя. А бедный Солженицын был ужасно несчастный. В ту пору к нему жутко прискребались власти, мешая бодаться с дубом, а это занятие он любил больше всего на свете.

Ростропович же считал, что каждый человек должен заниматься своим делом, и на этом основании не лез в конспиративные дела своего квартиранта, боровшегося за правду не только явно, но и тайно. В его скрытый зеленью флигелек через заднюю калитку пробирались и пробирались изможденные жертвы репрессий. Но если на заднем дворе дачи творились таинственные дела, то через ворота к хозяину шли и ехали его веселые избалованные друзья, далекие от тюрем и ссылок. Хозяин жил играючи.

И вот Вермонтский Отшельник вспомнил о своем дачном прошлом и решил написать хозяину дачи письмо. Дело было уже давнее, можно было сказать ему правду. А Отшельник ведь боролся за правду. «Правда — Бог свободного человека». Максим Горький. И он написал: «Я восхищаюсь твоим музыкальным гением, солнечностью твоей натуры, искренностью твоего мышления. Но одновременно и тревожусь — каким ты останешься в русской истории и в памяти потомков. Искусство для искусства вообще существовать может, да только не в русской это традиции.

На Руси такое искусство не оставляет благодарной памяти. Уж так у нас повелось, что мы от своих гениев требуем участия в народном горе».

Вот беда-то. В народном горе не участвовал Ростропович. У него, правда, собственного горя было вот по сих пор. Но можно ли считать участием в общенародном горе беды подростка, который в военные и послевоенные годы содержал семью, голодавшую после смерти отца? Можно ли считать горем запрет на поездки за границу? Он тут же отправился на гастроли на Чукотку и 8 марта послал телеграмму Фурцевой: «Поздравляю Вас, благодарю за доброту. Ростропович из Магадана». Он острил, а это был период, когда он пил вчерную, ежедневно размышляя: не надеть ли ему петлю на шею, поскольку был уже предельно близок к запрету и на профессию.

И при этом — да, в счастливые от горя моменты жизни он играл с одинаковым удовольствием всем: и злодеям, и их жертвам. Он любил рассказывать, как однажды, заехав на Кубу, к барбудосу Фиделю, путешествовал по плантациям сахарного тростника, исполняя рубщикам в часы заката любимые ими мелодии испанских композиторов, пока однажды не заехал в горы и не попал в странное здание, где слушать его собрались военные со знаками различий и без. Причем севшие друг от друга отдельно. Оказалось, что это была тюрьма, где содержали военнопленных. Так вот, в конце концерта, как он обнаружил, плакали и те, и другие.

И Ростропович поверил, что музыка соединяет души. И поэтому заявлял он: в такие моменты люди способны договориться. А что может быть лучше?

Потому без разбора: и плохих, и хороших людей он равно оделял музыкой.

Еще у него был заскок, он считал, что следует «ходить в народ». Встречаться с ним не по праздникам, в Колонном зале Дома союзов, как делали все маститые деятели культуры Страны Советов, а ехать туда, где он живет. От чего, пусть на короткое время, народу станет лучше. Он разъезжал по стране, по самым заброшенным и глухим ее углам, навевая своим волшебным смычком сладкие классические грезы якутам и чукчам, свинаркам, лесорубам, трактористам и нефтяникам, аккомпаниатор же Юра Казаков при этом за неимением рояля подыгрывал ему на баяне.

Вот как жил Ростропович, полагая, что делает народу хорошо. Не задумываясь о том, что краткие мгновения, когда народ внимает его виолончели, не способны сделать лучше всю его жизнь, напротив, после мгновений света лишь черней оказывается

мерзость бытия. А ведь эту азбучную истину хорошо знали все профессиональные борцы с властями. Увы, Ростропович не был борцом.

Он не знал азбучных истин, потому что был недоучкой в идеологических вопросах. Еще в консерватории, перескочив благодаря своему виолончельному таланту со второго курса сразу на пятый, он одновременно пропустил несколько важных предметов, которые упорно изучали все оставшиеся студенты. И вот, заканчивая пятый курс, готовясь даже поступать в аспирантуру, он это обнаружил. Ай-я-яй! А он ведь уже считался славным музыкантом, его фамилию собрались было занести на мраморную Доску почета и так увековечить, а тут выясняется, что ему следует, чтобы дальше продолжать пользоваться благами жизни, сдать не больше не меньше как государственный экзамен по истории коммунистической партии.

Эту печальную новость ему сообщил однокашник Слава Рихтер, который и на своем пути обнаружил то же препятствие. «Как нам быть?» — спросил он в отчаянии у Ростроповича, удерживая его за рукав, чтоб не сбежал. «А! — отвечал тот беспечно. — Не нервничай! Зайди в комиссию, заложи большие пальцы под мышки, прищурься, сделай шаг вперед, два шага назад и спроси: „Что делать?“» — «Нет, — отвечал мрачный Рихтер, — этого мне не исполнить. Пойду зубрить „Краткий курс“». Однако изучение настольной книги большевиков обнаружило категорическую неспособность всемогущего учения внедриться в головы двух музыкальных оболтусов.

В конце концов два аполитичных Славы плечом к плечу предстали перед председателем экзаменационной комиссии композитором Гедике, которому было под семьдесят, и потому, услышав название предмета, по которому ему предстояло принять экзамен, он сразу же прикрыл глаза. Выждав, когда Гедике начал клевать носом, Ростропович сделал шаг вперед и заорал: «Наша коммунистическая партия ведет от победы к победе!» Услышав привычное словосочетание, Гедике не проснулся, но одобрительно закивал головой. Оба Славы получили «отлично» и в который раз уверились в том, что если какого-нибудь несчастного композитора еще и могли прищучить, скажем, за авангардизм, то исполнителя, птицу далекого полета, несущую для Родины золотые валютные яйца, — никогда. Если сам не нарывался, конечно.

Его квартирант, Который Бодался с Дубом, с огорчением констатировал абсолютное непонимание виолончелистом Ростроповичем природы социалистических взаимоотношений, а также его наивные представления о добре и зле, но из вежливости

хозяина не попрекал. Так они мирно, не мешая друг другу, и сосуществовали. Хотя в Москве уже интересовались у Ростроповича, правда ли, что в дачные сторожа к нему устроился нобелевский лауреат. Ростропович хохотал как безумный.

А зря. Потому что его, наивного, именно за то, что приютил опального борца, и вышибли из родной страны навсегда. Чтоб не нарывался. Он и не думал, что нарывается. Он поступал естественно. С Солженицыным поступили непорядочно, этого было вполне достаточно, чтобы начать ему помогать.

Он был хулиганом потому, что до поры до времени оказывался от наказаний хорошо защищен. А ведь интересующимся сверху товарищам много чего сообщали о его шалостях: о розыгрышах и остротах в адрес неприкасаемых людей (политическая незрелость, клевета), безумных романах с самыми респектабельными женщинами (аморалка) и т. п. Спасала его, с одной стороны, заграничная слава, с другой — странная дружба с Булганиным, который в открытую кадрил Вишневскую, полагая, что хоть эта музыкальная парочка всячески от него и съеживается, но долго вряд ли продержится и желанная прима вот-вот упадет в его объятия. Потому и заслонял ее и безалаберного мужа от нареканий.

Милый Мстислав Леопольдович, типичный представитель поколения, которое упрекали в том, что, не замечая сиюминутной грязи, заняло себя вечным и никак не увлекалось главным в жизни — неустанной борьбой. Борцы упрекали поколение в трусости, потому что пряталось по кухням и никак не хотело идти на площадь. Не шло на плаху. Оно пило, волочилось за женщинами, держало фигу в кармане, ту же власть ругало, но с ее указаниями не спорило. Оно самосохранялось, непрерывно при этом что-нибудь ухитряясь создавать. А следовало — разрушать. До основания. А затем…

Не помню, требовал ли кто-нибудь от наших гениев «личного участия в народном горе», когда в августе 91-го года все мы собрались вокруг Белого дома, не будучи уверены, что вернемся домой? По-моему, нет. Никто из них и не явился. И вдруг откуда-то образовался Ростропович. Один за всех. Гений, не умеющий правильно себя вести, поступающий по толчку сердца. С хозяйственной сумкой он вышел на улицу в своем Париже, сунув в ящик стола записку: «Уезжаю умирать в Россию», отправился в аэропорт, без визы, без предварительных переговоров с кем-либо. И как таран прошел и таможню, и оцепление и явился.

Я помню, как цепи людей перед Белым домом, под этим сумасшедшим ливнем, этой нескончаемой ночью, пришедших на площадь умирать, вдруг заходили ходуном и кто-то крикнул:

«Ростропович!» — и все увидели, как он перелезает баррикаду — к нам! И мы поверили, что в эту ночь — не умрем.

Потом он привез в Россию свои деньги, начал строить здесь госпиталь для детей. Потом привез свой оркестр и дирижировал им на Красной площади. И вот он уже принялся концертировать, и разъезжать по стране, и обживать свою старую, давно заброшенную квартиру.

Его никто не звал. Он — сам. Гениев звали долго, они обещали, потом собирались, потом годы прошли, наконец они явились совсем не в ту, что оставили, страну. В чужую, которая вовсе в них уже не нуждалась, и исчезли, как камень в воду, одни круги по воде.

Человек их футляра никогда не был среди Великих Разрушителей. Но он сразу же присоединился к строителям, едва забрезжило в России хоть какое-то строительство.

Таков подход Ростроповича. Так он и останется в истории России человеком, который среди битв и разрушений, мучеников и мучителей, прорицателей и дебилов, правых и неправых делал свое божественное дело по соединению душ.

Долги

— Я весь в долгах. Я в долгу перед Россией, хоть я и родился в Баку, где мои родители жили пару лет. Кстати, когда я стал главным дирижером «Американской симфонии» — Национального симфонического оркестра Америки, на пресс-конференции в клубе журналистов одна газетная дама решила продемонстрировать эрудицию и тоном, показывающим, что мне не удастся скрыть темные пятна в моей биографии, спросила: «Вот вы говорите, что вы русский, а ведь на самом деле вы родились в Баку, значит, вы — азербайджанец!» Я говорю: «Ну и что? Если кто-нибудь родится в Антарктиде, это значит, он — пингвин?»

Но мой долг перед Россией — это долг не перед советской властью, это долг перед людьми, которые меня окружали, которым я обязан всем, и прежде всего тем, что именно я получил то, что им не досталось. Мой отец был великим виолончелистом. Без преувеличения. Я до сих пор не могу играть так, как отец. Он был гениальный музыкант. Он играл на рояле с листа, как мог это сделать редкий пианист. Просто, чтоб я имел представление о музыкальной литературе, он покупал ноты и, едва принеся домой, играл мне с листа Рахманинова, Чайковского, это уже во время эвакуации, я писал в то время фортепьянный концерт, и

отец считал необходимым расширять мой кругозор. Как пианист он играл всего Шопена. Он и сочинял. У него написаны четыре концерта для виолончели, которыми я должен заняться сейчас. А как виолончелиста его знали и певцы, и музыканты, и дирижеры. Он выступал с Неждановой и Голованoвым, с Гольденвейзером и Игумновым. Он и с Собиновым выступал, знал Шаляпина, у меня хранится соната Рахманинова с надписью отцу, есть письмо Глазунова из Парижа, в котором он пишет отцу: «Никогда не забуду ваше блистательное исполнение моей любимой сонаты Шопена для виолончели». Но он никогда не искал признания, оваций, денег, спокойно оставался в тени. Почти не концертировал. Иногда только соглашался сыграть в каком-нибудь концерте. Он и в Москву-то переехал из-за меня, чтобы я мог учиться здесь у лучших учителей. Хотя лучшего, чем он, учителя я не знаю. Но мы приехали в Москву, в нищенство, жили здесь в коммунальной квартире, где, кроме нас, жило еще, наверное, человек сорок, у нас была полутемная комната в Козицком переулке. Когда я после 16 лет жизни за рубежом снова приехал в Москву, я разыскал эту квартиру, и оказалось, что комната, где мы когда-то жили, вообще не жилая, это и прежде, до нас, был какой-то чулан, и сейчас снова стала она чуланом. А мы там вчетвером.

Как видим, его отец жил, следуя благородному завету истинно интеллигентных людей: никому никогда себя не навязывать. Его девиз был: «Если я нужен, за мной придут». Под этими гордыми словами охотно подписались бы несколько интеллигентских поколений. Но никто не пришел за папой, он остался невостребован. Мир его не узнал. Профессор консерватории, заслуженный артист РСФСР, великий виолончелист Леопольд Ростропович незаметно умер в эвакуации в 1942 году. И все забыли его.

Сын не забыл. У отца был порок сердца, по тем временам болезнь неизлечимая, и когда он умер, сын тяжело заболел. У него началась депрессия, он не хотел больше жить. Вот тогда-то его и стали брать с собой на гастроли артисты Малегота. Они хотели спасти его.

В жуткий холод, зимой, они отправились в город Орск с мальчиком, тащившим за спиной казенную виолончель номер восемь.

— Нас ехало шестеро, я всех помню по именам. Там была Ольга Николаевна Головина, Изя Рубаненко, пианист, аккомпаниатор, Борис Осипович Гефт, тенор, мой опекун в дальнейшем, любитель «Арии» Баха, Коля Соколов и Светлана Шеина — пара из балета, взрослые люди, заслуженные артисты. И

я. Вошли мы в общий вагон, мне досталась боковая полка, на которую я и лег, потому что ехали мы в ночь. И сразу же погасили свет в вагоне, и каждый из взрослых стал не раздеваться, а, напротив, что-то дополнительно на себя надевать. Потому что одеяльца нам выдали прозрачные. Мне нечего было на себя надеть, да и та одежка, в которой я пришел, была аховая. Я скорчился под своим одеяльцем, и поезд тронулся. Я никак не мог согреться и понял, что уже не согреюсь, в вагоне становилось все холоднее. Ночь, мрак, как в каком-то круге ада, умерший отец позади, впереди неизвестность, я еду куда-то никому не нужный. И я, помню, подумал, как было бы замечательно сегодня во сне умереть. И перестал сопротивляться холоду.

Проснулся я в полной темноте от того, что мне было жарко. Одеяло стало почему-то толстым и тяжелым. Я пальцами в темноте начал перебирать его и обнаружил, что всего на мне лежит шесть одеял. Каждый из ехавших со мной, не сговариваясь, в темноте укрыл меня собственным одеялом.

Позже, когда меня лишили уже гражданства, я говорил друзьям, которые требовали от меня злобы: а вот за эти одеяла я еще не расплатился. И может быть, никогда не расплачусь. Вот эти пять артистов, мой отец и масса других людей, согревавших меня каждый по-своему, — моя страна, и я ей должен до сих пор.

То, что дал ему отец, помогло Ростроповичу попасть в число музыкантов, упорным трудом добывавших для родины валюту. Родина выпускала их для этого за границу, а по приезде отбирала добытое.

Стезя, на которой трудился сын, страшно далека была от народа. Его искусство, за которое Запад платил больше, чем за продукцию какого-нибудь советского завода, внутри страны употреблялось в основном в минуты роковые. Симфоническую музыку советский народ слушал в дни, когда партии и правительству нечего было ему сказать. Все радиостанции Советского Союза издавали тогда величественные звуки симфоний, увертюр, вокализов — пафос без слов.

Между тем за границей, помимо валюты и искренней любви к музыке, которую Ростропович играл, он обнаружил принципиально иной способ жить, нежели тот, какому следовал его папа. Здесь в ходу был девиз: «Никто не придет за тобой. Потому что ты никому не интересен, не обольщайся. Иди сам. Заинтересуй того, кто нужен тебе, и получишь все». Из этой длинной формулы следовало, как и предупреждали компетентные товарищи, что на проклятом Западе все покупается, потому что все продается. Однако он извлек из нее

основное: «Иди сам!»

Еще до житья на Западе, еще на родине, он перестал ждать, пока его позовут. В меру возможностей он принялся жить так, как сам того хотел. И как считал нужным. Без оглядки на окружающих. Потому и упрекнуть его, жившего не по правилам, не стоило ничего.

Импровизации

— Я тороплюсь, я хочу закончить цикл «Сто мировых премьер». Причем половину с оркестром, которым я дирижирую, половину я играю сам. Хочется как можно больше наиграть произведений, которые останутся на века. У меня — «теория семи». Обычно я играю шесть произведений, и я стараюсь, только Бог видит, как я выкладываюсь, но все это напрасно.

А седьмое выпадает как награда. Я играю седьмое и понимаю — это гениальное сочинение. И иначе, чем через шесть посредственных, добраться до него пути нет. И я знаю — если я шесть раз не принесу себя в жертву, чтобы впервые исполнить неизвестные, только что написанные сочинения, Бог не даст седьмого.

— И много «седьмых»?

— Уже да. Симфония-концерт Прокофьева, оба концерта Шостаковича, концерты Дютийе, Пендерецкого, концерт Шнитке и потрясающее виолончельное сочинение, которое ждет еще большое будущее, концерт Бориса Чайковского. Есть такой композитор. Его концерт, я считаю, гениальный. Я сейчас не играю его, потому что это сложная вещь, я давно ее не играл, а с налета его не повторишь. Значит, надо выкраивать время из подготовки новых вещей, а на это я пойти не могу.

— Но…

— Да. Но вдруг звонок из Сан-Франциско: «Слава, мы сейчас организуем семидесятилетие Исаака Стерна. Вы приедете?» Я говорю: «Да. Все брошу и приеду». Почему? Потому что Стерн не просто мой друг, он практически сам организовал и провел мое шестидесятилетие в Вашингтоне. Сделал программу, позвал людей. И каких! Иегуди Менухин, Пендерецкий, Бернстайн, сам Стерн, естественно, и был потрясающий концерт, а в конце жена президента Нэнси Рейган взяла дирижерскую палочку и продирижировала моим оркестром: «Счастливого дня рождения!» — традиционная американская деньрождественская мелодия. Разве я мог отказать Стерну? «А что я должен сделать?» — «Мы делаем такую смешную штуку. Исполняем „Карнавал животных“

Сен-Санса, а между номерами идет короткий текст, но не тот, который положено читать, типа: „Вот какие солидные слоны“ и идет „Слоновья полька“, а другой, связанный с жизнью Стерна, читать его будет Грегори Пек. Вам предстоит сыграть „Умирающего лебедя“. Перед этим Грегори Пек станет говорить о том, что вот Айзек Стерн встретил в таком-то году замечательно красивую Верочку, которая стала потом спутницей всей его жизни. После чего ваш выход. И все».

— Представляешь? Черт-те что! Значит, я помчусь в Сан-Франциско, черт знает откуда, из Европы, чтобы в течение нескольких минут сыграть там на виолончели? Глупость какая-то. Нет, это не будет являться выдающимся вкладом в день рождения Стерна, нет. «Стоп! — говорю я этому посланцу телефонному. — Давайте так: я приеду только в том случае, если вы немедленно пришлете ко мне человека из Сан-Франциско, театрального портного, чтоб он обмерил мою талию и сшил подходящий костюм». — «О’кей!» — говорит этот человек, и действительно через некоторое время является ко мне портной из Сан-Франциско, измерил мне талию, и, по-моему, сантиметр у него на моей талии не сошелся. «Чего будем шить?» — интересуется.

Много дал бы я за то, чтобы посмотреть на лицо портного, выслушивающего заказ. Великий Маэстро пожелал, чтобы к концерту ему была сшита балетная пачка. После этого он снял ботинок и велел измерить и его, поскольку ему были нужны к концерту же балетные туфли. «О’кей!» — говорит, не дрогнув, портной и удаляется, слегка отвесив нижнюю челюсть. «Да! — крикнул ему вслед Великий Маэстро. — И чтоб имени моего не было в программе!»

Мстислав Леопольдович Ростропович быстренько завершает близлежащие дела и вылетает в Сан-Франциско, куда и является за четыре часа до концерта. Отправляется в зал, требует гримера, костюмера и свой новый костюм, они являются. Он требует сделать из него нечто. Они делают. Он смотрит в зеркало: боже мой! Трико, парик, диадема! Балерина в отставке при полном параде. Осталось только красиво умереть.

Контрольная проверка. Великий Маэстро отправляется в дамский туалет. Дамы там были, но никто не вскочил с места, все продолжали заниматься теми делами, при которых он их застал. Никто не закричал: а-а-а! Дамы его осмотрели критически: какая гигантская баба, но внимания не фиксировали. Маэстро довольно хмыкнул и отвалил.

Он подошел к пианисту, пианист сказал: «Господи! Слава! А кто же будет играть „Лебедя“? Тебя нет в программе, нам сказали, что будет играть виолончелист из оркестра, концертмейстер». —

«Фима! — сказал ему Великий Маэстро. — Играть буду я, но тебя это не должно интересовать. Ты сидишь спиной и все равно ничего не увидишь. Ты начнешь свое вступление, и играй его до скончания мира, пока не услышишь меня». Потом он подошел к концертмейстеру виолончелей и приказал ему во время чтения текста Грегори Пеком симулировать кишечные колики, после чего, оставив виолончель, быстро уползать за кулисы. Фу-у-у!

Наконец началось. Едва услышав Грегори Пека, виолончелист забился в конвульсиях и на четвереньках побежал за кулисы. Из публики сразу же явились три доктора, решившие, что ему пришел конец. Фима вступил, и на пуантах, спиною к залу на сцену выплыл Мстислав Леопольдович. Никто не позволил себе улыбнуться, хотя видели, что балерина несколько велика, верней, широка. Ну, мало ли! Ветеранша сцены, великая в прошлом, еще не умерла, явилась тряхнуть стариной. В гробовом молчании зала, под бряканье Фимы Великий Маэстро проплыл по сцене, забрался с ногами в ящик с канифолью, наканифолился и поплыл обратно. Опять спиною к залу. Но к оркестру лицом. С оркестром начались судороги, между тем Мстислав Леопольдович, крупно взмахивая ресницами, добрался до виолончели. Тут Айзек Стерн первый начал понимать, что происходит. С ним случились какие-то обморочные состояния. Он то вставал, то обрушивался обратно в кресло, беззвучно хлопая ртом. Наконец Маэстро повернулся, взялся за виолончель и сыграл все-таки «Лебедя». Прервавшись на чуть-чуть, чтобы еще потанцевать. Публика рыдала.

— Знаешь, это был один из самых крупных, может быть, самый крупный мой успех. Что творилось в зале, я рассказать тебе не смогу. Это называется: публика бесновалась. И заметь, ни одной репетиции! Чистая импровизация!

— А как же?.. Ведь это невообразимо — ввязаться в такую историю, не зная, чем она закончится. Ведь если…

— Никаких если! Если бы я хоть что-то умел, ну, был бы полубалериной, это было бы страшно. Потому что я делал бы все полупрофессионально. А я не умел ничего. Мне достаточно было просто не уходить со сцены. Я ведь еще и прыгнул пару раз! Да-а-а! Вот тут немножко испугался, что промахнусь и приземлюсь на шпагат. Они же потом не смогли бы меня поднять!

Есть знаменитая запись знаменитого концерта в Карнеги-Холл, когда на юбилей этого прославленного зала собрались все звезды. И Менухин, и Бернстайн, и Горовиц, и Ростропович. И когда концерт уже кончился, они вышли все вместе на край эстрады и перед лицом орущего зала хором запели вдруг, и оркестр, чуть замешкавшись, подхватил: «Глори Аллилуйя!»

О чем ему жалеть? Ни о чем. Глори, Слава!

P.S. Всякий раз, наслушавшись его рассказов, я принимался уговаривать Ростроповича сделать из всего этого книгу, причем брался не только записать все на диктофон, но и помочь оформить, не претендуя даже на упоминание моего имени, настолько обидно было, что пропадают, растрачиваясь по компаниям, случайным встречным эти устные неповторимые его истории. Эти уговоры всякий раз заканчивались категорическим вмешательством Галины Павловны: «Не надо ему никаких помощников! Сам сядет и напишет!»

И вот он заболел. И у него образовалось пустое время. И мне позвонили и сказали, что дочери купили уже диктофон и можно начать записывать. И я засуетился и стал выкраивать время, чтобы ничего не мешало. А не надо было выкраивать, надо было бежать немедленно. Потому что позвонили снова и сказали, что Слава умер, и теперь ему не нужно уже ничего.

Святой Антоний

Его дома — что-то несуразное. Такие природные явления. Вроде как бредешь в нехоженой глуши, вдруг — о! Стоит. Само по себе образовалось. Обло, озорно, огромно, стозевно. И лайяй. Соорудить такое случайно может ребенок. Но детская песочная гора — пустяк, ткни — и развалится. А эти застилающие небо торты стоят и не падают. Причем сделать еще хоть один такой же — не удалось никому.

Одни считали, это потому, что Антонио Гауди — гений, другие, потому что — сумасшедший. И у тех, и у других доводов полны карманы.

Гений

Ну, допустим, гений. А почему почти все, что делал, осталось недоделанным? Или на бумаге? Чего-то ему не хватало.

Еще когда учился на архитектора, дали им задание: проект ворот для кладбища. Ну, ворота и ворота. Хоть и для кладбища. Однако. Нашего гения за его проект хотели просто выгнать из студентов. Потому что вместо чертежей сдал рисунок, высокопарно называя его Эскиз. Чертить он никогда не любил, да, честно говоря, и не особенно умел. Почему — чуть позже. В общем, преподаватели уже занесли было руки над его невнятной головой, но опустить не могли никак. Рисунок был замечательный. На нем красовались не какие-то там ворота на несмазанных петлях, это была целая триумфальная арка, только при виде ее от ужаса хотелось перекреститься. Под мрачным небом стоял проход не на какое-то кладбище, а с этого на тот свет. А наверху сидел сам Господь во всем величии. А ниже куча народа, Христос, апостолы, старцы. И буквы Альфа и Омега. Помните из Апокалипсиса: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний»? Ворота, в которые не хочется идти. А надо.

Вот так. Чертить не хочет, а выгонять жалко. Понятно, что рисуночек — ни в какие ворота: строить по нему никому в голову не придет, да и какое кладбище рискнет поставить такую громадину, о деньгах и речи нет, кто ж столько даст?!

То есть бедолага совсем оторвался от жизни. И — попали пальцем в небо. Какое там оторвался!

Вот заказали ему городские власти сделать для Королевской площади фонарный столб. Не площадь оформить, не какие-

нибудь там лестницы и галереи. А шикарный заказ, мечта поэта. Столб. Он сделал. Ему дают гонорар. 336 песет. Красная цена. И вдруг этот вчерашний студиозус встает в третью позицию и заявляет, что мало. Он хочет 2300 песет. Еще бы! Он же не какой-нибудь там фонтан соорудил. Целый столб! Власти разинули пасти. Городской архитектор долго пересчитывал расходы студиозуса, долго с ним торговался и наконец ужал сумму до 850 песет. Естественно, после этого никакие заказы нашему гордому гению муниципальные власти не делали уже никогда. Хотя к столбам, которые стоят на площади и по сей день, с удовольствием водят туристов.

Или еще. Взялся он строить церковь. Строил десять лет, все деньги потратил. На церковь не потянул, хватило только на крипту. Это такой полуподвал под алтарем, часовня, где иной раз хоронят всяких достойных прихожан. То есть основание, на котором должна бы встать церковь. Грубо говоря, фундамент. Что делать будем? А, говорит, ничего не будем, хватит, больше строить не могу. Нет, крипта, конечно, вышла — всем криптам крипта, внутри целая толпа колонн, лесная чащоба, красота. Но между прочим, ни одной колонны прямой, все изогнутые, наклонные и каждая сама по себе. Чащоба после бури. Как они в этих положениях держат свод — известно одному Богу. И Гауди. Как-то ухитрился. Туристы до сих пор ахают. Но ведь заказывали-то ему не для туристов. А попробуй с ним поспорить! И ведь предупреждал заказчиков один священник, такой Солер: «При общении с Гауди вы должны либо убить его, либо отступить и признать его правоту».

Очень любил делать колонны, причем все — вкривь и вкось. Как-то в одном здании тоже понаставил колонн, любуется. Тут входит заказчик, человек богатый, привыкший к тому, чтобы все было как у людей, только круче. И просто даже обалдел: ты, говорит, конечно, гений, но сам смотри — вон та колонна держит весь потолок, а на ней уже трещина. Рухнет же вот-вот. Гауди говорит, да эта трещина вообще сделана специально, чтобы все проходили мимо и боялись. Ну, хорошо, говорит хозяин, я уже боюсь, но ведь действительно рухнет в самый неподходящий момент и кого-нибудь задавит. И это за такие деньги! Услышав про деньги, Гауди затрясся, вышел из себя и куда-то побежал. Вдруг притащил кувалду и давай ею колотить по несчастной колонне. Все вокруг врассыпную. И тут несчастная колонна пополам! Но ничего не рухнуло. И не рухнет никогда, говорит злобно Гауди, потому что поставлена здесь не для того, чтобы держать, а для красоты. Все руками развели. А как же, говорят, потолок-то не падает? Как-как! А вот не скажу!

Еще он, бывало, встанет под арку, когда с нее снимают опалубку, и улыбается криво, бесстрашный. Все в ужасе зажимают рты, а он говорит — да не бойтесь, пока раствор застывал, я его загипнотизировал.

Вообще-то действительно загадка: все у него выходило пошатнувшимся, но стояло насмерть. Да и на здания то, что получалось, походило мало. То какие-то пряники и леденцы — хоть лизни, то груды песка и костей, то какой-то зверь на многих руках и ногах. Очень тяжелый, прямо видно: руки-ноги напряжены, сейчас как топнет! Но ведь заказывали-то не слона, а конюшню.

И конечно, почти все, что осталось от нашего гения, приходилось достраивать. Он начал и бросил, другим приходится заканчивать, а он уже далеко. Вот Флобер, наглядевшись на таких ребят, как-то и сказал сурово: «Архитекторы все сплошь идиоты. Всегда забывают о лестнице».

И ошибся, потому что наш о лестнице не то что не забывал, однажды лишь ею, родной, и занимался. Для своего старенького папы построил специальную лестницу, пологую-отлогую, чтоб тот мог наверх не карабкаться, задыхаясь, а всходить медленно и торжественно. Таких лестниц никто не строил, поэтому все посмотрели, ахнули, говорят: гениально!

Когда его выпускали из школы архитектуры, директор, чтоб успокоить профессоров, сказал: «Ну, господа! Перед нами либо сумасшедший, либо гений!» Не могли же преподаватели признаться, что обучали сумасшедшего. А чего уж там! И если в молодости он еще, может быть, и был похож на гения, то с возрастом все больше становился похож на городского сумасшедшего.

Сумасшедший

Он разгуливал в каких-то обвисших, в пятнах плесени, пиджаках, брюки болтались вокруг ног, которые он от холода обматывал бинтами. И никакого нижнего белья, да и верхнюю одежду не менял, пока не превращалась в лохмотья. Ел то, что сунут в руку, обычно кусок хлеба, шел и ел на ходу. Если ничего не совали, ничего не ел. Пил воду. Когда очень долго ничего не ел, ложился и начинал помирать. Но приходил кто-нибудь из учеников, менял на нем одежду, новая вскоре опять превращалась в нечто непотребное, кормил, и он поднимался.

Он не проповедовал, ни к кому не приставал с гениальными идеями, не пророчил и не оглашал улицы и площади

проклятиями. Он протягивал руку и смотрел на встречного совершенно не испанскими, выцветшими синими глазами. Глазами стрелка. Без пощады. Рафолс, его помощник, утверждал, что у него были «неотразимые глаза пророка», нет, самым жутким для встречных было другое: «казалось, он способен глазами передвигать предметы и людей».

И вот стоит перед вами на задних лапах такое создание. Безумно смотрит и протягивает руку. Он денег просил. Поэтому встречные, завидев его, сразу переходили на другую сторону улицы или прятались, так он и шел по пустеющим впереди улицам со своей рукой и глазами.

Нет, одну песету ему давал каждый день лавочник, который думал, что получит за это отпущение грехов. Эту песету Гауди торжественно нес на стройку, где почти не осталось работников, потому что никто не мог себе позволить работать бесплатно. Песету он отдавал тому, кто не получал денег дольше всех, и сразу же принимался на него орать, требуя немедленно сломать все, что тот соорудил, и начинать заново.

Он никого и никогда не хвалил. Однажды замучил всех, заставляя раз двадцать переделывать винтовую лестницу, и когда озверевшие рабочие наконец позвали его: «Сеньор Гауди, мы сделали все, как вы хотели!» — и он пришел, все поняли, что, тьфу-тьфу-тьфу, удалось. Ему явно нравилось. Но, взглянув на их довольные физиономии одним глазом, как курица, он буркнул злобно: сломайте все!

Нет-нет, был случай, когда одному каменщику он сказал: «Хосе, ты хороший работник!» И этот Хосе заплакал.

Дело в том, что он строил Храм.

Храм

Храм необыкновенной величины, невероятный Храм. Такой, что, если человечество погибнет и через тысячи лет новые люди начнут откапывать то, что осталось от нас, они найдут не одни пирамиды. И будут думать о нас не только как о созданиях, научившихся передвигать неподъемные кубики. То есть «он задумал такую картину, чтоб висела она без гвоздя». Вавилонскую башню. И часть ее уже встала над городом. И было совершенно непонятно, как ухитрился загнать наверх эти резаные камни грязный старикашка, у которого и дома-то своего нет, живет на стройке как сторож. Вечером ложится в своей каморке на груду тряпья и лежит до утра, чтоб, едва рассветет, снова идти на улицы или кричать на своих голодных рабочих.

Храм делался давно, аж с 1882 года. Даже фундамент было заложили, но тут архитектор Вильяр поссорился с человеком, который все оплачивал, такой был книготорговец Бокабелья: денег, говорит, даете мало! И стройка встала. Бедный Бокабелья с горя лег спать, и вот будто бы приснился ему прекрасный блондин с голубыми глазами. Который пришел спасти этот бедный собор Святого Семейства — Саграда Фамилиа. Через несколько дней Бокабелья заходит к приятелю, а у того сидит рыжий парень с синими глазами. Гауди. Здрасьте! Ну! Все ахнули! А чего ахать? Хитрому Бокабелье вообще мог никто не сниться, человек он был трезвый, сразу посчитал: вот начинашка, учился у того же Вильяра в Высшей школе архитектуры, то есть в принципе знает все, что надо, а обойдется в копейки. При этом с ним точно не будет проблем. Если б он знал, на что напоролся.

И вот с той поры на всю оставшуюся жизнь строить собор стал наш Гауди. То есть когда деньги были — достраивал, когда не было — шел делать чего-нибудь на стороне. На заработки. Поскольку никто из имеющих деньги вовсе не торопился ему их на собор отдавать, времена были тяжелые, а он еще и заявил, что будет строить Храм для бедных. Он думал, все обрадуются, а больше всех — бедные, их же много, вот они тут же и наскребут ему на колобок. Ага! Побежали. Да… Сумасшедшие всегда берутся за нерешаемые задачи. В этом-то и состоит сдвиг по фазе. Нет, ему намекали, что таким манером он о-о-очень долго ничего не построит. Он задумывался, а потом говорил, скосив один глаз на небо: «Мой клиент не торопится». И ведь вместо того, чтобы строить и строить, он все время переделывал готовое. То ли являлось ему какое-то видение, недоступное уму, то ли в голове что-то щелкало. Храм не давался ему. Сопротивлялся. Храм не знал, каким он должен стать. Может, он хотел чертежей?

Но чертежей не хотел Гауди. Он в них не верил. Он, видите ли, был эмпирик. Верил в опыт. И потому построил Макет. В каморке к потолку велел привязать множество разной длины веревочек, и помощники несколько месяцев подвешивали на концы этих веревочек мешочки с дробью, причем количество дробинок он определял сам, долго шевеля перед этим губами. То требовал добавить, то убавить. Каждая веревочка, привязанная за оба конца, изображала будущую арку, а дробинки ее вытягивали до нужной длины. По мере подвешивания и привязывания арки соединялись, и в каморке постепенно — колокол за колоколом — образовывался будущий Храм. Только весь прозрачный и вверх ногами. Он это уже проделывал, когда сооружал свою крипту. И это несчастное сооружение, если его перевернуть и сделать в камне, оказывалось фантастически прочным.

Почему так у него получалось, объяснить не мог никто. И повторить фокус не удавалось. В наши дни, конечно, нечто подобное можно, наверное, рассчитать на компьютере, но что за компьютер образовался 130 лет назад в помраченном мозгу этого бедолаги? Любопытные выворачивали головы, чтобы полюбоваться на построенную им паутину, но как-то ночью одну из центральных веревочек, которую кто-то испачкал жиром, съела крыса и полхрама рухнуло. С утра началось восстановление. Опять на много месяцев.

То есть вы понимаете, строить что-то на площадке всей его странного вида команде было просто некогда. Но однажды все-таки приступили. Заглянут в каморку, полюбуются на какую-нибудь веревочку и идут сооружать подобное на площадку, в уме веревочку переворачивая. Не заскучаешь.

И все это происходило на большом пустыре, тогда это была окраина. Вокруг пастухи пасли своих коз, сидя в тени под возводимой стеной. Мальчишки гонялись за ящерицами, прятались в переходах, каждое утро строители вытаскивали застрявших в лесах бумажных змеев. Вечерами вокруг жители расставляли скамьи и рассаживались семьями полюбоваться на стройку, порассуждать, чем это все закончится, и заманивали строителей пропустить стаканчик.

Как же, пропустишь тут стаканчик. Фасад Рождества, с которого все и начиналось, по намерениям Гауди должен быть грудой всевозможных библейских фигур. Людей и зверей. Рождество же. Гауди объявил, что все у него будет в натуральную величину. Нужны были для этого разные звери, и вот его помощник поутру отправлялся на ближайшую ферму с пучком салата и, пока хозяева зевали, показывал гусям салат. И эти доверчивые гуси шли за ним по пятам, а он им скармливал по листочку. На стройке гусей сразу хватали, усыпляли хлороформом, обмазывали жиром и, пока они не успели проснуться, быстренько делали с них гипсовые отливки, а очухавшихся гнали назад уже хворостиной.

Осла выпросили у старьевщика. Связали, подвесили и давай делать слепки. Когда дошло до людей, Гауди уговорил обмазаться фотографа Рикардо Описсо, но едва его облепили гипсом, бедный фотограф отключился, еле откачали. Пришлось признать, что с людьми фокус не проходит, и надо где-то искать тех, кто мог бы позировать скульптору Матамале.

Далеко ходить, впрочем, не стали. Сторож собора алкоголик Жузеп, он позже умер от белой горячки, изображал Иуду. Внук одного из рабочих — младенца Иисуса. Толстый козопас — Понтия Пилата. Шестипалый гигант, обнаруженный в одном из

баров, — центуриона в сцене избиения младенцев. А красавец штукатур — царя Давида. Дело пошло. Зрителям со стаканчиками было на что полюбоваться.

«Все мы куклы Господа», — заявил однажды утром Гауди Матамале и повел его в местную больничку, посмотреть, как вскрывают трупы. Очень интересовало нашего гения, как человек устроен изнутри. Посмотрели. А нет ли у вас, говорит, умирающих? Да есть один при смерти, его сейчас как раз соборуют. И Гауди потащил упирающегося Матамалу смотреть, как человек умирает. Потом долго потирал ручки и радовался, что сходили не зря, он таки уловил последний выдох, когда душа бедолаги покидала тело.

Еще в больнице он выпросил пару скелетов, все подвешивал их в разных позах и велел фотографировать, чтобы потом рассматривать, как между собой от передвижек перестраиваются кости.

О том, что он держит в своей каморке, на вечерних посиделках рассказывали шепотом. Он делал отливки с мертворожденных младенцев, чтобы потом изображали детей, убитых по приказу Ирода. Подвешенные рядами под потолком, они представляли леденящее зрелище. Те, кому довелось это увидеть, дар речи теряли, только крутили головами.

И все это было лишь подготовкой к строительным мучениям рабочих. Гипсовую отливку они втаскивали наверх, укрепляли, Гауди ею любовался, шевеля губами. Потом снимали и несли к Рикардо Описсо, который ее фотографировал. Фотографию прикрепляли к стене, и Гауди снова ее рассматривал то одним, то другим глазом, а фотографию то поднимали, то опускали, чтобы стало понятно, как она будет смотреться снизу. Снова делался снимок, на котором вытянутое изображение уже напоминало фигуры Эль Греко. По нему дорабатывали гипсовый вариант. Его снова тащили наверх, и, лишь убедившись, что хорошо, Гауди разрешал переводить вариант в камень. И так — с каждой отливкой! А вы говорите — что ж так медленно?!..

Любознательные зрители наслаждались бесплатным зрелищем, отхлебывая из стаканчиков за удачное снятие или подвешивание. И спорили, качая нетрезвыми головами: он сумасшедший или святой?

Но так или иначе, стало наконец что-то вырисовываться. И посмотреть на это потянулись уже значительные особы. Очень хотели собственными глазами увидеть, как что-то образуется из ничего.

Король Альфонсо заезжал, но остался недоволен, потому что Гауди, большой патриот своей малой родины, объяснял ему, что

тут к чему, на своем варварском каталонском, на кастильский переходить не хотел, делал вид, что не понимает. Альфонсо надулся и уехал. И Альберт Швейцер уехал не солоно хлебавши. Этот действительно ничего не понял, потому что привык мыслить глобальными категориями, а тут какие-то детали и подробности чего-то. Значение которых Гауди объяснял, естественно, тоже по-каталонски. Получилась такая встреча с дикарями. Мала-мала ходи-ходи. Хотя как тут втолкуешь? Один вход в Храм чего стоил. Каждому, кто входил под арку, казалось, что весь фасад с гроздьями скульптур сейчас на тебя и рухнет. Кому ж понравится.

Заезжал философ Мигель де Унамуно мрачно вышагивал вокруг строительства, крутя головою и честно бормоча на кастильском: «Мне не нравится! Нет! Мне не нравится!» Гауди шагал за его спиной, передразнивая каждое движение, и противным голосом повторял по-каталонски: «Ему не нравится! Нет! Ему не нравится!»

А ведь все эти ребята очень могли бы помочь, если бы он взялся им все толком объяснить. Но не взялся. Он их серьезными людьми не считал. Да, с возрастом стал он очень вредным старикашкой.

А без денег все равно ничего не двигалось. Нет, существовал некий фонд из взносов прихожан, который платил Гауди зарплату, но тот за ней даже и не являлся, сразу оставляя ее в кассе. Когда все совсем останавливалось — отправлялся на заработки.

Гора

Вот, например, в быстром темпе, всего за три года, он построил дом богачу Пере Мила. Не особняк, доходный дом. Для нескольких семей.

Как всегда, дом пришлось втискивать в узенькое пространство между соседними домами, на месте сносимого старого. И начинать не с фасадов, дальше которых наш гений порой и не шел, а с того, чтобы угодить будущим жильцам. Тут он ухитрялся, как и в предыдущих своих втиснутых домах, так устраивать внутреннее пространство, что понять, откуда взялись эти огромные помещения внутри зажатого снаружи здания, не мог никто. Комнаты получились в виде плавающих друг возле друга пузырей, непонятно как соединенных. Ни одного прямого угла.

И в общем, никаких им любимых переделок. И слава богу! Собор-то стоит, скучает. Заждался. Нет, в конце строительства

повезло, оказалось, что владелец одной из квартир, некий текстильный магнат, никак не может въехать в гараж на своем «Роллс-Ройсе», не вписывается в проем. Гауди сразу ожил. Хоть чуть-чуть радости. Все разворотили, снесли к чертовой матери и поставили заново. И магнат въехал. Расплачиваясь по счетам, несчастный Пере Мила только крякал.

Удалось немножко повозиться и с крышей. Из дымоходов и труб вентиляции устроить интересную чащобу. Замаскировать их под всяких безглазых истуканов. Ну и еще много забавных мелочей. Форму для дверных ручек в Доме Мила Гауди сделал мимоходом, после чего-то удачного, на бис: сжал в руке комок глины — получите форму ручки. Сама ложится в ладонь.

В общем, до фасада дошли в последнюю очередь. А один доброжелатель просто проходу не давал: а что за фасадик у вас будет? А нельзя ли взглянуть на чертежик, если он, конечно, у вас имеется? Гауди сунул руку в карман, вытащил скомканный лист чистой бумаги, расправил и сказал, взглянув синими глазами: «Мой проект фасада, сеньор». Тот выпал в осадок.

А планчик-то в общем соответствовал действительности. В результате чего обычный жилой дом вызвал в обществе скандал и сенсацию.

Критики взволновались. Один описывал дом как «гору, построенную руками человека». Другой увидел в нем «нечто, напоминающее каменное легкое, которое едва заметно дышит». Третий писал, что «под изрезанным морщинами обликом приближающейся старости Гауди сохранил элементы типично детского восприятия. Или это признаки сумасшествия?»

Горожане же в голос смеялись, упражняясь в прозвищах для этого чудовища. Называли и «Осиным гнездом», и «Каменоломней». Поэтому жильцы, заселявшие дом Мила, понимали, что хотя с точки зрения критиков им предстоит жить в произведении искусства, но придется быть посмешищем всего города.

В общем, пока все это сооружалось, богатый Пере Мила стал бедным, поскольку уже заплатил 100 тысяч песет за нарушения Гауди норм строительства, не говоря уж о перестройке. Поэтому ближе к завершению сказал вдруг: платить не буду. А Гауди сказал: ну, сам и достраивай. И они разошлись, похлопывая по пустым карманам, понося друг друга и передав дело в суд. Тяжба началась.

Между тем недостроенность дома спасла его в ту самую Трагическую (или Красную) неделю, от которой пострадала не только Барселона: эти события в конце концов привели и к знаменитой гражданской войне 30-х годов. В июле 1909 года

восставшие рабочие разносили город. Церкви и богатые дома жгли и грабили. А продажный Гауди, как называли его левые газеты, именно ведь и прислуживал церкви и богачам. И вот перед построенными им домами революционные женщины разложили выкопанные в монастыре полусгнившие трупы монашек. Любуйтесь, гады! Есть фото Барселоны, покрытой дымами от горящих церквей. Революционеры разрушили и сожгли больше сорока зданий и двенадцать церквей, убивая священников. Но — чудо! Не трогали недостроенное. Уничтожать то, что в дальнейшем дало бы им работу, восставшие руки не поднимались. А у Гауди почти все требовало доделок.

В общем, семь лет прошло. И вдруг в 1916 году из суда сообщают, что Пере Мила проиграл и оставшийся без гонорара архитектор может получить свои кровные 105 тысяч песет. Шла Мировая война, у Пере Мила богатства не росли, и, чтобы отдать сумасшедшему Гауди сполна, он заложил свой доходный Каса Мила, оставшись полностью разорен. И жестокий Гауди не пожалел бедняка. Недрогнувшей рукою он взял деньги и понес их в кассу Храма. Боже мой! Храм сразу ожил.

Да… В былые времена наш городской сумасшедший был неплохим архитектором и неплохо зарабатывал.

Не снимая перчаток и не покидая экипажа с открытым верхом, он расстилал планы дома на коленях и с важным видом руководил работой прямо с улицы. И все знали, что сейчас он примется все переделывать, снося стены и целые помещения и заново возводя их, будто это гипсовая модель или макет из картона. Корректный специалист Дэвид Маккей назвал эту его замечательную манеру «неопределенный симметричный план, который скрывает живой конгломерат домашних помещений». Замечательная манера оказывалась фантастически дорогой, даже если в результате и получалось нечто впечатляющее.

В те славные времена он был большим денди. Носил лайковые перчатки, шелковые цилиндры, собрал целую коллекцию шейных платков. Шляпы покупал у Арнау. Бороду стриг у Одонару. Орнамент его визитной карточки был сделан под фамильный герб Бурбонов. Он вращался среди городской элиты. Был своим человеком в «Лисеус», где собиралась и знать, и богема. Это и по сегодня самое закрытое заведение в Барселоне, куда с улицы не попасть. Уже в те времена гостей поднимали на второй этаж обитые бархатом лифты, стены были увешаны оригиналами картин знаменитых художников. А какой едой здесь насыщали, каким вином здесь угощали! М-м! Собственно говоря, где найти лучшее место, чтобы получить заказ? Даже если ты еще студент? Главное — туда попасть. Первые стипендии в

университете наш сообразительный гений потратил на покупку золотых часов, которые выдавал за семейную реликвию. Заказчикам туманно отвечал на вопросы о своем прошлом и происхождении, всячески показывая, что повидал много и средства на это имел. Ему было что скрывать.

Тайны

Гауди скрывал, что его отец Франсиско, медник и изготовитель разных котлов и тазов, для того чтобы обеспечить его учение, продал доставшуюся от дедов землю, которая, собственно говоря, и была единственным его капиталом и гарантом обеспеченной старости, продал дом, оставшись в своей мастерской, где продолжал выколачивать свои тазы и котлы, живя лишь на то, что ухитрялся продать.

Гауди скрывал, что в его модных и дорогих одеждах была ахиллесова пята: ботинки. Сделанные на заказ из корней кабачка. Он их всячески прятал, но не потому, что из корней, а потому, что всегда были изношены. Разнашивал их старший брат Франсиско. Поскольку у несчастного Гауди ступни были так искривлены болезнью, что новую обувку надеть он не смог бы вообще. Когда брат умер, ботинки разбивали молотком ученики. Впрочем, в эту пору ему уже и на одежду стало наплевать.

Дело в том, что был он неизлечимо болен. Он появился на свет в 1852 году, в позапрошлом веке, с медициной в те поры было совсем плохо, тамошняя медицина просто развела руками: врожденный ревматизм и артрит. То есть сгибаться и разгибаться суставы бедного ребенка не могли и не хотели. Ему двигаться было больно. И каким сверстникам был он нужен, не могший ни бегать, ни прыгать? Он в школу-то еле ходил. Из-за малоподвижной болезни очень быстро взрослел и старел, сверстник вспоминал, что в классе он казался третьегодником. Кстати, многие до сих пор доказывают, что врожденным у него был не артрит, а именно болезнь раннего старения. В двадцать с небольшим он выглядел на сорок. Вот почему с самого начала он и чертежей не любил, ему чертить было трудно. И больно.

Хуже того. Он родился в семье, которая генетически была обречена на вымирание. Первые двое детей у матери его Антонии умерли почти сразу, хотя выглядели покрепче Антонио, которому повитуха отвела на все про все не больше трех лет. Как младшего, его назвали в честь матери, потому что в честь отца назван был старший брат, Франсиско. Этот продержался до молодости, умер в двадцать с небольшим. А через пару месяцев умерла и мать.

Нет, была еще сестра Роса, которая тоже умерла в двадцать с чем-то, но успела родить дочку. Дочку тоже звали Роса, и тоже была она некрепкого здоровья.

В общем, семья потихоньку вымирала, а этот быстро стареющий ребенок, еле ступая на своих больных ногах, все жил и жил. Еще и заботился об отце и племяннице, пока те были живы, отдавая им все свои гонорары.

Лечился он сам. Всю жизнь ел только листья салата, макал в молоко и ел. Иногда добавлял горсточку орехов. И пил много воды. Очень много. Считал, что вода — лучшая еда. Его помощник Торрес Гарсиа думал, что у него вообще нет желудка. Но это было не так. Другой его помощник Беренгер иногда вкладывал ему в руку ломоть хлеба, Гауди принимался его отщипывать и вот так, по крошке, постепенно съедал, обычно на ходу. Еще он лечился свежим воздухом и говорил, что делает физические упражнения. Запивая их водой. И категорически отказывался от очков, утверждая, что упражнениями вскоре себе зрение исправит сам.

Чтобы живее ходить, завел себе палку с резиновым наконечником. Про ботинки из корней кабачка, разношенные или разбитые молотком, мы уже знаем. Хотя к старости и в них ходить он не мог, перешел на башмаки собственного изобретения, с подошвой из травы эспарто и кожаным верхом.

Один из очевидцев описывал его пребывание на свете как постоянную и «стойкую анемию, вызванную чрезмерным умственным напряжением».

Да, чуть попозже он еще подхватил бруцеллез, или мальтийскую лихорадку, диагностировать которую трудно и сегодня. Медики считают, что «бруцеллез отличают резкие смены настроения, приводящие к суицидальной депрессии. Перемежаясь со вспышками гнева и периодами рассеянности, это подавленное настроение сопровождается физическим истощением, мучительными головными болями, опуханием лимфатических узлов, потливостью по ночам и болезненным артритом» Вот так. Лекарств против этой болезни не было.

Доктор Сантало, который пробовал лечить этого невообразимого пациента, считал, что причиной бруцеллезных обострений было усиливающееся нерв ное расстройство его племянницы Росы, болевшей туберкулезом и тахикардией. Гауди долгие годы пытался излечить любимую племянницу еще и от алкоголизма, но не удалось. Она умерла. Умер и отец, не прожив и года в парковом домике, в котором любящий сын и соорудил для него ту самую пологую лестницу.

В общем, все умерли. Он пережил всех.

Однажды в давнем, еще студенческом, дневнике он записал: «Дом — это маленькое семейное государство. Собственный дом человека — это его родная страна, наемное жилье — страна эмиграции, и поэтому каждый человек мечтает иметь свой дом. Невозможно представить себе собственный дом без семьи — таким может быть только арендованный дом».

Это он и говорил заказчикам, убеждая их построить особнячок. И строил им роскошные дома, сам будучи бездомным.

Как видим, в его жизни было достаточно того, на чем он не хотел бы заострять ничье внимание. Естественно, не хотел заострять и на том, что у него так ничего и не вышло с женщинами. Он два раза влюблялся, но одна девушка, услышав его признание, очень удивилась и только руками развела: увы, она уже помолвлена. Такая была Жозефа по прозвищу Пепета, или по-нашему — Пепита. Бедный Антонио как стоял с открытым ртом после объяснения, так с ним и остался. Вторая о его желании на ней жениться вообще не узнала, он все собирался с духом, нравы тогда были пуританские, все делалось медленно, ну, вот она ждала-ждала, а потом сама однажды собралась и уехала обратно в Америку. Двух неудач ему оказалось довольно. Впрочем, к этим своим неудачам он отнесся с известной долей фатализма.

Он ведь был еще и больной молодой человек, не забывайте. То есть он навсегда отказался от женского общества (не считая племянницы-алкоголички), стал женоненавистником, возмущался, когда видел целующиеся парочки, а своих помощников бранил, если они посещали кафе с сомнительной репутацией или если видел, что они прогуливаются с женщинами.

А вообще-то не стать бы ему никем и никогда, если бы однажды в его жизни не появился Гуэль. Самый богатый человек в Каталонии, фантастически богатый дон Эусебио Гуэль, бывший крестьянин, ставший графом за счет железной хватки и немалого таланта обращаться с капиталами. Ему просто нравился слегка помешанный молодой архитектор, вокруг которого всегда витал привкус скандала и эпатажа. Цену скандалу и эпатажу, цену сенсации Гуэль знал прекрасно, и знал, какие на этом можно сделать деньги.

За свои миллионы он и получал вещи, которых не было больше ни у кого. Он выходил из себя, когда бухгалтер, криво усмехаясь, подсовывал ему счета на огромные суммы, потраченные его верным Гауди: «И это все? Так мало?!» Своему любимцу он даже привез огромный сервиз из Венеции, чтобы тот мог расколотить его и слепить на стенах какую-нибудь мозаику.

Когда в 1883 году Гуэль купил на окраине Барселоны поместье, Гауди стал его семейным архитектором. И 35 лет, до самой смерти Гуэля, Гауди заботился обо всех архитектурных нуждах семьи — от самых мелких, вроде приспособлений для сушки белья на крыше городского дома, конюшен и декоративного фонтана, до им же созданных, ныне прославленных, усадьбы, городского особняка, домашней церкви и целого парка. В общем, ничего бы мы сейчас о нашем гении не читали и даже не писали, если б не Случай и Судьба.

Но как же так вышло, что чем мучительнее жилось телу бедного гения, чем сильнее были его страдания, тем прекрасней становилась его архитектура? Ответа на этот вопрос нет. Он не оставил после себя ни учения, ни книг. Лишь то, что время от времени говорил своим помощникам и ученикам.

Секреты

Не было для студентов из школы архитектуры большего наслаждения, чем заглянуть после занятий на стройку и подразнить сумасшедшего дона Антонио, который образцом совершенства считал куриное яйцо.

Он даже головы не поворачивал, когда ему предлагали порассуждать о Ван Эйке, Ван Дейке или Рембрандте: «О ком? Об этих третьеразрядных декораторах?» На Микеланджело он откликался, бурчал, что тот не понял даже, как следует строить объем в Сикстинской капелле! Микеланджело! У которого вкуса не больше, чем у мясника, выдавливающего сосиски.

Студенты ахали, перечисляя ему великие произведения, потрясающие воображение. И он, как с той стороны прицела, наводил на них безумные синие глаза и говорил, переходя на яростный шепот: «Произведение искусства должно быть не потрясающе. Оно должно быть обольстительно!»

Он нравился студентам, потому что говорил неправильные вещи. Он говорил, что это архитекторы придумали прямую линию и симметрию, хотя в природе нет ни того, ни другого. Не надо ничего придумывать, надо открывать. Бог уже создал все. Берцовая кость совершенно неправильна, но держит все тело. И он всю жизнь строил, пользуясь формой той или иной кости. Да? А как же башни и арки? А очень просто. Берешь горсть сырого песка, выдавливаешь по капле вниз, и из капель начинают расти башни. И ни одна не повторяет другую. Каждая зависит от случайного дрожания пальцев, дуновения ветерка, движения миллионов песчинок. И замок выходит не таким, каким его

видишь ты, а таким, каким его видит Бог. Именно Бог управляет рукой ребенка, строящего из сырого песка.

А может быть, он был вовсе даже и не архитектор? Может, он, сам себя таким не зная, рожден был скульптором? И всю жизнь строил не дома, а скульптуры?

Во всяком случае, все эти его абсолютно неправильные и ненаучные вещи звучали очень даже убедительно и разумно. Увы, прогресс никогда не руководствовался разумными доводами. Он предпочитал прямые линии. Функциональность. Это еще Бернард Шоу заметил: «Разумный человек приспосабливается к миру, неразумный пытается перекроить мир под себя. Поэтому весь прогресс определяется неразумными людьми». Увы!

А Гауди и храм-то строил не как молельный дом, а как громадный орган. Так, чтобы ветер, проходя через отверстия башен, звучал как хор. Чтобы камни храма пели.

И даже отвлекаясь на сторону, ушедший в себя Гауди создавал вещи, в которые вкладывал что-то далекое от прямого прочтения, что-то так и оставшееся неразгаданым. Самое загадочное сооружение — скамья в парке Гуэль. Подрядчик вспоминал, что «Гауди приказал рабочим снять с себя всю одежду и садиться как можно удобней на предварительно нанесенный слой раствора, чтобы получить совершенную форму сидений». То есть вот секрет ее удобства. Зато разгадать сооруженную им длиннющую змеевидную головоломку не удается. Фрагменты каких-то откровений, магических формул, знаки, рожденные запутанным сознанием, — это что? Послание?

Кому и что должны сказать осколки разбитой головы фарфоровой куклы, ряды чисел на фрагментах изразцов? На пятом изгибе две отрезанные руки протягивают лотарингский крест, который в Средние века разрешалось носить лишь одному из пяти патриархов, это был атрибут Григория Великого. Звезды и бабочки, будто прибитые гвоздями пять кроваво-красных ирисов. На одном из темно-синих пролетов — разбитая белая тарелка, осколки которой разлетаются по керамическому небу, слева направо, как падающая звезда. Слово MARIA, перевернутое вверх ногами. Чтобы удобнее было читать с небес?

Иногда что-то прочитать удается, и это похоже на чудо. Два студента сидели как-то на скамье и вдруг после удара колокола, призывающего к молитве, увидели слабо проступившие на фоне цветной ленты слова молитвы: «Angelus Domini nuntiavit Mariae».

Умер и Гуэль. Наконец-то Гауди оказался не нужен никому. У него остался только храм Саграда Фамилиа, на который никто уже не давал денег. Храм Святого Семейства он теперь называл — моя семья.

Он уже знал, для чего родился и выжил — для Храма. Искупительного Храма, который достроить ему не дано. Но! «Будь проклят тот день, когда остановится его возведение», — сказал каталонский поэт Жоан Марагаль. Гауди и это уже понял: Храм должен строиться вечно.

«Неоконченная картина остается живой, опасной, — сказал как-то Пабло Пикассо. — Завершенная работа мертва, убита». До смерти Гауди оставалось еще 8 лет.

Он говорил, что жизнь — это цвет. Больной человек — бесцветен. И вот сам уже выглядел так, как на холсте «Искушение святого Антония». Прозрачным и похожим на тень.

В какой-то из дней написал завещание. По нему дом в парке Гуэль, где умер отец, должен быть продан, деньги переданы собору Святого Семейства. Его семье. Больше у Гауди не было ничего.

Finita

7 июня 1926 года в пять часов пополудни он был сбит трамваем № 30. Водитель описал сбитого как пьяного бродягу. Трамвай поехал дальше. Прохожие нашли в карманах бродяги горсть изюма и орехов. Его отвезли в ту самую больницу, куда он приходил за скелетами и младенцами. Его здесь не узнали. Записали под именем Антонио Санди. Через три дня он умер.

Нет, не потому, что его раздавил трамвай. Он его даже не заметил. Жить ему стало незачем. Он расстался со своим изношенным телом легко, словно с одним из ветхих костюмов. «Умер он, изможденный профессией». Да. «И картину его не повесят. Но картина висит без гвоздя». Висит без гвоздя.

И каталонская пресса вдруг откликнулась: «В Барселоне не стало гения. В Барселоне умер святой. Его оплакивают даже камни». Друг Гауди Сесар Мартинель предложил объявить строительство собора незавершаемым. Завершать его мы не имеем права. Если по какой-то причине он будет закончен до наступления Судного дня, то кто-то где-то должен будет начать все сначала. Вот как все обернулось!

И Барселона вышла на улицы, чтобы хоронить своего городского сумасшедшего. Его провожали тысячи людей. Площадь Каталонии была заполнена насколько видел глаз. Его похоронили в крипте Храма. Красиво и достойно. Да, «они любить умеют только мертвых». Но любить умеют. Хоть так.

PS. Через десять лет, 20 июля 1936 года, в самом начале

гражданской войны в Испании Храм будет подожжен, крипта взломана, мародеры осквернят могилу Гауди, а все его чертежи, записи и макеты уничтожат.

Работы возобновятся лишь в 1952 году. Конца им пока не видно. И это хорошо. Потому что всякий раз, когда мы заходим в собор и платим за вход, мы платим не за какой-то там камень, который будет на эти деньги уложен, но искупаем еще один грех. Искупительный храм завершать нельзя, чтобы не распустить паутину той силы, которая вплетена в это таинственное заклинание.

Глава II
70-е — 80-е. МУЗЫКА СОБАК

Ваш путь невидим.
И незряч.
Мы не обидим вас.
Я — врач.

От автора

Эта глава в свое время написана была «в стол». Потому что все рассказанное происходило в жизни не только автора, но и людей, его окружавших, часто достаточно известных, со сложившейся репутацией, и описывать в ту пору случаи и переживания из их никому не ведомой личной жизни было просто неприлично. И хотя герои никак не назывались, они-то моментально узнали бы сами себя и друг друга. Сейчас одних уж нет, а те — далече. А для тех, кто близко, думаю, случившееся когда-то стало уже так отдаленно, что и было как бы не с ними.

И вот, разворошив слипшиеся, со стертой машинописью желтые листки с закрученными и оборванными уголками, собранные когда-то в серую папку с тесемочками и заброшенные на антресоль, я обнаружил то, что забывать не собирался, что хотел сохранить «на потом», в том виде, в каком оно все и состоялось.

То есть перед вами мемуар, написанный тридцати-сорокалетним человеком в свойственном ему в те поры стиле джазовых композиций. Когда-то в тексте были даже ноты, чтобы можно было текст наборматывать и напевать. Изложено все без хронологической последовательности просто потому, что отдельные истории валялись «в столе» по нескольку лет, поджидая товарищей. Объяснять в те времена, чем мучаются герои, почему поступают так, а не иначе, нужды не было. Мы в этих объяснениях жили. Это и было предчувствием той эпохи, которая вскоре начала осуществляться сама по себе.

Я и сейчас не хочу называть имена героев и героинь этих сказок. У сказочных героев не бывает имен, а тем более фамилий.

Хлеб наш насущный даждь нам джаз

Дней прервется череда…
Как же скучно, господа!

Тема

Жила-была девочка, которую мама родила назло папе. Мама не любила детей, но когда она узнала, что папа тоже их не любит, моментально родила ему девочку. На самом деле она была баба-яга, и одна нога у нее была костяная. Но папа все равно так никогда и не узнал об этом. Он был художник. Работал по договорам, ходил в сапогах, подбитых медными гвоздиками, а когда спал, ноги у него торчали из-под одеяла. Каждая нога заканчивалась выдающимся коричневым ногтем. Однажды он проснулся и обнаружил, что ног стало четыре. Причем две — собачьи.

У него была замечательная собака, помесь дога с таксой, такая премиленькая такса, только полтора метра длиной. Она родилась без хвоста, умела говорить «мама», пела под губную гармошку, когда папа был под мухой и брался ей аккомпанировать, спала под одеялом на спине и однажды по забывчивости высунула свои задние ноги вместе с папиными. Вот он удивился!

Девочке жилось хорошо. Когда мама и папа начинали друг друга бить, она уходила ночевать на вокзал. Собаке на военные действия было наплевать, она залезала себе под одеяло, разваливалась на спине и похрапывала. А девочка отправлялась на вокзал.

Никто не вставал у нее на пути и не стеснял свободу ее выбора, она росла самостоятельным, развитым современным ребенком, это я и имею в виду, когда говорю, что жилось ей хорошо.

Подумайте, разве хорошо бы ей жилось, если бы папа или мама принялись обращать на нее внимание и учить уму-разуму? Она выросла бы забитым, ортодоксальным ребенком, не умеющим самостоятельно мыслить, так и не увидевшим теневых сторон жизни и не умеющим сопереживать.

А девочка все это умела. Она была плюс ко всему еще и рассудительной девочкой и относилась ко всем жизненным отправлениям философски. Когда поздней ночью долго шедший сзади молодой человек схватил ее вдруг за ноги выше колен, как-

то разом завернул юбку и сопя принялся стаскивать невыразимое, она хоть и изумилась, но не завизжала, не закатила истерики и не умерла со страха. Она принялась с ним разговаривать, объясняя несвоевременность и неуместность его поведения. Молодой человек был так поражен, что скоро перестал заносить над ней грязную дрожащую десницу, требуя молчания и покорности, вступил в дебаты, в ходе которых проиграл, и выпустил ее из потных объятий на свободу.

Самые несложные отношения складывались у нее с собаками. Среди них у нее было много знакомых. Некоторых она приглашала в гости — просто поужинать. Она не могла предоставить им крова надолго, поскольку обычно была изгоняема мамой вместе с гостями. Только на папину собаку мама не посягала, та сразу же говорила ей укоризненно: «Мама!» Надо отдать должное собакам — они не дулись, девочку считали своим человеком, а кроме того, по их представлениям, урвать кусочек жратвы на дармовщину или словить кайф, повалявшись в тепле, — уже жизненный успех. Однако девочка чувствовала-таки некоторую перед ними вину.

Одевалась девочка очень модно и современно, и поэтому мальчики рано начали на нее оборачиваться. Видите ли, вещи ее любили, и она всегда делала с ними что хотела. Например, выстирав предназначенную на выброс и сунутую в мусорное ведро подкладку от старого маминого пальто и обрезав произведенные в ней молью кружева — она шила себе прекрасную кофточку или сарафанчик неожиданного фасона и соответственно расцветки. Из папиного плаща, в котором в былые дни хаживал он в одиночку на окуня, получалась, после некоторых урезаний и выворотоk, пикантная клешеная курточка с массой погончиков на местах заплаток и с шикарными пуговицами, обшитыми дерюжкой.

Она была такая очень небольшая и прозрачная девочка, и тряпок на нее уходило совсем немного, а юбки в те поры, если вы помните, шились такие, что их как бы и вовсе не было.

Она рано стала жить материально независимой жизнью. Окончив школу, устроилась секретаршей в довольно сносное учреждение, где ей сразу же стали платить 70 рублей в месяц. Величина суммы смущала ее вначале, позже она привыкла, но и этого ей вполне хватало — ела она мало, была, как я уже сказал, одета, а на субботу и воскресенье давала маме два рубля — пай на участие в семейном чае и супе.

Мама, правда, в первый раз страшно разволновалась, попыталась отлучить ее за безнравственное предложение от семейного очага, оставить погибать в подъездах и на вокзалах, но

девочка столь спокойно и разумно объяснила ей преимущества новых экономических отношений, что мама как-то сразу все поняла, и между ними установилось вполне приемлемое состояние невмешательства и мирного сосуществования.

К этому времени папа покинул маму, за ним ушла собака, говорившая по-человечески. А к маме стал заезжать пожилой респектабельный джентльмен с конфетами и вином. Мама играла сволочь в его замечательной пьесе, она была еще весьма недурна собой, надевала парик, наклеивала ресницы. Она работала актрисой в детском театре, и дети боялись ее до судорог, поэтому она обычно играла отрицательных персонажей и неплохо порой на этом зарабатывала.

Для семейной жизни характер у нее был, конечно, несколько огорчительный, но на кратковременные визиты джентльмена ее хватало. Он, как и папа, так до сих пор и не догадался, что она была бабой-ягой. А костяную ногу она соблазнительно маскировала в ажурный чулочек. Да джентльмен, собственно говоря, особенно и не рисковал изучать подробно ее секреты, за что мама по-своему была ему весьма благодарна.

Старый джентльмен любил поспать, и часов до одиннадцати мама ходила на цыпочках, кипятила молоко: у джентльмена было несварение желудка, и шикала на девочку. «Мужчины, — объясняла она ей, — любят поспать. Они — как дети. За ними нужен глаз да глаз». Потом в коридоре появлялся и сам полнокровный, белотелый джентльмен. Он проходил в уборную, бурля от жизненных сил, радостно погукивая, и если ему на пути попадалась девочка — он непременно вступал с ней в игру, резвясь, теснил ее к двери уборной, делая вид, что хочет туда затащить, потискивал, пощипывал, пощупывал и потом смотрел ей вслед совсем не отцовским взором. Его огорчало, что она такая бесчувственная и не откликается на его жизнерадостное обращение. Но она вовсе не была бесчувственная, она была просто хорошо воспитана.

Я думаю, со временем она уступила бы старому джентльмену, она ведь была добрая девочка, и лаской от нее можно было добиться всего. А джентльмен добился бы, он давно мечтал полюбить какую-нибудь маму одновременно с дочкой. Но.

Жил-был мальчик. Который появился на свет в обстановке грандиозного волнения по поводу состояния его здоровья, и волнение это, раз начавшись, сопровождало его, усиливаясь, всю домашнюю жизнь. Волноваться-то, собственно, не стоило. Он был вполне здоровый мальчик, просто у него были больные родители.

Впрочем, для особой заботы у них имелись основания. Дело в том, что он явно был замечательным мальчиком. На него

ссылались знакомые. Они ставили его друг другу в пример. «Обрати внимание, — говорила знакомая тетя своему мужу, писателю-неудачнику, неряхе и растрепе, сыпавшему пепел за диван и норовившему погулять по дому в уличных туфлях, — какой замечательный мальчик у Ивана Петровича. Ты заметил: он слез с дивана, увидел, что сдвинулась накидка, и тут же ее поправил? А ребенку всего четыре года. Тебе же, оболтусу, сорок четыре…» И так далее. Родители видели необычайные свойства своего ребенка, и потому для них было еще очевиднее, что такому мальчику просто нечего делать на нашей грешной земле.

Надо сказать, что папа мальчика был тоже необыкновенный человек. Он был болен давно и окончательно. У него был радикулит. Многие его знакомые, страдавшие от того же недуга в разные периоды своей жизни, уже повылечивались и непрестанно давали советы, как победить врага, регулярно раздиравшего несчастное тело папы, однако папа был неизлечим.

Он болел так давно, что сам уже не помнил, когда и по какому поводу подцепил роковую болезнь. Он верил вначале врачам, ложился в их клиники, его вытягивали, закручивали и раскручивали на досках, наклонных плоскостях и в специально приготовленной морской воде. Ему делали новокаиновые блокады. Иглу вводили в заросшее уже было отверстие на самом конце позвоночника, где когда-то у человека отвалился хвост. Папа невыносимо страдал. Он кричал на этих оголтелых врачей: «Мучители!» и «Сделайте хоть что-нибудь!». Но они ничего сделать не могли. Медицина оказалась бессильна.

С той поры папа потерял веру в жизнь. Он не мог поднять уже и телефонную трубку, опасаясь, что вес ее надавит на неизлечимый позвонок, и тогда все. Жизнь его сделалась полна ограничений. «Ты пьешь неразбавленное молоко? — спрашивал он у жены напряженным голосом. — Но это же вредно! Я читал». Ходить он стал только по прямой, маленькими шажками, а когда нужно было поворачивать, долго переступал на одном месте. «Зачем ты ходишь квадратами, — осторожно интересовалась жена, — ведь по диагонали короче?» — «Мне так удобней», — отвечал он кротко. Спал папа на специальной доске и только на спине. И просто поразительно, как он при этом сумел зачать себе ребенка.

Ведь он даже и в служебной машине давно уже ездил лежа, боясь потревожить притаившееся в спине чудовище. Папа был главным редактором журнала «Профсоюзы и жизнь» и писал статьи о внутреннем и международном положении, боялся он только одного — что из-за болезни ему вообще придется подать в отставку, поэтому, когда временами он вынужден был

отказываться и от поездок, требовал, чтобы работу ему привозили домой.

Зато в дни, когда болезнь отрезала папу от внешнего мира, он наконец мог предаться своей единственной страсти. Когда-то больше всего на свете папа мечтал писать статьи не о внутреннем и международном положении, а об искусстве. Но этой мечте помешала сбыться болезнь. И тогда страстью папы стало приготовление еды.

Когда папа священнодействовал на кухне, жена и теща крыльями метались за спиной его, надеясь наконец-то проникнуть в тайну его рук, превращавших обычные продукты в нечто не похожее ни на что. Тени неслись по стенам и потолку, генерал-лейтенантскими звездами сверкали над плечами папы женские глаза. Папа женщин к изготовлению блюда не допускал.

Он был сторонником лишь частичной эмансипации. Лично выбирал на базаре нужное ему мясо (болезнь оставляла его в эти вдохновенные часы), сам отбивал и стирал в порошок его на специальной мясорубке, изготовленной по его же чертежам, сам варил заживо лук в свином сале, резал серпантином и обжаривал до состояния новенькой часовой пружины картофель. Сам выбегал в мороз, в распахнутом пальто с девятого этажа во двор, где находился нарочно отрытый им погреб, который много лет подряд грудью защищал он от работников ЖЭКа, водопроводчиков, газовщиков и канализаторщиков, норовивших время от времени проложить в том месте какую-то нужную им трубу.

Собрав исходный материал, папа неожиданно оставлял все, уходил к себе и ложился на свою доску. Продукты, готовые к превращению в еду, тихо лежали на столе, ожидая второго пришествия папы. Но он столь же тихо лежал на доске своей, кажется, забыв уже о том, что ему предстоит. Дыхание замирало в доме, пыль боялась садиться и зависала в воздухе, все было ожидание, томление и летаргия.

Бесшумно и неожиданно он возникал в дверях кухни, как в раме, чужим и странным было его лицо, глаза недвижны, глубоки и страшны. А руки — уже подрагивали, дрожь проносилась по телу, она бросала его к столу — и!..

…На свежевымытые, невинные, бледно-зеленые, в каплях слез листья салата, как сеятель, широко и щедро швырял он вдруг сверкающий картофель, мохнатое мясо, матовый, тающий от прикосновений лук. Простой лейтмотив — чередование компонентов, но как владел им папа! В точно уловленный миг созревания, уже рождающуюся полифонию композиции мощно разряжал он ритмикой долек яйца желтками вверх. И сейчас же

противопоставлял им кружки огурцов, нанизанных на морковки. Огурцы как бы задерживали движение, которое уже конденсировалось в центре, как в чаше. Господствующее целостное движение в глубину вызывало теперь ощущение полета. Папа откидывался от стола. Диво!

Архитектоника решения, передача конструктивных жизненных сил в текучей форме, претворение законов тяготения, образ борьбы свободы и насилия, тени и света, выражение в отдельной форме ритма, пульсирующего в целом, придавали сооружению отпечаток рациональной ясности и вещественности.

Папа посыпал его сыром, поверх снова укладывал листья салата, увенчивал ломтиками лимона, ягодками клюквы и помидором, взрезанным в виде розы. Поливал своим личным соусом, хранимым в темной витой бутылке из-под двойного золотого пива (секрет соуса, увы, безвозвратно утерян), ставил на полчаса в холодильник, потом на спиртовку, потом при свечах, в танцующем синем пламени вносил над головою и опускал среди сонма гостей, облепивших уже пиршественный стол.

Но чудо! Папа никогда не ел сам приготовленное им. Он лишь смотрел с печальной и несколько жалкой улыбкой на большом отвисшем книзу лице, как уничтожалось ювелирное изделие рук его, как тончайшая игра красок, запахов, довкусовых и послевкусовых ощущений превращалась в ничто. Как благоуханное украшение стола становилось серой пережеванной массой, проваливалось в желудки, уходило в небытие. Вся жизнь казалась в эти минуты папе тщетным и кратковременным усилием, и ради чего? О нестойкости красоты думал папа, о краткости жизни, о суете, в которой погряз человек, о журнальных статьях своих, которые пионеры собирали на макулатуру.

Нестойкость всего сущего была точкой опоры (трудно представить, но попробуйте), на которой зиждилось мироощущение Ивана Петровича.

Ребенок во всем походил на своего папу. Он был, что называется, «толстый мальчик». У него к семи годам образовался животик, а на спине мягкие подушечки, которые мама любила целовать. Она была уверена, что мальчик толст от больного сердца, и потому грудью своей заслоняла его от сверстников, за которыми он мог, о себе не думая, по-детски непосредственно, побежать однажды, и тогда…

Нет-нет, по предначертанию мамы жизнь свою он должен был пройти шагом, как папа, оберегая больной орган. Если утром он вздумывал кашлянуть — его укладывали в постель на весь день, давали аспирин, поили горячим молоком с медом и малиною, а

вечером шли к нему с горчичниками. Он любил покушать, в чем ему никогда не отказывали. Поэтому он рос, тучнея, более уже и сам не желая играть со сверстниками, глядя на них и на мир их с балкона снисходительно и отрешенно, как папа.

Когда оба они, крупный, полнотелый, слегка обрюзгший папа и точная его уменьшенная копия — упитанный и медлительный ребенок, — отправлялись гулять, размеренно выворачивая ноги в стороны, заложив руки за спину, когда одинаково рассматривали какую-нибудь букашку, печально и наклонив головы несколько набок (папа считал, что дети должны любить животных), сразу было видно — это папа с сыном.

Походил ли мальчик на маму — сказать затруднительно, поскольку мама была лицо непримечательное во всех отношениях. Ни с первого, ни со второго взгляда запомнить ее не удавалось никому. Если бы она устроилась работать шпионкой, никакая вражеская контрразведка в жизни не смогла бы ее отыскать. Но она посвятила свою жизнь папе с сыном.

Именно поэтому мама желала, чтобы ее ребенок взял от своей ненадолго ему отпущенной жизни все. С четырех лет к мальчику было приставлено несколько репетиторов. Позавтракав, он три часа говорил по-английски с лохматым молодым человеком, не умевшим по-английски ни писать, ни читать, но говорившим свободно, с оксфордским акцентом: он прошел курс языкового погружения и теперь подрабатывал, обучая детей и аспирантов разговорному языку. Вслед за ним на сцене появлялась брудастая дама, которая, шевеля свирепо усами, учила ребенка хорошим манерам. После мертвого часа мальчик садился с мамой за фортепьяно.

Мама в молодости подавала большие надежды, обещая стать выдающейся пианисткой, лауреатом всяческих премий, но, когда она вышла замуж за папу, ей пришлось оставить музыкальное поприще, поскольку папа нуждался в ее защите и опоре. Зато теперь музыкальное образование ребенка она не доверяла никому.

Она оказалась, к несчастью, нервным педагогом, быстро взвинчивалась, когда мальчик ставил толстые свои пальцы не на те клавиши. Тогда учение прерывалось скандалом, криком, слезами мамы и сына, а мамина мама начинала аккомпанировать большими кастрюлями, ожесточенно двигая их на кухне. Потом она входила, вытирая передником большие красные руки, и вступала с мамой в педагогический диспут. Они дуэтом (меццо-сопрано — баритон) излагали свои воспитательные доктрины, а ребенок, забытый ими, отправлялся в детскую, которую папа изготовил для него своими руками.

Все — от вырубленных топором специальных чурбачков для сидения до чебурашек и гномов, нарисованных на стене, — было плодом папиного воображения. Здесь ребенок молча сидел на чурбачке, засунув в рот большой палец и думая о своей непростой жизни, а мама со своей мамой, уже утихнув, по очереди заглядывали в глазок, вставленный в дверь специально папой — дабы не травмировать ребенка частыми посещениями, но быть в курсе всего, что он делает, оставшись один.

Окончательно вытерев слезы, мама стучала в дверь и, получив разрешение, входила, брала мальчика за руку и вела его, но не к роялю, а к проигрывателю, на котором уже стояла пластинка. И они два часа слушали Баха, а мама рассказывала потихоньку сыну о жизни этого замечательного композитора.

Совершенно нечувственно мальчик вырос и, к неописуемому удивлению мамы, не умер, а поступил довольно легко в консерваторию, осуществив тем самым ее заветное желание. Она втайне считала свою жизнь разбитой оттого, что ей не довелось продолжить свою сценическую карьеру. А он не был даже особенно счастлив.

Хуже всего, что именно в этот ключевой момент, впервые в жизни мальчик вдруг взбунтовался и заявил, что больше не хочет жить с папой и мамой, он хочет жить в общежитии и требует от папы, чтобы тот ему это устроил. Маме стало плохо, она потребовала врачей, но неожиданно взбунтовался папа. Теперь уже он заявил, что для своего неблагодарного ребенка он готов отправиться к нужным людям, которые, конечно же, сделают для него все. Он даже настаивает на том, чтобы сын его пожил наконец один и на своей шкуре (тут мама снова потребовала корвалол) прочувствовал, что за штука жизнь! И он тут же пошел, лег в свою машину, объехал нужных людей и все устроил. Так закончилось мальчиково детство, он покинул мир взрослых и принялся жить в общежитии, среди студентов.

Мир студентов показался ему поначалу весьма непривлекательным, но противу всяких ожиданий он довольно скоро нашел в нем свой уголок. И это еще раз доказывает, что он был вполне здоров и психически нормален.

А товарищи его просто полюбили. Он несколько необычно воспринимал реальность окружающей его действительности. Разбирая ноты, вдруг начинал дико хохотать: ах-ха-хах! — обнаруживая неприличные, с его точки зрения, сочетания звуков. Впрочем, многие из этих будущих музыкантов были со странностями.

А мальчик был странен как-то очень даже по-житейски мило. Он всюду оставлял свои вещи, брал или надевал чужие и в них

уходил. Видите ли, он был близорук. Впрочем, он не носил и очков, объясняя это тем, что когда он смотрит на мир сквозь них — все вокруг становятся некрасивы, а более всех он сам — в зеркале или стекле. Зато без очков — люди прекрасны, а себя он вообще не видит. И это эстетическое восприятие окружающего, очевидно, оставил ему через генетический код папа. От мамы, кроме музыкального слуха ему ничего не досталось. И слава богу.

Наибольшая оригинальность его поведения заключалась в том, что он избегал общества однокурсниц. Наклонность к суровому мужскому товариществу вызывала в окружающих выразительное уважение и тактичное изумление. И оттого, когда однажды он, не дав никаких объяснений и уклонясь от расспросов, принялся ввечеру облачаться в парадные одежды, явно намереваясь сделать выход в свет, новость эта моментально овладела умами. Всем стало вдруг очевидно, что идет он на свидание, не менее очевидным стало и другое: свидание должно было состояться с дамой никому не известной — с улицы.

Известие о сем поступке встречено было адским хохотом и катанием на кроватях с задиранием ног на стены. Однако по успокоении рассмотрен был поступок как некая измена клану. И было решено непременно свершившееся отметить.

С этой целью в комнате, где жил мальчик с товарищами, в темпе аллегро были зацеплены за кровати, шкафы и шнур лампочки и натянуты вдоль и поперек черные нитки, а на них развешаны ключи, ножницы и все, что, упав, могло звенеть и подпрыгивать. Голубой нотой явилась нитка поперек двери, к которой была привязана еще одна — четвертушка, для того, чтобы, сдернув на голову переступившего порог кипу нот и старых журналов, укрепленных весьма относительно над дверью, обрушить на него вступительный аккорд. После чего в комнате был потушен свет, дверь отворена, а злоумышленники, дурно хихикая, на цыпочках, свесив перед собой передние лапки, устремились в дальний конец коридора на дырявый диван, где и устроились ожидать падения музыкальной литературы.

Добыча не появлялась, утомленные охотники разбрелись по соседям, где и заночевали. Утром стало очевидно, что засада не удалась, жертва не явилась, в бледном свете отверстой двери отчетливо обозначалась сторожевая нитка. Невыспавшиеся ловцы, срывая препоны, побрели к своим лежбищам и! — единый крик исторгся из грудей — они увидели в углу, на самой дальней кровати, невредимое, неведомым и невероятным способом одолевшее все преграды, отлавливаемое ими бессовестное животное. Оно смирно посапывало.

Вопль разбудил мальчика, который с ужасом на толстых

мордасах взирал на вдруг окружившую его вакханалию. «Он вляпался по уши, — кричали, указывая на него пальцами, друзья, — и уже начал летать! Перед нами конченый человек! Ты можешь не объяснить, а просто осознать, как ты просочился?» Мальчик отвечал, что, может, и ничего странного в том нет. Возвращаясь несколько поздно, он обнаружил на пути своем неожиданную нитку и, не желая нарушать чьих-то планов, встал на четвереньки и пошел к себе в угол.

Счастливы простодушные, они не знают преград. Простодушны счастливые, ибо у них есть крылья, а мир с готовностью меняет обличья, выполняя их прихоти. А что ему остается делать? Ничего ему не остается, потому что мальчик и девочка, которые до того просто жили, встретились вдруг на улице, и все, что было, закончилось, а все, чего не было, началось.

Впрочем, сказать встретились — было бы не совсем точно. Это девочка увидела мальчика. И она сразу поняла, что, если вот сейчас промедлит, он пройдет мимо, даже не разглядев ее. Мимо пройдет тот самый ребенок, большой, толстый и близорукий, который один был ей нужен. Чтобы опекать его, защищать, одевать, раздевать, умывать и возиться с ним.

Нет, она помнила, конечно, что все мужчины — как дети. Но ей они такими вовсе не казались, потому что сами готовы были тешить ее. А она была к этому совершенно не готова. Она приучилась платить вперед, и тут уж ничего не поделаешь. А у мальчика на лбу было написано предназначение стать чьим-то баловнем, чьим-то несчастьем и счастьем, и потому у девочки просто не было выбора.

Боже мой! Если бы мальчик, стоик с комплексом неполноценности, панически дрожавший от единой мысли о заведомых провалах в отношениях с эмансипированной половиной человечества, мог представить себе, что девочка, такая как эта, предназначенная неведомо галантному, киноудачливому юниору в сертификатных одеждах, повернет в его сторону надменную свою головку, — он не остался бы на месте действия ни секунды, он бежал бы от очевидности унижения. Но поскольку представить себе этого он не мог, он остался.

И тотчас же перед ним возникло ее лицо. Что-то дрожало в нем. И стало поздно бежать. И они пошли, держась в полутора метрах друг от друга, разделяемые прохожими, которым сразу же становилось ясно, что тут происходит. Но им-то двоим совершенно ничего не было ясно. И прежде всего — что делать теперь друг с другом. И тогда девочка шагнула в подъезд.

Ну конечно, в подъезд. Видите ли, у нее было прошлое.

Когда ей случилось двенадцать лет, мама и папа собрали

сонм гостей, и она, лежа в спальне, слушала, как сонм яростно празднует ее день рождения. Вечно простуженный, шмыгающий носом, хронически голодный поэт, существо трогательное и нежное в трезвом виде, но агрессивное и даже опасное в пьяном, читал стихи о том, как матушка ждет его в своем развалившемся деревенском доме, как светла его горница, оставленная навсегда, и как мать тронет его рукою, когда он вернется. Но даже девочка знала, что никакой матери нет, она родила его и умерла, а он как-то выжил, побираясь меж людьми. И от нестерпимости этого обмана она плакала, а он, выпив, пел уже матерные частушки, подыгрывая себе на гармошке.

И тут в спальню забрел заблудившийся пьяненький режиссер, который снял летом маму и саму девочку в крохотных рольках в своей длинной картине. Он ткнулся в ее мокрую подушку и сам вдруг заплакал и сказал, что весь его огромный фильм только что зарубили к чертовой маме и что все кончено. Жизнь завершилась. Мокрая щеточка его усов все касалась девочкиной щеки, и она обняла его и гладила по волосам. Он начал ее целовать. Она отвечала. И ощутила вдруг в себе эту неведомую ей, острую нежность к мужчине, который нуждался в ней и в ее нежности.

То есть у девочки было кое-что в запасе. Она знала, что такое внезапный ночной роман. Во всяком случае, знала, как целоваться. И потому они свернули в ближайший подъезд.

Потом они встретились снова и снова, как заговорщики, нырнули в теплую тьму и беззаконие чужого парадного.

Они бежали, задыхаясь, на третий этаж и где-то на полувздохе, на полушаге уже целовались и разговаривали. Все вместе. О чем они говорили? Ну, это нельзя рассказать. Вы сами-то помните, о чем говорили между поцелуями? Впрочем, они наделяли друг друга отсутствующими качествами.

У девочки, например, не оказалось классического музыкального слуха. Видимо, ей в свое время наступил на ухо медведь. Но она непрестанно мурлыкала всяческие мелодии. И мальчику нравились они безмерно. Он видел в вольности нарушения ею гармонических начал остроумие и озорство, а причудливая дисгармония и диссонансы ее музыкальных решений наводили его на мысль о несомненной творческой ее одаренности. Любовь, видите ли, слепа.

Любовь, сказал я? Да, по-видимому, это настала любовь, одна из многих настающих на земле.

Ах, начало любви! Это землетрясение! Это совсем не то, что конец любви, когда выныриваешь из пены волшебного сна и обнаруживаешь, что лучше не заглядывать в зеркало. У, какая морда! Тьфу! Тело совершенно не гнется и не хочет гнуться,

подлец. Проволока, из которой ушел ток. Валяется тут, в углу. Ах, конец любви совсем не то, что начало.

Начало — это бицепсы, роса, сирень на велосипедном руле, ночные купания, гладкая кожа. Это звук трубы, от которого вздрагивают лошади, а всадники вытаскивают из ножен холодные синие шашки. Это предчувствие скачки по широкому полю, где в лошадином визге, в хлопьях пены и колючем запахе пота и крови разваливают друг друга на части потерявшие голову люди. И мерным, тяжким аккомпанементом все покрывает топот и храп.

Первое соло трубы

Пощечина

Сколько ж с тех пор воды утекло!.. И Девочка стала другой.

Как я ей дал по глазу, она покрылась мелкой рябью. Мелкой зыбью. Это просто чудеса, встали дыбом волоса. Легла. Она как озеро лежала, стояли очи, как вода.

Явление второе. Те же и Мама. Входит Мама. Мама: «Что вы наделали?!»

Старушко дряхлое мое. С голубыми волосами. Пятнадцатый век. Жирофле-Жирофля. Кудряшечки, как у кэрри-блю-терьера. Любимица публики. Стучит костяной ногою, берет верхнее си — и на меня. Я говорю: «Мама! Я — контровик. Когда я вижу кулак, у меня рука идет на опережение». Не слышит. Не внемлет. Входит в ближний бой. Проводит серию по корпусу, выше не достает, но подпрыгивает и — прямой правой — в глаз! Отличный удар! Как молотком. Но раскрывается. Эх! Одна нога была у ней короче. Другая — деревянная была. И ничего не могу поделать, увожу свою правую, уже на излете увожу, и не успеваю: хряп! Аут. Бросает перчатки, валится в кресло. Победа присуждается мне за явным преимуществом. Я — Чемпион Мира По Драке С Мамой Любимой Девушки. Вот как… ребята.

Любимой девушке я зафингалил тоже в глаз. Теперь у них два глаза на двоих. На двух. На обеих. Обе встают, встряхиваются и — в дверь. Клац-бамц!

Привет. Выгнал из их же собственной квартиры. Неужели ментов позовут? Все, линяем, Крупа! Отрезвились!..вели!

Почему я должен всю жизнь носить что-то чужое? Секонд-хенд. Обноски с Пианиста. Он ее бросил наконец-то, или она его, или оба они друг друга бросили, почему мне надо все это донашивать? Вместе с Мамой? С голубыми волосами? Почему я? Почему все, кто дует в трубу, идиоты по определению? Я бы,

может, и промолчал, но она же сама начала про Пианиста. Ну, бросил он тебя, или ты его, или вы оба друг дружку, мне-то что до этого, я вам — жилет? Последний раз мы сегодня играем, и все, ухожу играть на Ваганьково. Видеть этого слюнявчика более не могу. Тем более с ним играть. Ребята, я с вами больше не играю! Пошли вы в жопу!

I roll and I tumble and I cry all night long
I roll and I tumble and I cry all night long
When I woke up this morning,
I could not tell right from wrong.

…Когда я впервые ударил женщину по лицу… Когда я впервые… мне было четырнадцать, а ей, женщине, десять. Вот как.

А потом смотрел с упоением в рыло всякому мародеру, рапортующему по пьяни малолеткам об очередной виктории, одержанной им в темном переулке, над толпой шпаны, перекидав которую ничего более не остается, как извлечь из мусорного бака полуизнасилованную дочь марокканского посла и, сощелкивая пушинку с белого смокинга, прошептать вытащенной за уши из помоев, прошептать знойной красавице, ощипывающей с себя картофельные очистки, прошептать на суахили: мадам, сейчас я добью морды этим падлам и моментально доставлю вас к папа! Добиваю, доставляю.

Вот и папа в собственном соку! Предлагаю вам, говорит, в качестве награды руку и сердце единственной дочурки, черт, непрошеная слеза! Тут начинается! Международные отношения! Мировой скандал! Акции падают! Быки бодают медведей! Финал. Взволнованный папа в качестве сатисфакции дарит несостоявшемуся жениху арафатку и белый марокканский бурнус с заплатой на заднице: мейд ин там.

Господа наносители неисправимых телесных повреждений, вам такое не снилось, на моем счету пощечина, и какая! Единственное доказательство моей полноценности. Сколько б я теперь ни жил, я все уже сделал!

Я сделал это летом. Пыль накатывалась как волны. Эта жара летних каникул, бесконечный, бездонный день, пересохшее дно школьного двора. Вымершее, выбеленное солнцем здание. Мы гонялись друг за дружкой и орали как коты.

А девочка убежала по каменным ступеням туда, в заброшенное здание, в темь и паутину подъезда, и этого никто не заметил. А я заметил. И пошел туда. Одна половинка двери была отодвинута как раз настолько, чтобы протиснуться. За второй

было тихо. Тьма кромешная. Беспросветная. С глазами. Тут она притаилась.

И долго было тихо, долго, потому что она не дышала, она была счастлива, что затаилась, что никто про это не знает, никто ее не заметил, никто к ней не придет. Никто не станет ее искать. И ее действительно никто не стал бы искать. Так там она бы и умерла. Приходят — стоит скелетик, здравствуйте!

Она была такая девочка на ножках, вся в пуху. И вот она забилась от счастья в паутинный подъезд. И даже когда я появился, была уверена, что и я ее не разгляжу. Даже подрагивала от уверенности и нетерпения, когда же наконец я ее не разгляжу. Я ее по счастью нашел.

И я этого не вынес. Я этого не мог перенести. Я ее так ударил, так громко ударил я ее по лицу, что слышно стало и на дворе. Повсюду стало вдруг слышно, как я ее ударил. И лопнуло!

В дверь сунулись морды: что такое? Ах, что случилось?! И вот нас уже вытащили и отряхнули, вывели ее на крыльцо, такую мамину дочку в одуванчиковом платье. Что случилось? А что случилось — если на щеке ее прямо горят пять моих пальцев.

Причем она и не пикнула, когда я ей врезал. Она только раскрыла глаза, ну да, она же зажмурилась изо всей силы, чтоб совсем исчезнуть, а тут она их разинула вместо рта, а я схватился за стенку.

И дети вдруг перестали кричать, будто потеряли к нам интерес. Они замолчали. И вдруг побежали с криком дальше. И все поехало, все завертелось, словно ничего и не было. Все-таки дети умнее взрослых.

А я сел у высокого фундамента, протянул ноги через асфальт, жутко длинные у меня оказались ноги, и медленно начал по стенке съезжать, съезжал и смотрел, как они носятся друг за другом, и видел, что девочка на меня взглядывает. Как же ее звали?

Ах, какая красивая это была девочка. Я бы ее уничтожил. Я бы ее съел. Я бы заплакал, но оказалось, что плакать я уже не умею. Тут у стенки, медленно съезжая, почти уже лежа на асфальте, я сознался, что целый год уже вот так, как она сейчас, исподтишка на нее смотрел. Игра такая. Называется — гляделки. Для младших и старших школьников. Если уж честно, я глаз с нее не сводил. А теперь вот подбил итог.

И самое главное, она даже не пикнула. Вообще-то она была рева. Но такой уж это был час, и лето такое, и жара. И я совсем сполз на асфальт, лишь затылком упирался в колючий камень фундамента и смотрел, как она на меня смотрит.

Я к ней так и не подошел, ни потом, никогда. Хотя в те поры

все про нее знал, где живет, что любит и как ее имя, отчество и фамилия. Сейчас забыл.

Все. Отстрелился. Давай, старик. Я сдох.

(Жидкие аплодисменты.)

Первое соло саксофона

Трава

«Он подал мне руку и уже хотел идти своей дорогой, как вдруг я заметил у него на лице что-то странное. Всматриваюсь — следы человеческой пятерни.

— Что такое у вас на лице? — спросил я.

— Пятерня. Это от прошлого либерального паскудства осталось. Пройдет. И впредь не будет… ручаюсь!»

Ну-ну. Хотя знаем мы вас, голубчиков. А вот как тебе такой разворот? Да нет, про любовь, про любовь.

В деревне, где я родился, росла необыкновенная трава. Такая — листочки махонькие и узкие, и весь стебель мохнат ими. Очень густая и очень высокая, по колено мужику. Мы, играя в прятки, никуда, бывалоча, не бежали, а так, отойдешь от места шагов десять, нырь в траву и лежи хоть до завтра, не найдут, пока сам не выйдешь.

А самому не хотелось. Пахло в ней летом и сном. Такая трын-трава. Мы расчистим пару пятачков под городки, пару дней не поиграли, и все! — не можем найти, где выщипали: заросло наглухо.

Трава заливала улицу, дома стояли в ней по колено, кораблями высились в ней валяные сапоги стариков, укрепившихся перед домами на заваленках. Через эти сапоги, как через трубы, старики сообщались с землею. Пробивали траву редкие, натоптанные вкрутую белые тропки. Они в дождь чуть темнели, но ни упругости, ни чистоты не теряли. Вели к колодцам, колодцы были замшелые, кряжистые, вода в них была слаще молока.

Деревни вокруг назывались: Красное село, Доброе село, Боголюбовка, Барское Сущево, Сеславское. Там тоже росла эта трава, но уже не такая. Редкая, желтоватая, ростки вялые, расползаются по земле, и много среди них водилось подорожника, нет, не такая.

Я думаю, эта трава и образовала себе на земле нашу Михайловку. Уложила ее в излучине прозрачной речки Рпени, за речкой — заливные луга, в другом конце, на взгорке, построилась

тесовая, с выскобленным крыльцом школа, где вся деревня получала два класса образования. Школу обступали березы. Стояли, до земли завесив зеленью дебелую наготу, еще на моей памяти.

Вся деревня была в этих огромных березах, и мы, детня, в майские вечера выходили сшибать толстых янтарных жуков, гудящих, живущих, сущих в темной путанице лиственных подзоров. Выходили в обтерханных ватниках, чтоб уж не возвращаться домой до ночи, подвернув рукава, а полы оставив до пят.

Взмахнув этим ватником, сшибешь могучего, разводящего твои пальцы своими несгибаемыми лапами, шевелящего усами молодца, берешь его, сажаешь в коробок, и он твой собственный. Чтоб ходить потом, приложив коробок к уху, и слушать скрипучее жучиное радио. Дома вытряхнешь его, он усики начинает сразу разводить, напруживаться, заводит себя, заводит и — вдруг сорвался и понесся, лови снова.

Сон. ***Вчера я летел в каких-то конструкциях, какие-то тросы, балки, пустота внизу, плащ мой хлопал по черному железу перекрытий. Они кинулись снизу, из-под поперечин, они таились там, обсев балки густо, как тли, выжидали, и вдруг тысячи серых ручек вцепились в тучу плаща, рвали, блистали крохотные окровавленные зубки, и уже потащили паутинную сеть, быстро и умело заводили справа и сверху.***

Меч мой полыхнул хвостатым огнем. С писком кинулась за балки шуршащая сволочь. Синие лоскуты пламени обрывались с лезвия, зависали, их обсасывала пустота, секунды жили они на обрывках сети и умирали в обуглившихся нитях. Мириадами шевелящихся теней опухали балки, сяк выпиваемый косо надрезанными ротиками кислород, и тесно становилось жить, слабость входила в тело. Тогда я их обманул, я кинулся в пропасть вниз головою, они взвыли на кренящихся опорах, но уже дальше и дальше назад уносило скопище их, и небо открылось внизу и вверху, с чистыми заводями, и путь мой стал как утоленная жажда.

Ночь отставала. И уже впереди занимались над миром Божьи глаза. Старые, усталые, в кровавых жилках. С мешками, выведенными безнадежностью и одиночеством. Трудно опускались и поднимались веки. Тускл и безгласен лежал перед ними утренний мир. И не было связи между прошлым и будущим.

Заросшие страхи. Вдруг обнаружился возле деревни граммофонный завод. Рядами выстроились вокруг бараки. Бастионами выставили в сторону деревни два невиданно

огромных багровых четырехэтажных дома. Захваченное место не было теперь ни пашней, ни лугом. Имя ему стало Фубра.

И собака Тобик, черная шавочка, побежала по годами натоптанной тропке и провалилась сквозь время, очутилась там. И тут же была привязана проволокой за шею, раскручена поимщиком над головой среди вставших в кружок детей, которые долго убивали ее железными прутьями, пролетавшую мимо и оравшую.

Фубра пахла паленым. Крысы, облитые керосином и подожженные, пылающие очумевшие звери, неслись по ее закоулкам, взлетая на стены и падая, кусая себя самое. Разбитой осенней дорогой потянулись деревенские глядеть на выставленный в красном уголке барака черный трупик ребенка, сгоревшего в огненной потехе. Белые бумажные кружева, оплавившиеся пальцы.

В сентябре по колено в листьях, бредя для того по канаве, я вышел к школе и обомлел — школа была захвачена. На крылечке поджидала нас пришедшая с Фубры ватага новых хозяев. Из разных концов деревни по одному сбредались рассудительные мои однокашники, ученики второго, выпускного класса, и вот мы встали напротив школы, засунув в рот и нос пальцы, осознавая случившееся, и тогда пришельцы кинулись на нас с крыльца.

Впереди неслась с прутом в руке меднолицая с безгубым ртом и желтыми глазами тощая девчонка, и первые же ее наотмашь удары, рассекшие и искровенившие туповатые наши мордасы, подтвердили, что делить с нами что-либо Фубра не станет. Места не хватит всем.

Как ни здоровы были мы, выросшие все-таки на молоке и хлебе, количество одолело качество. Мы, деревенские недотепы, привыкшие объединяться для игр, никак не научались сбиваться для драк. Каждый был за себя. И весь этот год школа преподавала нам уроки классовой борьбы и подчинения большинству.

А и пора уже было. Уже уходили деревенские не на заработки, штукатурить и плотничать, а навсегда вливались в ряды строителей граммофонов. В пустевших домах поселялись приезжие. Они ступили в деревню, и она разошлась под ногою их, как вода.

Так неприглядны и стыдны оказались домашние наши происшествия перед лицом больших перемен, дурные деревенские подвиги, хранимые поколениями: как на престольный праздник бился Коляй с оглоблей против четырех братьев-красноселов, и будто бы выбитый ими глаз свисал из глазницы его, как на нитке, а он сидел у окна, освещенный лампою, поддерживал глаз на щеке рукою, а пораженная деревня

взирала на него из тьмы. И прозвища эти наши: Грушник, Ваня Дикой, Магура.

У заборов вечерами зашевелились негромкие, скорые на расправу люди, которых звали Паяло, Швейка, Сикорезный. И там, где они прошли, в воздухе материализовалось шикарное слово — финка. Я помню, как увидел ее впервые, сладостно-страшное лезвие с наборной ручкой.

А рядом зависло слово еще загадочней: амнистия. И к Марфину дому, в котором давно уже жили чужие люди, вернулся человек. Он сидел возле канавы, курил, из мертвых глаз его текла черная вода. Не оттого, что умерла старая Марфа и нет ему здесь угла. Не оттого, что обходили его взрослые, и только дети стояли напротив, готовые пуститься наутек. Он глядел на спиленный и лежавший головой в канаву клен, единственный бывший в деревне среди берез. «Папа, — сказал человек, проводя перед собой рукою, — это дерево садил. Из леса нес. А было оно вот такое».

А мой папа, папа Боря, прислал письмо с фотографией, мне ее показывали: вот он какой, твой папочка. В письме он сообщал, что воевать они еще не начали, их лишь привезли на передовую, попали под бомбежку. Они вытягивали руки, проверяли: у кого дрожат пальцы. У папы не дрожали, о чем он нам и сообщал. Больше писем от него не было никогда.

Он был «истребителем танков». Пушки, которыми предстояло их истреблять, были знаменитыми «сорокапятками», пушечками, которые назывались «Смерть врагу!», и с места на место их можно было перекатывать вручную.

Мой папа с товарищами, у которых уже перестали дрожать пальцы, еще не знали, что подбить танк из «сорокапятки» можно, лишь если повезет, что от брони снаряд отлетает, как горошина. Они еще не знали, что выстрелить из «сорокапятки» удается лишь один раз, потому что дальше ее, себя обнаружившую, танки тут же расстреливают или просто давят гусеницами вместе с расчетом. Они еще не знали, что вскоре эта пушечка получит еще одно славное имя: «Смерть врагу, пиздец расчету!» Поэтому с нетерпением дожидались своих танков, и, видимо, дождались, и, видимо, выстрелили. Удалось ли моему папе чего-нибудь подбить этим выстрелом, осталось неизвестным.

А мама все мурлыкала свою любимую песню с припевом: «Если смерти — то мгновенной, если раны — небольшой!»

Очень хотелось есть. Даже ночью. Вечером все садились пить чай, его делали из моркови, а пили со свеклой, бабушка давала мне кусочек вареного коричневого сахара. Я каждый вечер съедал по кусочку, а у деда был один постоянный кусочек, на все вечера.

Он его облизывал и запивал чаем. Напившись, прятал от меня темный, ставший уже совсем маленьким облизок высоко, за икону.

Летом появились пленные немцы. Они входили в деревню в своих серых халатах, и все прятались, чтобы не встречаться с ними глазами. А они осторожно шли по улице с большими мешками, обшаривая закоулки всех домов, и набивали мешки крапивой. Из нее они варили себе суп. Бабушка не боялась немцев. Она выходила и говорила им: «Что, душегубы, попалися?! Голодаете? Ладно, нате вам хлебца!» И давала им по горбушке, за что дед ее ругал: «Они Матвея убили!»

Потом в деревне появился Бобыль. У него не было ноги чуть ли не до живота. Он был в шинели и на костылях. Его мать Матрена громко плакала, все собрались к Бобылю, чтобы он рассказал им о других деревенских: живы ли, но Бобыль ни о ком ничего не знал. Он был пьяный и всех выгнал. Потом он ходил по деревне и кричал, что он контуженый и если кого убьет, ему ничего не будет. Подросшие братья Малковы стали его дразнить, он погнался за ними, но не мог догнать и стал бросать в них костылями, но костыли кончились, и он стал ползти, но ползти не смог, потому что ругался и стал задыхаться.

Зимой Матрена дала ему денег, чтобы он купил мяса, но он эти деньги пропил, зарезал свою собачку и отдал матери. Вся деревня ходила жалеть Матрену, но не все доходили, Бобыль гнал их от дома.

Деревню по пояс завалило снегом. Ночами через нее шли обозы. Пар подымался от лошадиного дыхания, снег скрипел, как капуста. На каждых санях на железном листе горел костер, потому что лошадей и обозников в поле поджидали волки. Ночью деревня запиралась и прятала собак, ночью в нее входили волки, они перепрыгивали через ветхие заборы, обслеживали все вокруг своими огромными следами, заглядывали в окна, утром отпечатки их лап были на крыльце.

Пришел почтальон и принес матери письмо, в котором сообщалось, что папу убили немцы. Мать от всех спряталась. Я сидел на кухне один, а потом стало совсем поздно, и я начал молиться на икону Казанской Божьей Матери, взял дедушкин австрийский штык с тяжелой медной литой рукояткой и пошел убивать деревенского колдуна по кличке Гитлер. Я лез через сугробы, глотая смерзшийся воздух, я выслеживал колдуна на задах его дома, у забора, в том месте, куда, по рассказам Грушника, вымахивал он бесшумно и мягко на своем помеле.

Я сосал негнущиеся пальцы. Длинный штык колол мой живот. Дым подымался из трубы колдуна, луна плыла, синие волчьи

сугробы уваливались в бездонную ночь. На всей земле, как уши, лежала зима. Полночь пробили вдруг часы в доме колдуна. Он не явился. Он сдрейфил.

Он боялся, потому что был такой же, как те немцы, которых показывали в кино. Мелкие, черненькие, они боком выбегали на своих кривых тощих ножках, оскалив от злости зубы, и артист Андреев брался огромными руками за пулемет и косил их как траву. Но немцев не убывало, они набегали новыми толпами, они лезли и лезли снова, берясь ниоткуда, как тараканы.

Я очень хотел бы убить какого-нибудь немца. Я видел, как наши перебрасывали немцев за спину, поддев на штык. А потом Бернес пел про темную ночь, только пули свистят по степи. Немцы, которых они истребляли, совсем не походили на пленных, что ходили по деревне, собирая крапиву, на высоких и худых, печальных и серых, будто посыпанных пеплом. Наверное, эти немцы потому и сдались, что не были как тараканы.

В кино был оркестр, там на скрипке играл Сашка-музыкант, у которого я учился. Сашка был крошечный, черный и подвижный, как обезьяна, с огромным шнобелем, он вечно был пьян, мама сказала, что за пьянство его выгнали из Большого театра, вот он и оказался у нас. Когда он учил меня, он бил по моим пальцам смычком и хохотал, если я дразнил его, играя не по нотам, а что сам выдумывал. Я очень его любил, но однажды он умер, упав на автобусной остановке, и никто не хотел его поднять.

Он играл Сарасате как бес, как если бы сам был цыган, скрипка казалась крошечной в его длинных обезьяньих руках. Еще он играл медленную «Старинный вальс, осенний сон», а я смотрел на картину, висевшую в фойе, на ней сидела роскошная раздетая красавица, а на ее голое белое-белое колено положил руку черный-черный негр.

А потом настала весна, тронулся лед: ночью грянул, как гром, а днем такое пригрело солнце, что высохло и нагрелось крыльцо, и мы с приятелями, Грушником и Якутой, валялись на нем, сняв ватники, и вдруг вспомнили, что надо бы посмотреть, не пробился ли в огороде прошлогодний лук. Туда мы и отправились, и увидели, что он пробился, крошечные, чуть помороженные лепесточки, мы рвали его и ели, стоя на коленях в снегу. С тех пор ничего более замечательного я не ел.

Победы не помню, зато помню, как приехал с войны дядя Вася. Он был высокий, тощий, гибкий, но когда разделся до пояса, чтобы я полил ему умыться, оказалось, что он весь скручен из мускулов, исполосованных шрамами, похожими на колючую проволоку. Он был красивый и страшный, как кнут. Он был разведчик.

Он в шутку взял и перевернул вверх ногами соседского деда, а потом отпустил, потому что к нашему дому собрались девчонки, они смотрели на дядю Васю, а он надел гимнастерку, на которой были ордена, и взял у мальчишек, которые притащили показать ему свои одностволки, сразу две и, вскинув их легко, как пистолеты, разнес вдребезги сушившиеся на заборе стеклянные банки, и Матрена вышла ругаясь, а он смеялся. Потом он обнял за плечи самую красивую, Тоню, и ушел с ней за реку. Они ушли далеко, через лаву, и уже скрылись в траве, но было слышно, как они смеются. А мы стояли и смотрели, как они исчезают.

Я начал думать о том, что, может быть, вот так же однажды вдруг придет еще один военный, и все сунутся в окна: не к ним ли, но он свернет к нашему дому, увидит меня, погладит по голове и скажет: «Вот я и вернулся, сын!» Я ничего не говорил об этом матери, но ночью я сжимал кулаки, чтобы сбылось, и сбылось, утром мать мне сказала, что ей снилось, будто отец вернулся, будто идет по улице и сворачивает к нашему дому.

Но он не вернулся. Вдруг начали ломать несколько домов на нашем конце, а поперек улицы легла выше крыш насыпь, на нее положили рельсы. Насыпь отгородила деревню от речки, замкнула ее от мира крепостною стеной. Внутри вдоль и поперек поехали самосвалы с глиной, и глина легла от завалинок до завалинок. К осени она стала топью. Колодцы снесли, вырыли новые, вместо срубов поставили доски, вода стала тухлой, в ней плавали кверху пузом мыши и консервные банки. Сады от домов отрезал забор, на углах его встали вышки, в них засели вооруженные люди, за забором заключенные валили яблони и строили гигант индустрии.

А над деревней засвистали паровозы. И в один из дней из-за забора выглянул сам гигант, обвел место новорожденными бессмысленными пока глазами, в ту же секунду от увиденного раздался крик его и в речку хлынули первые отходы. Купаться в ней стало нельзя, рыба куда-то ушла или сдохла. И совсем исчезла трава. Пропала под глиной, будто отродясь не бывала.

Отсутствия ее за навалом событий деревня не заметила. Пропала и пропала. Иногда только удивлялись, рассказывая захожим, — а ведь и у нас тут трава росла, вот прямо здесь, везде, ей-богу, ни у кого вокруг такой больше не было травы. Куда-то вот задевалась… Но захожие были все люди торопливые, было им не до травы, да и в самом деле, мало ли трав на свете?

Через несколько лет, как улежалась, стала глина прорастать кое-где осочкой, жесткая, бурая росла осочка, откуда только взялась. А уж пилили березы. Конец.

А за насыпью такая замечательная развивалась жизнь! Став

совсем свободными, перемахивали мы крепостную стену и уходили туда, и все было просто и видно далеко. Занесло меня на старое место недавно и случайно. Увидел в самом центре гудящего, все еще ползущего вширь индустриального гиганта облачко зелени, и вспомнил вдруг, и занервничал, и засмеялся, и зашагал туда, откуда произошел, на то место, что произвело меня на Божий свет.

Там стояли кое-где дома, не тронутые за ненадобностью. Несколько берез. Они согнулись, были черны и голы. Густая зелень шла от новеньких тополей. Модные деревья, жирненькие коротышки, втыкали в небо опиленные культи и жадно зеленели.

Стоял и дедовский дом. Полуразвален, накренившись. Резная из жести труба проржавела. Петух на ней свалился набок. У забора я сел, там, где сиживал маленьким, руки на землю положил, и пальцы мои всюду коснулись травы. Боясь посмотреть, я стал ее трогать. Она редка была, низка. Я посмотрел. Это была та самая трава.

Это была та самая трава, которую вкатали в землю, растерли и наглухо завалили. Это была сумасшедшая дурная трава. Она ни черта не понимала в жизни. Она была как деревенский наш дурачок Ваня Ля-мой, который, как рано ни выйдешь из дому, — сидел всегда в несметных диких ее ордах и ел ее, эту траву. Он родился в ней, в ней жил и с нею вместе пропал.

Значит, она здесь под землей и перебивалась? Погибала в потемках, ждала часу. И, может, решила, что он настал, прошла тяжкая пора, нужно браться за дело? А может, устала ждать?

Что она собиралась делать здесь в одиночку? Опять деревню?

Я клянусь, она бы сделала, это же была ни черта не соображающая трава, она же ничего больше не знала, кроме своего дела. Но было уже известно, что остатки деревни снесут вскоре совсем. Само место забетонируют, а на бетон поставят колоссальных размеров склад. Так что жизни ей осталось совсем ничего.

Вот теперь ее больше не будет. Нигде и никогда. Как, впрочем, и детства.

(Аплодисменты. В двенадцатом ряду поднимается молодой человек в фенечках, заплатах и запорожских усах, извивая перед собою руки. Три пожилые пары из второго ряда пробираются к выходу.)

Второе соло трубы

Мальчики и девочки

Я вчера в метро это увидел и просто закачался. Делаю шаг в открывшийся полупустой вагон, облокачиваюсь о железяку и обнаруживаю, что возле меня, перед дверью же, происходит беспорядочная, беспощадная, слепая любовь. Парочку трясет на расстоянии друг от друга в метр.

Мальчик непрерывно что-то говорит, причем он, видимо, уже побывал в кое-каких таких передрягах, он несет свою чушь с видом знатока, он что-то про горы, скалы и пьянки, и то, что несет он эту чушь на пределе, понятно по скорости и непрерывности монолога, он уже пробовал и знает, что раз заговорил, останавливаться нельзя, сразу страшная эта пауза, общее очумение и — все… Все развалится. Поэтому он, чуть почувствовал, что зацепил, ведет свою рыбку без передышки, толком и не видя, что там ему попалось.

А эта самая рыбешка, рыженькая такая, большеротая, в маечке с едва наметившимися кругляшами, да там соски одни, но уж зато соски — дыбом. И она тоже ни хрена не соображает, но понимает, что ее ведут, и она хочет вестись и страшно боится, что от неправильного неловкого движения сорвется, того совсем не желая, вот ее и колотит. И она изо всех сил понимающе улыбается, и все время что-то улучшающее с собой делает, спинку поддергивает, головку вытягивает, животик втягивает, ножку то так поставит, то переставит, чтоб не потерял, чтоб заметил, что рыбка золотая. Глаза ошалевшие, ни черта не слышит, что он ей тут про пьянку в скалах, она же все время занята: не подумал ли, что дура, не заметил ли, что нескладно сшита, волосы все время норовят развиться и стать прямыми. Ну, дети!

Очень мне захотелось погладить ее по рыженьким кудряшкам и сказать — да успокойся ты, никуда он не денется. Он же токует. А мальчишку просто толкнул бы слегка под зад коленкой, чтоб преодолели они этот несчастный метр и схватились наконец друг за друга. Прямо Лопе де Вега. Три акта они где-то шляются, чем-то ненужным занимаются, чуть встретятся, в ужасе — в разные стороны, пока наконец где-то в конце четвертого, уже публика потянулась в гардероб, что-то щелкает, и вот они голубчики, оказались с глазу на глаз, как две собаки, мчавшиеся, оря друг на друга вдоль забора, и вдруг забор кончился. А! Тут их всем спектаклем, всей труппой, всем зрительным залом обступают, ненормальных этих беглецов, и толкают друг к другу, чтоб не сбежали: ну скажите же наконец-то про любовь, мать вашу так!

А в метро никакой труппы. Вот они и растерялись, две собаки. Никого не видя, ничего не слыша, ведут это безумное общение, означающее совсем не то, что говорится. И вдруг двери открываются, приехали, мальчик молодецким движением

выхватывает с сиденья, возле которого они, видимо, только что и столкнулись, позабытую свою сумку и шагает в дверь, а девочка остается.

Тут я наконец решился и выпихнул ее из вагона. Но, видимо, раньше надо было. Она очнулась. И принялась осознавать. Что это было? Так и осталась у дверей, вращаемая ломанувшими в вагон дядьками и тетьками.

Девочки не догадываются, что там происходит у мальчиков, впрочем, так же, как мальчики не догадываются, что там у девочек. Девочки все ждут каких-то подходов, ужимок и прыжков, платоники для разогрева, а мальчикам ничего этого — он всегда готов. Вот и начинается вечный разлад. Вечный разбег друг от друга куда глаза глядят. Тем более что если мальчику дать возможность увидеть и спинку, и животик, и вставшие дыбом соски, он тут же кинется на них с потными ручонками, чтобы тащить на сеновал, но ведь она тут же очнется и начнет сопротивляться, как бешеный еж. Да…

Может, и Девочка, мой дар бесценный от Пианиста, была когда-то такой, не знаю. Я ее застал, когда не было вокруг человека, который о ней не рассказывал бы историй с такими закрутами! Один мне говорит: да на нее и времени тратить не надо. Говоришь: давай — и получаешь сколько хочешь. Вот такой кусман за просто так. Вы что-нибудь понимаете?

Откуда же они берутся, эти потрясающие ребята, мордастые, уклюжие, у которых никаких проблем? То есть одна-единственная: не проиграть в гонке за количеством. Вот он мне, веселый боровок, похрюкивая, с такой всезнающей повадкой, показывает исписанный, замусоленный блокнотик. Вот здесь, — говорит, предъявляя его, как мандат, — они у меня все! Год, месяц, число, имя, цвет волос, объемы, темперамент, что предпочитала. Знаешь, говорит, сколько их тут? Три тысячи шестьсот пятьдесят семь. За двадцать лет жизни. А сколько их еще бегает! О-о-ой! Всех убрать, увы, не успею, хотя, конечно, постараюсь. Свое в любом случае возьму! И заметь, — говорит он мне свою тайну, — ни разу, ни к одной по второму разу не ходил. Только свежачок.

— Ужас, — говорю, — ужас, да как же это ты устоял?

— А вот скажу тебе полезную вещь, один умный бегун на длинную дистанцию поделился: не возвращайтесь, говорит, к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете не-е-ет! А Девочка твоя у меня, сейчас посмотрю, три тысячи пятьсот семьдесят третья. Желаешь подробности?

Дал я ему по роже, он чего-то захихикал и учикилял со своим блокнотом. Трудно серьезным людям с нами, никчемушниками.

Ну что я, например, стал бы делать с тремя тысячами, когда не знаю, что делать с одной? У которой в эту сторону, все говорят — никаких проблем. А я наедаюсь только глазами.

Кожей вдыхаю, как она проходит в тихом звоне, будто между пятками и затылком натянута струна. И все в ней вздрагивает, как в капле на листе, влага на зубах, и волосы, стекающие в ложбину спины, и одежда, которая вот сейчас, от следующего сотрясения, спадет… И крокодилы уже облизываются, жрут глазами: ну же, ну, давай, вот прямо сейчас, вот-вот, еще миг — и! И-и-и! Свингуй, Гейт!!!

Так она и проходит сквозь сети, сквозь паутину, но и паутина в росе, проходит — вся усмешка и звук, вся в сплетнях проходит и слухах. Размытая, будто мягким объективом, будто засветилось тепло, что струится, дрожит вокруг тела. И каждое встряхивание отрясает всю эту дактилоскопию, и каждое встряхивание — омовение и высвобождение. Славу свою дурную стряхивает, передергиваясь от каждого касания взглядом. Под разинутым небом, на голом поле, продутом насквозь, одинокая гнущаяся фигурка. Как прут. Сука!

Это был кошмар. И я знал, что если однажды, во сне, в аварии, в соловьином свисте, в красных пятнах пожара, в кромешной темени лопухов, я не знаю где, мне можно будет ее коснуться — я сделаю вот что. Я руки тогда положу ей на бедра и тихо поведу их вверх, пока в каждой ладони моей не окажутся дольки ее ягодиц. Держать их в ладонях, как персик. И все. Мало-то как. А ведь это все. Больше мне ничего не надо, никогда. Потом можете меня убить.

Потом она сказала, что именно это с ней однажды, в отрочестве, и сделал один маньяк.

Это потом. А тогда я понимал только одно — надо делать ноги. Стремительно и неотвратимо. Иначе хана! Это же невозможно, когда и днем, и ночью в башке ничего, кроме этого мотивчика: Девочка, Девочка, Девочка… И уже явно скоро кто-то свистнет ребят из Кащенко.

Вот так же впервые убегаешь из дому. Когда тебе настает двенадцать и начинаешь сходить с катушек. Возраст требует побега. Потому что побег захватывает всю твою жизнь. Там некогда мучаться, потому что бег этот — по ледяному скату.

Потому что дождь прошел. И все стало масляным и скользким. Только что я висел на буфере, пробовал ногою открыть дверь, заперта. И тут пошел поворот, торцы вагонов поехали в разные стороны, и меня повело, стало разносить, распятого в щели, сходились и терлись внизу буфера, щель поводила челюстями, ожидая моего мяса. А я не хотел помирать,

цеплялся, сползая, дрожь усилия била в затылок.

И тут мост налетел, заревели косые черные фермы. Заорали. И паника дикая, желудочная кинула меня вверх, подняла над крышей, положила, и я долго лежал, подставляясь вновь начавшемуся дождю, который горяч был, и пар поднимался надо мной, и мышцы, сведенные судорогой, наконец отошли и млели в живой боли.

Далеко видно с крыши вагона. Все само навстречу бежит, и воздух заходит в легкие сам. Тьма упала с небес, исчезло движение, самый смысл его. И ты висишь меж землею и небом, и клочья туч несутся сквозь тебя. Окна внизу зажглись, теплы и полны разговором купе. И этот свет погас. Поезд заснул и несся вперед сквозь сны.

И тут оно настает. Когда изжеван и грязен лежишь ты, впитывая через тонкую крышу дух оплаченного, узаконенного сна. И прямо под тобой, на расстоянии руки, раздетое, сном поваленное, дышащее тело. Оно мнит свою безопасность, что грезится ему? Оно даже не догадывается, что прямо над закрытыми его веками зависло маленькое злобное, потерявшее страх животное, которому открыто и небо, и тьма и которое вольно в его снах. И вот я начинаю прыгать всем телом, биться о крышу, и наконец снизу раздается этот сладкий безумный крик. Это я — его кошмар.

Тогда зачем бежать, если я умею висеть беззвучно, усыпляя крылами? Я ниндзя, распластавшийся по потолку кружевной тенью. Кошка, возлежащая томно у зубчатого крохотного отверстия в углу. Бок ее поднимается и опадает, как опахало, глаза смежены, вялость и нега пропитала члены, растекающиеся по полу. Но шорох — и стальная пружина кидает вверх пятнистую ленту, и все четыре лапы, ставшие втрое больше от когтей, — падают в одну точку, крепок и страшен удар, а зубы аккуратно прокусывают затылок взвизгнувшей жертвы. И крышка.

Вот какую игру я начал играть. Я потом у нее спрашивал: ты заметила, как я тебя обкладывал?

— А ты меня обкладывал? — удивилась она. — Бедный. Как у тебя все сложно. Я другое заметила — глаза у тебя прозрачные, а внутри чернота. Я подумала: он несчастлив. И свое несчастье он переплавляет в зло. Но зачем? Чаша и так полна. А зло все сочится в нее отовсюду и стекает уже через край. Я подумала — а удастся сделать его счастливым? Счастливые добры.

— Но они часов не наблюдают. Им ни до чего дела нет. Лишь зло заставляет делать поступки.

— И где же они? — Она прикусила губу. Она разозлилась. — Ну, делайте ваши поступки, господа! Так бы ты и сидел в своей

засаде, дурачок, если бы добыча тебя не пожалела и сама себя не застрелила из твоего же ружья. Тут уж ты, конечно, вылез из куста, долго кричал по-индейски, соплей-то было, соплей! Хилое у тебя зло. Ты себя в себя засадил. Там, внутри, страдания свои собираешь, выскребаешь из сусеков, изгибов, в комочек скатываешь, в пальцах мнешь, пробуешь на зуб, исследователь, и — утешен.

Понимаете, козлы, она меня спасать собралась. Это к тому, что всю мою неправильную жизнь меня спасали. Стой! Спасем! Всю жизнь я жил с этим неслышимым окриком позади. Как наколка он у меня между лопаток. Хрен вам большой в награду, спасатели, комсомольцы-добровольцы!

Неужели поймают на старости лет, скрутят и спасут? Рот в рот вдохнут чего надо, выдавят ногами формализм, вставят содержание, могучий стержень, и будет мое тельце на нем болтаться, как на пуделе пиджак. Неужели?

Вот жизнь моя стоит передо мной, вся неправедная, как девочка после клиента с червонцем в лапе. Вот я перед нею. Какое же может быть нам спасение? Подворотня — наша родина, сынок. Колыбель и могилка. Оттуда — вышли, туда — войдем. Хавай, хавай, рогатый!

Где вы, мальчики и девочки со стометровок? Мы трубили вам новую эру. А теперь нас горсть. Где остальные? Под каким вы все одеялом? И когда нынешнее синтетическое консерваторское семечко, неведомым ветром занесенное в наши овраги, напарывается на меня, я ему говорю: «Куда ты, папаша? Посмотри на меня внимательно: я ветеран с самого страшного поля битвы на свете!» А он улыбается вежливо.

И вот Девочка принялась за меня. Кто этого ожидал? Только не я.

Однако наступает зима, дачи пустеют, и на них становится можно ехать.

Глаза мои шарят по вагону: где же знакомые? Опять их нет. Жутко не везет. А какую мирную, почти супружескую чету могли бы они наблюдать? Зато она невозмутима, то есть просто на все человеку наплевать! Еще бы, все, что она ни делала, всегда и во всем было лучшим решением изо всего, что могло грянуть в чью-то башку. Обжалованию не подлежит.

Я боюсь, Пианист и по сию пору ни бум-бум, и не потому, что отвечает доносящим: де подите вон, милостивый государь, и вдогонку что-то про жену Цезаря. Нет. Ему и рассказывать-то никто не станет. Никакого удовольствия. Он даже не поймет, о чем ему талдычат.

Снег по колено, у магазина собаки собирают с приезжих

колбасу, алкаш хрюкает, мы берем бутылку, яблоки, и всем вокруг ясно, и кто мы такие, и зачем все это берем, и теткам, пришедшим за буханкой хлеба, и продавщице, заворачивающей двести граммов сыра в оберточный лоскут и предлагающей сыр порезать, чтоб ловчее было, и собакам, потому что такие, как мы, их и питают.

Дачу замело по крышу, калитку не откопать, торчат лишь верхние планки, я ложусь на них животом, валюсь на ту сторону, выныриваю, вытряхиваю снег из ушей, она кидает мне сумку. Прыгает сама, роняю ее, ищу в снегу, нету нигде, ау! — выныривает из сугроба, как тюлень, рот до ушей, щеки мокрые, до сих пор у меня на губах и талый снег, и вкус щеки ее и прилипшей прядки волос.

Эта выпрошенная дача, неведомо куда запрятанный ключ, не проворачивающийся смерзшийся замок, дрова из старых досок, рам, с гвоздями и шпингалетами, холод в дому, печка дымит, оттаивает засыпанный снегом дымоход. Наконец-то разгорелось, разобралось, малиновые отсветы упали на стены, мы пируем и совсем не заняты тем, ради чего сюда забрались. Бедный хозяин!

> Here come my baby, she makes me feel so bad.
> Here come my baby, she makes me feel so bad.
> But I love her so much some way, boy, that just made me mad.

В малиновых отсветах стояла она у стены надо мной, кожа налита оранжевой водой, ноги уходят ввысь, далеко, как янтарные сосновые стволы, на животе затаилась круглая тень, рука легла в углубление между бревен, волосы падают по коричневому дереву, цепляя прядками торчащий в пазах мох. Она — как чистое это дерево и нежный мох в пазах. Сосок одной маленькой вздернутой груди рубиново горит, тени бегут по телу как крылья.

А ведь она меня достала! Хорошо, сказал я ей, пойду к твоим гребаным врачам, сам не смогу, пусть колют, пусть зашивают, мне все равно, завязываю наглухо. Честно, больше ни капли в себя не волью. Вижу свет и вижу тьму!

И ведь пошел. Как они обрадовались!

Белые стены, черные халаты.

— Здорово, ребята! — сказал я им. — Старый алкоголик пришел к вам сдаваться. Колите в меня свое забугорное средство. Вперед, ко всемирному протрезвлению ото всего!

Они прямо застонали от счастья.

— Сейчас! — кричат. — Момент! Ну, средство у нас! Валит

коней! Но упаси боже разгласить. Только для тебя. Тут где-то одна ампулка завалялась, последняя, для себя оставляли, а, зараза, под диван закатилась, сейчас мы ее веничком. Гони подкожные и ложись.

О'кей, говорю, достаю все подкожные, все, в трубочку свернутые, нате, говорю, мне теперь ничего уже не нужно, ложусь.

Он мне — бах! Я — ничего. Он говорит: ты чего? Я говорю: ничего. Он говорит: как это так, ты должен моментально с катушек долой. Средство проверенное, сердечники вообще копыта откидывают, вон, видишь, сестричка на стреме стоит с кислородом, а я откачиваю. Не, говорю, я не сердечник. Ну тогда, говорит, я тебе всю правду скажу: больше пить не сможешь, попробуешь — околеешь! Ну, как? Да ничего, говорю, я бы и сейчас выпил. Ах, так ты, говорит, еще и на понты берешь? Тогда налей ему, Лена, сосудик. Лена подносит в мензурке. Я — хлоп! Хорошо прошло! Он дар речи потерял, даже на человека стал похож. Руками показывает, мол, Лена, гони еще одну. У него уже научный интерес проснулся. Я — хлоп вторую! Ага! — закричал он бешеным голосом, — завалили!

Я хочу встать и дать ему по набалдашнику, а уже не могу. Все вижу, все слышу — пошевелить ни рукой, ни ногой не могу. И от невыносимости его победы сердце у меня перестает шевелиться.

Тут я его и одолел. Он вдруг замер, ко мне ухом припал и начал зеленеть. Кажется, говорит, мы его кокнули, нежелательный прокол в нашей нелегальной практике. Лена, гони кислород, а сам наваливается и начинает давить мне грудь, сердце выдавливать, чтоб оно насильно закопошилось.

А я уже ничего не хочу. Ни жить, ни помирать. Ноги и руки мои по-хорошему так пухнут и уже висят где-то снаружи, еще не улетели, а мне так без них свободно и легко. Так славно мне, и единственное, чего я хочу, — сказать этому дурилке, чтоб оставил меня с моим распадающимся организмом одних, у меня, может, ничего слаще этого разложения не было, но он не унимается, стряхивает трудовыми движениями со лба хорошие крупные капли, кряхтит, матерится, давит и вдруг хватает шприц и в самое сердце мое засаживает иглу. По рукоятку.

Все-таки он меня победил. И я отмокаю, потихоньку склеиваюсь, и драться уже не хочу, ничего не хочу, я уже перевоспитался, бухой я, и все вокруг серое, бурое и малиновое.

Когда тем летом мы первый раз, не сговариваясь, пошли в одну сторону, в метре друг от друга, как в детстве, ничего друг другу не говоря, забрели за какие-то заборы, в какие-то толпы лебеды, крапивы, в драные кусты, в какие-то огромные дощатые катушки из-под кабеля, за которыми пили изгнанные из домов

алкаши, я подумал, надо же, ведь я и сам мог сейчас оказаться здесь, с этими ребятами, нажраться, а я, как чистый, иду с девочкой, с настоящей, и мы с аборигенами уже не братья по неразуму, а разные расы, касты, у них другая родословная. И вдруг за катушками деревья настали, проглянула высота, справа внизу электричка набежала и закатилась за поворот. Потемнело в глазах. И стало сбываться. Я понял, что все наконец можно. Можно протянуть руки и сделать то самое.

Но тут выяснилось, что сделать я уже ничего не могу, какие там руки, протянуть я мог только ноги. Язык мой сморщился и скрутился, обесслюненный, извилина заскребла по сусекам, выискивая какую-нибудь завалявшуюся байку. Прямо за кожей моей началось всеобщее паническое бегство. Надо бы взять ее за плечи, чтоб запрокинулась голова, и напиться. А я — как отсиженная нога. И я начал оседать, ноги от ступней принялись расползаться киселем. Я схватился за нее, чтоб не опрокинуться, и так, обдирая ее руками, сполз на колени, а в ладонях вдруг оказались эти две персиковых дольки. Сами в руки упали. Обморок. Ну! После этого еще и жить?

Ночью мы бежали, оставя выстывающую дачу, и ветер задул, погнал по заборам снежные простыни. На последнюю электричку. Идиотская песня. Расписание было предусмотрительно пришпилено над койкой кем-то из предшественников. Из него явствовало, что наблюдать часы все-таки стоит, поскольку ночью в город не идет ничего, до утра. Время последнего поезда подчеркнуто жирным красным карандашом, ниже линии — примитивно изображенная конфигурация из трех пальцев.

Обычно мы успевали. Еще и гуляли по перрону. В городе чмок в щеку — и мы посторонние ребята. В этот раз что-то сломалось. Часы ли мои (у нее сроду не было часов), поезд ли, но мы все гуляли, потом пели песни с какими-то косыми ребятами в ватниках — под гитару, потом общались со здоровенной собакой, совершавшей моцион совершенно самостоятельно, наконец дошло, что никаким поездом не пахнет и надо топать обратно.

Ночью печь просто раскалилась, из нее сыпались, крошась, кирпичи, в углах шуршало, ветер выл в трубе на луну. И ни о чем не говорили.

Как же она потом объяснялась с Пианистом? Меня, помню, очень это занимало.

Ох, одно время занимали меня эти ребята! Просто донимали. Сакс, пожалуй, даже больше. Под общий облез проходил он сквозь окружающую его действительность. Завешенный гривой и бородой. Сквозь парадный подъезд своего института, мимо вахтеров, откидывавших зевальники до колен. Как они его туда

пускали? Боялись, что за палец тяпнет и в судорогах забьется? Что там общие кукиши окружающему, он ему просто в морду плевал, самим фактом своего существования. Может, ему попался какой-то ненормальный институт? Он там еще чем-то и руководил: «Дорогие товарищи, с чувством глубокого удовлетворения и законн…хррдости…» Все засыпают. Или, наоборот, они там валялись все? Может, они все, дружным коллективом, играли в замечательную эту игру?

Потом он садится в драную свою машину… Черную «Волгу» спокойно видеть не может, тут же начинает обгонять, хоть по встречной. И никто никогда его не останавливал, гаишники шарахались от этой сноповязалки, может, думали, что это коверный на собственном ходу дует из цирка на «Мосфильм»? Какой-то хмырь продал ему права и целый вечер на пустыре показывал, чем на что нажимать, а к ночи пригнал под окно это перпетуум-мобиле, утверждая, что оно — чистокровный «Фольксваген», рожденный инвалидной коляской от «Спитфайера».

Средство передвижения било в одиночестве копытом под окном, просилось на травку. И вот он вылез ночью из окна без порток, залез в эту сивку-бурку и попилил по Садовому.

А утром была суббота, он влез снова и покатил на нем на репетицию. Шансов уцелеть у него не было никаких. Ехал, видимо зажмурившись, у подъезда мы его вынимали, поскольку руки и ноги свело. Потом отошел и начал кататься дальше. Самое интересное, что и в него никто никогда так и не въехал, видимо, издалека засекали и объезжали кругами. Вот он вечером фисгармонию свою накачает, надует, клавиш один воткнет и сидит, слушает, отдыхает от дневного катанья. Переживает.

Почему же его она не взялась лечить? Тут затемнение. Впрочем, он сам кого хочешь залечит и венок на могилку принесет за свои. Он в жизни способ знает: ему не нужен никто. А я этого способа не знаю. Потому, когда она исчезла вдруг, так же, как и возникла передо мной, может быть, кто-то еще нуждался в излечении, кто? — так я и не узнал, — разбился весь мой стеклянный мир.

Да, вести себя по-человечески, когда женщина уходит, не умеет из нас никто. Тут начинается такая ломка!

И чем дальше ломает, тем безнадежней. У-у-у! И тесней деревья. Гуще тишина. И серые тающие тени смыкают круг, и вот уже первая пара желтых огней преградила путь. И — все. Второй попытки в этой спортивной игре не бывает.

Интересно, а на что я рассчитывал? На любовь до гроба, дураки оба? Мне бы петь и смеяться как дети. Ведь уцелел. Ну и

драпай в темпе, прижимая лапками к груди то, что отвалили. Нет, хочу в ту же воду дважды и трижды, в ту речку, откуда еле вынырнул, топиться хочу бесконечно. Господи, как же меня пилило, сверлило и фрезеровало!

Протаптываю тропочку к самой чертовой маме, от которой и пошла эта беда, чье чрево и породило всем назло это чадо. К сидящей копною старухе, которая относится к моим завываниям под окном с юношеским интересом. Иногда разве только швырнет объедком и смотрит глазками: попала ли? И ведь пожалела, и в дом пустила. Рассказывай, рыцарь бледный. Колись. Ах, какая романтическая история! А Девочка тут в дверь и звонит, а дверь открываю я. Здрасьте, я теперь живу у мамочки, устроился котом. Вместе ворожим, мурлычу, к ночи пускаю искры. А ты меня, значит, бросила?

Чего-чего? Тебя саму Пианист бросил? Ага! А ты взамен — меня? Какой-то уж слишком большой разброс, тебе не кажется? И не взамен? Ах, это ты меня пожалела, хотела спасти? Ты ему, между прочим, рога наставила! Рожки, красные сапожки! И говорят, не со мной одним, говорят, много нас, таких. Нет, мне не стыдно, а чего тут стыдиться, я восхищен! Подлость? Какие знаем мы слова! Боже мой!

Мы с мамочкой почему-то очень громко кричим. А она стоит у стены зеленого цвета, подобранного под ее щеки, или она щеками научилась менять колер у окружающих плоскостей? И одними губами говорит мне… Атас! Тут происходит один раунд. И круг завершен. Все получают по морде.

> Bye, bye, I guess I'll be on my way.
> Вот именно: Bye, bye, I guess I'll be on my way.
> I guess I'll never be lucky… women will always have their say.

Вот я и написал наконец ту бумагу. Долго за мною ходила эта сволочь, все убеждала: не напишешь — хуже будет. Тотальный стук на Пианиста. Чем он их так достал? Чего только не было в той бумаге! И про пьянки, и про буржуазное разложение, и про антисоветские анекдоты, и про подпольные концерты, и про торговлю валютой и штанами, и про нестерпимое желание бежать из нашей замечательной страны сразу во все четыре стороны света.

В общем, на Пианиста, как я понял, они собрались наступить всей подошвой. Хотя по большому-то счету, ну что они с ним такого могли сделать? Посадить — не посадят, опоздали с эпохой, ну сделают его невыездным, ну запретят гастроли, ну закроют

вообще нашу музшарашку, ну… Оно и так все катилось под крутую вшивую горку.

Но конечно, в рожу им — и Саксу, и Пианисту — плюнул: за ваши консерватории, за вашу дремучесть, за Родину, за Сталина, за мою Девочку, за то, что дали и отняли, за то, что вытащили из грязи! А не надо было тащить! Из грязи не получаются князи. А вот из князи действительно можно при желании много наделать грязи. Интересно, они догадались, что был стук и кто стучал, или только что-то подозревали?

Это когда его уже принялись таскать по разным конторам, Пианист начал играть свою японскую штуку, когда мы с Саксом линяем, уходим в кулису, вроде как покурить, и он остается с тремя ритм-ребятами, и сидит в своем углу за фоно, свет почти весь вырубается, так тени какие-то, и он сидит и трогает клавиши, и они капельками отзываются, падают куда-то, и этими капельками он плачет о страхе своем и одиночестве, но так плачет, что вроде бы смеется.

А эти трое в другом углу, во мраке, в заговоре, на него посматривая, перешептываются, перемигиваются и постукивают своими палочками, гвоздиком о треугольник, откликаются оборванными тьмой гитарными полузвуками, все там шорох и костяной бамбуковый дождь, и царапанье металла по стеклу. И уже поднимается ветер, и несется через бурый тростник, насквозь, гудит в голых тростях его, руки зябнут, и в завывах беды все постукивает негромкий бамбук, и наконец становится видно, как те двое стоят один против другого, неподвижные в этих сметаемых ветром космах серой травы, и мечи уже всажены в руки, длинные самурайские катана, и на мертвых лицах, как во сне, медленно поворачиваются глаза, и в них — первый взвизг, первый прыжок и первый удар.

Лишь один, потому что одного достаточно. И оттого не торопятся, и всматриваются друг в друга медленными белыми глазами. И это длится вечность. И он всегда не выдерживал и начинал плакать и прятать лицо, заслоняя его плечом, и никому не видно, как он плачет, но я смотрю на него из тьмы, слившись с какой-то шторой, среди картонных стен и веревок. И он упирается в мои глаза. И не хочет смотреть, и потому приподнимается и прячет лицо свое под откинутую крышку рояля, и руки засовывает туда до плеч и шарит там по струнам, и струны гудят и воют под пальцами, и тогда он начинает лупить по ним ладонями, чтоб прекратить муку, и вдруг кидается за кулисы, согнувшись вдвое, высоко поднимая коленки, унося в согнутых руках мокрое свое лицо, и уже не выходит на аплодисменты и свист, просто сидит там, возле пожарного ящика, спасая лицо в ладонях.

И всякий раз он называет это по-разному. Один раз «Паутина», потом почему-то «Дерево», но никогда так, как это называется на самом деле. А называется это «История одной мести». Кода.

Лето, мы играем в Ялте, она там в чем-то снималась, в каком-то кино, очень киношники ее вдруг полюбили. И вот лежит на песке, возле нее валяются охреневшие от съемок оператор со звукооператором, острят, прямо кровь фонтанчиками. А она сложила ноги свои невозмутимые, невероятные, невозможные свои, дружка на дружку, и смотрит на воду печально и строго.

Я говорю — мадам, не подберете ли вы ваши замечательные копытца, чтобы я мог до моря добраться. Она на меня даже не посмотрела. Вот уж кто точно обо всем догадался, так это она.

А всего лишь лето назад мы с ней закатились на какие-то кулички и уже нарочно опоздали на все поезда, само вышло, без сговора, просто возле церквушки какой-то лазили. На ладони ее посадишь, к выбитому окну поднесешь: ну, что там?

— Темно, — говорит, голос, как у птицы ночью, — лики.

— Айда туда! — Находим лаз. Лезем. Ночь холодная настала, пошли искать стожок. Долго шли, по пояс в тумане, ноги насквозь, вот-вот светать начнет: нет лежбища.

Ан — сереет, стоит прямо перед нами, ладненький такой, вышел из тумана. Стожок-молодец. Влезли, начали устраиваться, а — фига. Стожочек специально для расковыривателей. Сверху он травкой припорошен, а внутри в дерюги закутан, фанерой заложен и проволокой скручен, как военнопленный. Я эту проволоку зубами изгрыз, фанеру ногтями исщепал, травку из щелей натаскал, очень торопился. Ноги ей мокрые закутать, потому что дрожала, как кофемолка. Но тут солнышко забрезжило, стало угревать, и впали мы в дрых. Без задних ног. Такой надежный богатырский дрых.

Глазки продрали, а вставать расхотелось: оказался наш стожок прямо перед домом с завалинкой, на завалинке сидит дед, держит в зубах козью ножку и нас дожидается. От нетерпения уже яму вырыл здоровой орясиной, которая, видимо, служила ему в бедах личным оружием.

— Слазь! — командует нам дед кавалерийским голосом и пускает из самокрутки боевые пары. Я сползаю на заду по стожку к дедовым валенкам, на морде моей уже зарождается песье выражение, но — чудо мое! Она спархивает на землю с небес, она радуется боевому деду так, будто это ее собственный, родной, давно не виданный, и тот — готов! Даже до станции проводил.

Все у нас чужое и ворованное. Всяк со своим, перехваченным — в углу, спрятавшись от соседа. Жрет, урча и чавкая. И вот мне

интересно — что Ты с нами, такими, будешь делать теперь?

Соло ударника

Она ничего не может исправить

Слушайте, котята!
По полю самой страшной битвы на свете,
Где люди осколками клыков рвут глотки
Поваленным наземь собратьям и выкусывают позвонки,
А пожираемые смотрят в небо изумленно и немо,
Где ворон, наклевавшийся глаз, не в силах взлететь,
Покачиваясь, бродит в клетке из ребер,
Где ночью совы спугивают с трупов пирующих крыс
С красными угольками на острых рыльцах,
Как лунный свет, касаясь всего и все омывая,
Проходит девочка с прозрачными глазами.
Она ничего не может исправить,
Она никого не может спасти,
Она может лишь предложить тем, кто завтра умрет,
Свое угловатое подростковое тело.
Она оплакивает павших.
Имя ее — Милосердие.
Там, где умирает земля,
Где корень, от которого отрезали березовое туловище,
Ворочается в земле, вслепую истлевая,
Где сумасшедшие старухи, заблудившиеся в паутине дней,
Костяными руками разводят тенета,
Распутывая слипшееся время,
А во рту их шевелятся одинокие зубы, перекусывая слова.
Важно ступая,
Проходит девочка с прозрачными глазами.
Она ничего не может исправить.
Она ничем не может помочь старухам,
Но они отражаются в ее глазах.
И этого совершенно достаточно.
Ее волосы как желтая трава,
Ее маленькие ступни, как капли, остужают тлеющий череп
земли, захлебнувшейся видениями.
Имя ее — Милосердие.

Мы еще можем иногда называть себя братьями,
Потому что у нас есть сестренка,
Имя ее — Милосердие.

Второе соло саксофона

Искусство умирать

Они говорят, жизнь — непереносимая штука. Все от нее умирают. Они говорят — едва родился человек, жизнь начинает за ним охоту.

Они заняты самосохранением. И потому в драке у них побеждает тот, кому себя не жалко. Нет для ментов страшней зверя, если прикажут брать, чем урка, которому грозит вышка.

А самураи — как умерли в начале карьеры, так теперь каждое утро глазки продерут, а перед ними награда: еще один новенький день. Тридцать шесть зубов, от плеча до плеча: хой-хой! Яа-пона мать! За что, Господин? А… так, пользуйся, пока я добрый.

Вечером в койку уже противно ложиться, чтобы спать. Только пригреешься, замок на входной двери тихо-тихо поворачивается, щелк! Дверь — скрррип, и входит какая-то сволочь: копытцами цок-цок. Войдет, посопит и куда-то денется. Вчера подошел совсем близко, над лицом наклонился и так — слева направо медленно обнюхал. Адреналин меня, зажмуренного, подкинул — до сих пор не пойму, как перекрытие уцелело. Разжмурился — никого. И главное, я уж привык, чего меня нюхать? Умирать я натренировался. Как это делается? Рассказываю.

Вот душа твоя всажена в толстенькое двухгодовалое тельце, которое мчит по дедову саду к бочке с водой, чтобы открыть в ней военно-морские действия. За тобой, на конце веревки, сломя голову, переворачиваясь через корни, несется деревянный танк с гвоздиком на месте пушки. Захлебываясь соплями.

Вот врытая в землю бочка с темной водою, по которой движутся, не намокая, пуская лилипутскую волну, торпеды-водомерки, половинки стручков акации, кораблики, лодочки, корытца, и можно, перегнувшись через край, увидеть темную свою физиономию, лежащую на дне. Запрокинутый мир, существующий на зыбкой грани между тьмою и светом, на той пленочке, где, вздрагивая, образуется пятно сознания и всматривания. Неверное отражение плотного, тяжелого разноцветного мира вокруг, полного звуков, запахов, шевеления. Из бочки глядит твоя душа, и этот одинокий глаз в саду,

отражающий небо, — место сообщения с ним.

По радужной оболочке проплывает шелуха жизни, натыкаясь на белые пузыри, но ничто не колеблет лица, лежащего на дне. Желание разглядеть его, узнать, слиться — втягивает, и — втягивайся, голубчик, растут, приближаясь, глаза, — и все исчезает вдруг — вот как жизнь заглатывает любопытных, и уже одни только ножки в желтых пластмассовых сандалиях трепыхаются немножко над черной водой, в которой бьется потерявшее было страх тельце, вырываясь из холодного сгустка познания, заключенного в бочке. Но вот исчезают и сандалии, и водяная пленка обретает покой, и только бегает вокруг бочки по обтоптанной траве, тычется гвоздиком в шершавые влажные ее бока потерявший хозяина танк.

Но пленка лопается, и я выплываю. Тело само что-то сделало.

Я выплываю, пропитанный горячей водой, она быстро остывает, озноб, окна заклеены, за ними зима. В палате холодно, шесть коек вокруг.

Шесть взрослых дядек заняты собой, четверо — ходячие, они уже поправляются, в палате стараются не сидеть, на меня не смотреть, я из другой категории, я — еще неправленный. Пятый — огромный старик, горою вздымающийся под своим желтым байковым одеялом, у него вырезано что-то важное, поэтому он недвижим, судно ему подсовывают две санитарки, беззлобно ворочая его, как разлапистый пень, поддевая ручками носилок, рычагом, корни рвутся, он храпит, но выкорчевывается.

Шестой спрятан за ширмой. Туда к нему, предварительно сосредоточившись, заходят врачи, сестры носят кислородные подушки, сам шестой молчит, подавать звуки он начинает лишь раз, низко и утробно рычит, отчего его сразу же переносят в коридор, выносят долго, он оказывается длинным-длинным, с длинным же лицом, состоящим из двух складок, посреди которых как парус высунут нос. В коридоре его обставляют той же ширмой, а вечером выносят и оттуда, в аут, так больше и не зарычавшего, накрытого простыней, возвышающейся в той месте, где нос. Больше он на сцене не появляется. Ширму возвращают в палату и за нее переносят меня.

Мать кормит меня тоненькими розовыми виноградинами, такими извилистыми и протяженными, что от каждой ягоды, как от сосиски, можно откусывать кусочки. Больше я такого винограда не видел никогда. Откуда он взялся там, зимой? И почему-то вместо того, чтобы его кусать, я слабо думаю о том, что, попадись он мне раньше, я бы сожрал его не по ягодине, а горстью, вместе с ветками. Где она его достала?

Моя беспомощная мать, вечно куда-то усылаемая, в какие-то

командировки, сующая меня соседкам, чтоб не затерялся. В моей жизни она возникает из бесконечных отъездов, возвращает меня себе, мы едим с ней ее замечательную лапшу, всегда лапшу, которую можно мгновенно приготовить. Она боялась своего начальника до паники, до тихого ужаса, до домашних истерик, их видел только я и начинал бояться матери, мы становились разъединены.

У нее были еще два страха, как я понимаю: она боялась остаться вдруг совершенно одна, без меня, и леденящее отупение перед больницей, куда надлежало обратиться для моего исцеления, поскольку уже с год время от времени меня притаскивали домой, свернувшегося в клубок и скулящего, что-то случалось в моем животе. Она говорила: ничего, ну, потерпи еще, и я изо всех сил сжимал животом боль, но лишь мать набиралась храбрости отправиться к врачам, боль исчезала. Потому что я тоже боялся. Наследный страх — лучшее средство от животной боли.

Однажды я скручивался и орал так долго, что она пересилила себя и меня привезли в место, где ты становился просто пустяк и ничего сам уже не решал, детские врачи, жирные старухи, осмотрели мое грязное тощее тело и, потискав живот, который немедленно перестал откликаться на прикосновения, поскольку страх парализовал боль, тут же вышибли как симулянта.

Дома боль вернулась, но мать уже не решилась еще раз испытывать терпение старух, и я валялся дома; на третий день, когда меня, воющего и впадающего в беспамятство, привезли снова, было уже поздно. Старухи сразу достали ножик, залезли внутрь, а там уже все разлилось. Называется перитонит. Нет, вряд ли их это смутило, они понимали, сколь беспредельна их власть над этой растрепанной женщиной, насмерть запуганной параграфами.

И до сих пор, как бы ни крутило меня, едва возникает на горизонте спаситель в белом халате, внутренняя наследственная дисциплина командует боли: на место! И та исчезает с проворством битой собаки.

Любила ли меня мать? Не знаю. Она за меня цеплялась, это точно, это было, но чуть что, оставляла где попало. И тут же извивалась от невозможности достать денег, она никогда не могла их заработать, всегда гроши, что-то где-то вымаливала и приносила. Тешила, нежила и била меня, когда срывалась вечно взведенная внутри нее пружина. Впрочем, и я был не сахар.

Румяная жаба с ножиком весело разворотила мои кишки, поискала, где там зловредный отросток, но он тоже так, видимо, ее боялся, так удачно спрятался, что найти его уже не

представлялось возможным. Ну, животик она аккуратно зашила, но все никак не могла успокоиться, что же это за финтифлюшка, которая сумела увернуться от нее, опытной разрезательницы детей. Поэтому через пару дней она снова все расшила и опять долго искала негодяя. Увы! Так и остался при мне мой храбрый отросток, до сих пор, вот он, пошевеливается, молодец удалой, хоть она и в третий раз подступала с ножиком, но ей помешала вторая старушка, которая задумала поставить другой научный эксперимент: она придумала, как вытаскивать из моего уже зашитого живота перитонитовый гной длинной иглой, почему-то через легкое, видимо, чтоб усложнить задачу. К сожалению, легкое вскоре заразилось, отчего позже пришлось разрезать меня уже вдоль и поперек, ломая и вытаскивая ребра, чтоб отрезать пришедший в негодность легочный кусок.

Причем ни из одного ребра женщины так и не сделали, видимо, мал я оказался для производства женщин. А может, и сделали, но мне не показывают? А первая румяная жаба все рассказывала полоумной моей матери, что вот-вот поставит меня на ножки и я побегу по дорожке, и приносила мне из личного огорода то спелый помидорчик, то яблочко, показывая всем, как она ко мне неравнодушна, отчего и я чувствовал к ней приливы нежности и тоску оттого, что ничем не могу порадовать бодрую старушку, поскольку помираю день ото дня и никаких помидорчиков уже не хочу, потому что жду очередного протыкания полуметровой иглой и хлороформа, тягучий вкус и запах которого преследовал меня много лет и до сих пор, если вдруг услышу его в какой-нибудь заштатной больничке, сразу ноги отваливаются и тянет травануть, и чудится эта необыкновенно длинная, готовая проткнуть меня игла.

Мать не знала, как благодарить замечательную врачиху. Она, взяв для храбрости тетю Клавдю, подлавливала ее на улице, чтобы из-за угла всучить ей взятку в виде масленки, до краев заполненную сливочным маслом; где они его взяли? Сами сделали? Из молока тети-клавдиной Зорьки? Но даже я понимал, что это плохая взятка, маленькая, не настоящая. Я не говорил этого матери, хотя она советовалась со мной, что бы такое врачихе дать, а что со мной советоваться, я же знал, что у матери все равно ничего нет.

Вскоре все это меня вообще перестало интересовать, я плавал в своих дымных забытьях, поджидая, когда все это хоть как-то, но закончится. Добрая старушка знала, как, когда и чем, потому масла не брала, поджимала губки, приводя мать мою в состояние судорог, поскольку та сразу переставала понимать, как же еще можно выразить спасительнице свою признательность.

Однажды, выключившись из серой бредятины, я обнаружил возле койки еще одну мою тетку, Таню, сестру моего убитого отца, взявшуюся неведомо откуда, из-за тридевяти земель, из своего Ташкента, отцовская родня не любила мою бесполезную мать и не поддерживала с ней отношений, хотя со мной поддерживала как с носителем папиной крови, поздравляла и звала в гости. Немыслимо было представить, чтоб кто-то из родни когда-нибудь к нам приехал, но вот она вдруг явилась, мать мне шептала: ее дед послал, сам уже плох, уже не может оперировать, руки дрожат, она теперь оперирует вместо него, все его знаменитые операции, он ее научил, она тоже уже становится знаменитостью. Вот он ее и послал разведать, что там случилось, у него интуиция, ее не хотели отпускать, но дед послал, ему показалось, что меня надо спасать. Видимо, очень уж отчаянное письмо написала им мать.

В одиннадцать лет представить себе, что ты тут, оказывается, лежишь, чтобы не выздоравливать, а помирать, очень странное ощущение. Но дошло это до меня, о великий царь, даже не по неожиданному появлению тетки Тани, а по тому, как деловито и без удивления она на меня смотрела, не играла, не тискала, как в тот раз, когда я приезжал увидеть их всех. И видно было, как работает и перебирает варианты ее обученный мозг. Она пришла, как чужая, как вызванная, и так же ушла, ничего не сказав, и мгновенно в моем положении начались перемены. И все стало объяснимо. От винограда до пенициллина. Потому что откуда-то взялся пенициллин. Сестры приносят эту драгоценность, каждую ампулку в отдельной коробочке, они ему удивляются, его нет даже в Москве.

Замаячила добрая врачиха, но без помидорчиков, кусая губы на белом-белом лице, в коридорах послышалось движение, и вошли три пожилых дядьки, один из них, тощий острый старикашка, сухими и злыми пальцами принялся резко попадать в болевшие места, потом принялся сопеть, отдернул руки, отвернулся и вышел, и слышно было, как несется по коридору его удалявшийся голос, он кричал страшные матерные слова, слабый голос врачихи тонко и бессвязно ему отвечал. Мне показалось, что он приказывает ей сделать со мной то, что она не решалась, причинить, наконец, боль нестерпимую, отчего я начну орать уже непрерывно.

Но ничего не сделалось, меня завернули в четыре одеяла, и вдруг, пахнущий с мороза, вошел дядя Вася, приехавший, видимо, из невесть откуда, со своей границы, из своего Стрыя, взял меня в охапку, как тогда, летом, когда мы боролись с ним, щенок — против огромного, тощего тела разведчика-волкодава, он стоял на

коленях и смеялся, пока я пытался его одолеть, теперь он вез меня в машине, держа на коленях, не выпуская из рук. И в нем было это отрешенное обращение со мной как с вещью.

Что происходит, я догадался именно по тому, что им некогда было меня любить, они торопились, потому что на спасение времени не оставалось совсем. Отсюда, от меня никчемного, пошел сигнал боли и страха. И они явились неведомо откуда. Вот такая бывает любовь.

И будто бы сказала тетя Таня страшному старикашке с сухими руками, что, если никто не возьмется, она сама прооперирует меня, но ей бы не хотелось, потому что я Борин сын, и старикашка заворчал на нее, он сказал: как это некому? Я сделаю. И вот меня перевезли в его больницу для взрослых, дали хлороформа, едва привезя, разрезали вдоль и поперек, еще не проснувшегося положили и тихо ушли куда-то.

И взрослые мои соседи смотрели мимо меня, они старались меня не замечать, но стоило мне слабо пискнуть ночью, как кто-то из них вставал и шел в коридор за нянькой.

Потом один из них, соскучившись по собственным детям, стал сидеть возле меня непрерывно. Одна нога у него была короче другой и изуродована в стопе, он носил специально сделанный ботинок и показывал мне его и рассказывал, как с ним устает, ему эту ногу и переделывали в больничке, резали и вытягивали, долгое время он уже прожил здесь со своей ногой.

Он рассказывал про женщин, за несколько месяцев этих рассказов я узнал о женщинах все и еще немножко. О том, как они устроены, зачем и почему и что надлежит со всем этим делать. Иногда к нему присоединялись другие ходячие и вспоминали смешные истории про свои приключения, про то, как однажды ползали в траве к пьяной тетке, которая сморилась и спала там, в траве, и по очереди с ней, бесчувственной, занимались, и, представьте, никто из мужиков не заболел, кроме пятнадцатилетнего пацана, который тоже попросился сползать, сполз и подцепил.

Ночами мне снились женщины из рассказов ходячих мужиков, в странных позах, со странными своими особенностями, пугающие существа, совершенно не похожие на мою мать или на тетку Таню. От ужаса я начинал подвывать, приходила сестра, которую я тоже не соотносил с женщинами, и колола свой драгоценный, блатной пенициллин в опухшие резиновые подушки, образовавшиеся на моих ногах, а он вытекал обратно, опухоли его уже не вмещали.

Мне кололи его через каждый час, но я все равно вырубался, и однажды кто-то явственно сказал возле меня: «Сегодня, видимо.

Мать подготовьте». Еще послышался резкий тети Танин голос: «Я без вас вижу, что он серый. Готовьте, если хотите, мать, но раз уж все равно, я сама его вскрою, и не потом, а сейчас!»

Голоса удалились, потом меня повезли в каталке, наложили на нос марлевый комок, ненавистный хлороформовый привкус ударил в мозг. Злой старикашка сказал: «Уведите эту сумасшедшую тетку, а ты, страдалец, считай до ста!» Я начал считать, досчитал до девяти, услышал, как сестра сказала: «Готов!»

Старикашка сказал: «Скальпель!» Я заорал, что резать меня еще нельзя, я вовсе не сплю, я все слышу и нельзя резать и рвать меня незаснувшего. Но как и в прошлый раз, наплыл темно-зеленый горизонт и осевшая на него половина солнечного диска, багровая, с заусеницами, и снова, огибая диск, справа налево побежала по нему лучом черная палка, и я знал, что, коснувшись горизонта, она ударит не его, тяжелый тошнотворный удар она влепит мне в голову, но я не умру, потому что этих железных палок три, вторая разнесет череп, третья меня убьет.

Сосед Витя с тонкими прозрачными пальцами, раздутыми в суставах, а на концах сплющенными, как лопаточки, с гнилостным запахом изо рта, постепенно умиравший от легочного рака, рассказывал, что когда его собрались разрезать, то он от хлороформа начал падать в круглую яму, где лежали три мертвеца, веером, ногами вместе, головами врозь, три трупа, которые начали поворачиваться справа налево, когда он принялся на них падать. Но не упал, его вывели из наркоза, потому что оказалось, сердце у него не выдерживает. Поэтому он знал, как все будет, и жил себе, впустив в себя смерть, дыша на всех ее гнилым дыханием.

А у меня было нормальное сердце, значит, выводить не будут, и, значит, от третьего лома не увернешься. И я уже хотел, чтоб скорей, уже не уворачивался, и вот он пришел, и проломил череп, и серая масса брызнула, движение, выдергивающее штепсель.

И наступило счастье, нежно-желтые полосы света, белые с синевой халаты. Я видел их сверху, как они, сталкиваясь головами, пыхтят, стараются, торопятся. Смешно и безмятежно было смотреть на них, копающихся в маленьком тельце. И я проснулся.

Когда мы снимали Мишу, кстати, почему Миша, его же звали… как же его звали? Колька его звали, вот как. Но училка напрасно, глядя в журнал, пыталась вызвать его к доске по записанному в журнале имени. Она так хотела его переучить. Но Миша, сжавшись в комочек, хитро смотрел на нее сверкающими глазками и не отзывался. Кто его назвал Мишей, зачем? Почему

он согласился? Что ему в этом виделось или слышалось? Помучавшись, училка поизносила, наконец, заветное: «Миша!» — и он, двоечник и оболтус, криво подпрыгивал, плелся отвечать.

Он повесился на двух полотенцах; как это можно повеситься на двух полотенцах? Одни говорили — он тренировался, он сделал из полотенец кольца, он хотел научиться делать угол. Другие говорили — это от неудачной любви, все они в этом возрасте кончают с собой от неудачной любви. И те и другие угадывали лишь половину. Я всегда знал, что он именно хотел научиться делать угол, но не сам по себе, а чтобы все за это необыкновенное умение его полюбили. А нужно было, чтоб все просто сгрудились вдруг однажды вокруг него и опрокинули на него любовь.

Маленький Миша лежал длинный-длинный, наискосок через всю комнату от угла к углу, в котором, сгорбившись в черный корешок, зажав рот рукою, сидела его мать. Он хвастался, что она била его поленом, а я вдохновенно врал, что мы с моей матерью — товарищи. И все, что происходит со мной, я ей поверяю, именно этим книжным словом, а она мне умно и точно советует, поэтому от нее можно ничего не скрывать, и мы все время разговариваем. Я его добивал.

Выслушав меня, он бросил курить, насовсем, он не догадался, что весь этот монолог я наговорил уже не раз, когда, бредя домой по железнодорожной насыпи, что облегала зады деревни, махал руками, ведя нескончаемые разговоры с настоящими и выдуманными взрослыми и детьми, и кормившие меня старухи сообщали вернувшейся матери: «Издаля слышно: твой идет из школы, руками машет и то бормочет, то заорет, проголодался, значит».

Сейчас мне не о чем с ней говорить. Одинокая, горой вздымающаяся на диване, боящаяся лишь одного, что однажды упадет и никто не сможет поднять ее, желеобразную гору. Трясутся руки, сжимая палку, и огромная вставная челюсть искажает привычное лицо, еще более лишая его той внятности, которая когда-то его оживляла, и белые редкие волосы дыбом на розовой морщинистой коже.

Или глядит неотрывно в ящик, на экране которого бегают хоккеисты, но какой там у них между собою счет, вспомнить уже не может, так же недвижно смотрит за перемещениями по земле и небу командиров стран и народов, их встречи, схождения с трапа, переговоры за длинными и круглыми столами, где они говорят слова, а диктор вещает о всеобщем одобрении этих слов, и мне представляются миллионы ящиков, к которым вот так же пришпилены миллионы старых женщин, которым не на что

больше смотреть.

Впрочем, песни и призывы, раздающиеся из ящиков, напоминают им молодость, и они грезят тихо, тряся плохо помнящими головами. Полная жизнь для миллионов старух.

То чудились ей давно случившиеся олимпийские рекорды, которые показывал ящик. То, вглядываясь в окно, она вдруг начинала звать меня, чтобы посмотрел на девушку, стоящую на противоположной крыше, девушку, которая давно уже собралась идти в Рязань, уже две недели следит за нею мать, вместе с нею переживает ее страх ступить на канат, по которому предстоит идти, и вот зовет меня возбужденно, потому что девушка вроде бы сегодня решилась, уж вот-вот пойдет, нога занесена. Но едва я прихожу, девушка опять, в который раз передумывает, и мать слабо машет рукою: забоялась! Предстартовое волнение!

Чувствуя себя виноватой в девушкиной неудаче, мать начинает показывать микробов, которые опять развелись на сиденье стула, она подбирает их щепотью, но сложить куда-нибудь забывает и той же щепотью собирает новую и новую порцию. Она не негодует, не требует санэпидемстанции, она удивляется такому обороту жизни, странностям мира.

Она живет в своем командно-хоккейном мире, мире юных дев, совершающих рекордные поступки, в мире микробов полной жизнью. Как-то, лет десять назад, когда она не была еще заключена в свой замкнутый мир, мы собрались выпивать и, выпив, принялись кричать друг другу правду обо всем, клянясь что-нибудь наконец сделать, ну, один из тех бесконечных междусобойчиков, никогда не кончавшихся ничем, хотя в ту пору между нами завелись несколько трезвых ребят, которые действительно кое-что сделали, за что их потом и посадили.

Видимо, и в тот раз они что-то свое проговорили, потому что мать моя, стоя под дверью и выслушав весь наш горячечный бред, забилась в свой угол, и когда, выпроводив всех, я к ней заглянул, она смотрела на меня пустыми глазами и плакала. Она сказала: «Вас всех посадят!»

Как стать мне справедливым, прощающим, возлюбить то, что я любить обязан? Я бы возлюбил, но через мать со мной говорила, меня судила, со мной обращалась Родина. Она школила меня через уже вышколенную ею мать. Мать моя, Родина.

И вот они наконец остались одни, друг с другом, сидят, глаза в глаза — Родина, мерцая экраном, и ее старенькое дитя. Долгими вечерами. И вспоминают минувшие дни.

Потом она стала звать меня папой, смущаясь, принималась рассказывать, как в общежитии, чтобы понравиться Боре, держала перед свиданкой лицо над кастрюлей с горячей водой, а пар

делал лицо розовым. Она долго ждала его, убитого.

Потом она вдруг замкнулась, встречаясь, обходила меня, как тень. Как встречного на улице, как чужого. Потом вообще перестала показываться из комнаты, когда я проходил за дверью. И переставала бормотать. Затаивалась.

И вдруг я натолкнулся на нее в коридоре, идущей не на кухню, а просто идущей куда-то, проводя руками по стенам, с потрясенным светящимся лицом, будто подержала его над паром. Она увидела меня и остановилась, и, прижав руки к подбородку, жарким девичьим шепотом выдохнула: «Папа! Боря вернулся!»

После отца был лишь один человек, имя которого она называла, но я забыл, и которого видел лишь раз, он пришел к нам за насыпь, но в дом не зашел, это я обнаружил, отправившись уже в сумерках к Грушнику. Человек и мать сидели на отшибе от тропок, в траве, на краю канавы и разговаривали так, что ничего не было слышно. И я, увидев их, стал тихо отступать, спиною, по ступенькам крыльца, в тьму парадного, уже тогда покосилось крыльцо, но я не мог его поправить, из всех инструментов в доме был лишь молоток и четырехфунтовая гирька, за гвоздями приходилось ходить к чужим старым заборам и там тайно их вытаскивать, потом прямить, потом забивать в сломавшееся, и вот они сидели, мать и тот человек, которого она называла по имени-отчеству.

Я уже знал, что на него тоже наорал начальник, с ним был приступ, он ходил боком, плохо двигал руками, и рот его еще слегка скашивало. Видимо, он уже не мог больше вернуться работать. У него была семья, но она ему, очевидно, помочь не могла, впрочем, мать тоже не могла. Просто они вместе работали и вместе боялись, и это их сближало.

Может быть, что-то между ними происходило, может, была какая-то задушенная приязнь. Но сами они ничего не могли ни решить, ни сделать. Неотвратимость повисла над домом. Я не знал, что происходит, но что-то важное, торжественное и обреченное было в их сидении там, на краю канавы. Они расстались тихо, как-то вдруг пошли друг от друга, и она стояла и смотрела ему вслед, длинному, сутулому, идущему боком человеку. Что это было? Какая тайна? Мать никогда мне этого не сказала.

Я прихожу в себя, поскольку вырубился лишь на миг, а вырубаться нельзя, потому что если начнешь, то потом очень трудно остановиться. Затягивает. Что сунуло меня переплывать эти полкилометра сентябрьской воды, когда никого вокруг, оставив одежду, ружье на той стороне, и значит, за ними надо возвращаться, то есть еще полкилометра. Ока широка, а уже

высыпали на тело синими эскадронами мурашки-букашки, вытаращились, и лезть с ними обратно в воду — повезет, если пневмония, максимум — откажет охолодевшее тело. Двигаться не захочет. И плавно пойдет ко дну. Тут надо хорошо согреться. Растереться грубым сухим полотенцем, накинуть халат, рухнуть у камина со стаканом горячего вина в руке. А еще лучше в баню, причем не мокрую, а в сухой жар. Да.

Но все грубое и сухое вон там, у горизонта, на бугре. Вечереет, и чем дольше ты размышляешь, с тем большей брезгливостью, прежде чем завалиться за елки, смотрит на тебя холодное солнце, и значит, придется перевозить полки мурашей обратно, в странной надежде на везение.

Впрочем, когда вода смыкается на горле и ноги теряют землю, становится очевидным, что дело не в цели. Не в том, чтобы доплыть, а в том, чтобы каким-то образом начать делать механическую работу в этой ледяной жиже, сплевывая плещущую в нос и рот встречную волну.

Включив думалку, я приподымаюсь над водою и озираю безлюдное вымершее пространство, бледные облака, желтые обрывы, серую воду. Хоть бы лодочка с дурным рыбаком, хоть бы парочка забредших на берег собирателей грибов или копателей картофеля, не знаю кого еще. Но это уж так, я и на берегу знал, что не будет никого, вода принимает мои открытые глаза, показывает бурую глубину, ничего подходящего подо мной для опоры, холода уже нет, но нет и тела, движусь я или нет, завис ли в пространстве, сами по себе способны ли конечности проделывать заданную им работу?

Когда надо мной смыкается в первый раз, тело инстинктивно вырывается и оглядывается, берег, откуда я отчалил, все еще рядом, а тот, куда надо, с сухим и грубым, — расплывается на горизонте. Надо бы вернуться, прикидывает тело, но позади нет средств согнать сотрясающий озноб, снова накрывает меня, и я вырываюсь уже из-под желтой, быстро чернеющей массы, собственно говоря, в никуда, она уже всюду вокруг, где тут у нее верх, где низ, не надо совершать необдуманных поступков, это наказуемо, матери нагадала когда-то цыганка, что я умру от воды. Вот вода, быстро и умело, и стискивает дергающиеся руки и ноги, в рот и в нос вдавливает свою масляную плоть, мягко придушивает не сопротивляющееся уже тело и пускает его по течению. Когда сознание гаснет, я упираюсь коленками в колючие камни на дне, это тело, двигаясь само по себе, вытащило меня на мель, и я на четвереньках выбираюсь из воды, и меня начинает рвать, внутри рвется петарда. Зачем это было нужно телу?

Я много чего забыл, но живо ощущение той ледяной воды из

бочки, которой я, подросток, окатывался утром. Утренняя вода. Куст на тропинке, идущей по меже, высокие прутья, обросшие вокруг пня срубленной когда-то рябины. Спрятавшись на этом пне, загородившись густой зеленью от мира, невидимый, так бы и жить вечно. Собака. Собака, которая меня любила. Когда ее маленькую стеганул сосед, мы вместе уползли и сидели под крыльцом, обнявшись, и оба рыдали.

Жена соседа, румяная десятипудовая красавица Магура, убила ее, забежавшую к ней во двор, вилами и перебросила еще дышавшую к нам через забор. Когда я наткнулся на нее, она лежала как живая на боку, и была на ней маленькая красная ранка, глубокая, но я не поверил, что от такой ранки мог умереть зверь, и я все делал ей искусственной дыхание, все качал в нее воздух, двигая лапами, воздух врывался в мертвые легкие, они сипели, а потом я унес ее к моей рябине и там похоронил. Я не знал, что это соседка убила ее, у Магуры не раз оставляла меня мать, и та меня кормила и давала поиграть маленьким пластмассовым красным медвежонком с комода. Я думал, что это сделал неведомый сторож, вооруженный мелкашкой, ведь был след как от крошечной пули. Я думал, он ее ранил и она приползла. Я искал этого сторожа, я ходил кругами, вглядываясь в траву, искал след крови, показывающий, откуда ползла моя собака. А ее просто перебросили через забор.

Из стороны в сторону водила меня вина перед собакой, потому что еще до этого я ее предал, я ее бросил, оставил одну, она стала мне не нужна. Вот ее и убили. Это была собака, которую мать мне купила, когда я выполз из больницы и учился ходить. Радость одноклассников при виде моего обнищавшего организма была непомерна, меня били все кому не лень, я сразу же валился, дома я тренировался вставать, подтягивая себя в сидячее положение длинными марлевыми вожжами, подаренными на прощание нянькой. Я подтягивался и мечтал о собаке.

Поэтому однажды мать повезла меня куда-то на санках в незнакомые гости, где по дому мотался долговязый щенок, его-то мне и вручили. Ехать обратно на санках я уже не мог себе позволить, я вел свою собаку на веревочке. Где-то на полпути обнаружилось, что веревочка давно отвязалась и щенок идет сам возле моей ноги, как призовой. В общем, оказалось, что учить эту собаку не надо ничему, она сама уже знала все, что ей положено.

Это был очень талантливый щенок. У меня давно уже была заведена книжка по дрессировке служебных собак, и я, с книжкой в руке, вынуждал его делать все, что оттуда вычитывал. И он делал все. Когда мы начинали топить печку, притащенными со

двора поленьями я закладывал разлегшегося в ожидании тепла уже выросшего, ногастого, почти взрослого щенка, и он терпеливо ждал, пока груда поленьев не скроет его всего. Некоторое время он лежал неподвижно, балдея и предвкушая, но только я подносил зажженную спичку к растопке, как он вскакивал, с грохотом обрушивая на пол дровяную гору. Он таскался за мной всюду, и вдвоем мы были непобедимы. А потом он стал мне не нужен, и я посадил его на цепь.

Он стал мне не нужен, потому что появилась девочка, лица которой я не помню, я никогда не мог его разглядеть, никогда не мог представить его, оставаясь один, закрыв глаза, потому она мне и сниться не могла. Она была такое свечение, которого невозможно коснуться, и потому я ходил, держась от него в метре. Я стал как сумасшедший. Помню, как выла моя собака, просясь с цепи, вместе со мной, а зачем она была мне теперь?

Она была посажена на цепь, потому что начала злеть, ничего не понимая и считая, что мир ополчился на меня и надо заступаться против всех. Но мне стало не до ее переживаний, поэтому она сидела под крыльцом во дворе, во тьме, на цепи, и цепь была коротка, ей было неудобно, но как-то она там управлялась. Она приносила в зубах чугунок, чтобы я наложил ей каши, она ела только эту кашу, и, съев, уносила вылизывать чугунок к себе. Она старалась делать свои дела подальше от того места, где спала, но цепь не пускала, она наступала в наделанное лапами, она теряла опрятность, гноился глаз, который она как-то наколола на гвоздь, там, у нее, еще валялись и обломки сломанных ящиков, я лечил ее, вдувая в глаз сахар из козьей ножки, врач велел пудру, но сделать пудру мне не удавалось, сколько я ни давил в ложке крупинки. Я убирал за ней лопатой, я ее почти ненавидел в эти минуты, своей грязью и ненужностью она отнимала у меня время, мешала непрерывно думать о моем сиянии.

Как кидался он за мною, огромный серый пес, когда я пробегал по крыльцу, он думал, что вдруг все вернулось и взамен этого перетерпливания снова начнется общая наша жизнь, что я услышал, но я несся мимо, чтобы снова увидеть сияние. Меня бесил этот преданный стук его цепи, стук кандалов. Я отпускал его побегать утром, одного, тут его и убили. А сияние мое однажды видеть меня не захотело.

А просто ее нужно было начать трогать руками. Я помню, как однажды она взяла мою руку и положила ладонь чашкой на свою грудь, и я сразу умер, не помню, как высвободил ладонь. Я не понимал, как можно было трогать ее тело руками, нет, мы целовались, мы терзали друг другу рты, но. Видите ли, я не мог

начать ее лапать.

Три дня лежал я на койке мордой в стену, и мать не могла меня накормить, я не поворачивался. Потом она ушла, а я выполз из койки и потащился во двор, волоча за собой одностволку, из которой мы с Грушником били лягушек, не считая их за живое, а лишь за цель, потому что они сидели и ждали, пока мы набьем очередной патрон. Гильз у нас было всего две, и процесс расстрела лягушек был делом кропотливым и долгим. Во дворе я разул правую ногу и выстрелил из своей одностволки, зарядив ее двойкой, крупнее не нашлось.

Выстрелил в грудь, зная, как разворочу ее и как сквозь дыру в ребрах глянет густая красная шевелящаяся масса легких. Такую дыру я сделал в собаке приятеля, который не знал, куда ее девать, и привел ко мне, прося пристрелить. Что я и сделал. Она на меня посмотрела. Потом уронила голову, а он поднял ее морду, и под мордой на груди была эта дыра.

Никого не было дома, никто не слышал. Неудобно нажал, подбросило ствол, шибануло возле уха. В который раз я не смог как следует умереть. Стыд от неудачи, грохот в ушах, и все — я пошел спать дальше и — проснулся. И ничего уже не ныло во мне, сияющий стержень потух, а когда я попытался представить его, оживить свечение, у меня не получилось. Я принялся рыться в барахле, я нашел ее фотографию, увидел носик пятачком, простенькое пухлое тельце, и ничего там не было, абсолютно. Я всю ее выдумал.

Вечером я зову: Жек! И он вылезает из-за шкафа, там он живет в валенке. Он прыгает ко мне на ногу, взбирается по ней, цепляясь коготками, он влезает на колени, я его кормлю, он ест, исследует ладонь, потом залезает в рукав, ползет в подмышку и там устраивается, копошится, щекочет, с ним я и ухожу спать, тут он ползает по груди, по морде, царапая ее слегка коготками, к носу моему, мы обнюхиваемся. Мой любимый мыш.

> Jazz, jazz, jazz, why did you bring trouble to me?
> Yes! Jazz, jazz, jazz, why did you bring trouble to me?
> O Death, please sting me and take me out of my mystery.

И я просыпаюсь. Дернуло, остановилось. Станция. Ночь. Куда я еду? Внизу толстая баба, везет из деревни, где дремлет ее детство, свою мать. Забрала старуху оттуда, где осталась земля, в которой лежит ее старик. Из единственно годного для нее места. Что ей делать в негодном? А ничего уже не соображает, где она, куда, зачем, почему. Она все спит, сморенная, как червячок, спит, подсунув ладошку под щечку, шевелит губами, с готовностью

пытается подвинуться, когда проходишь мимо. Взглянет круглыми выцветшими глазами и возвращается в свое нетутошнее забытье.

За окном черные птицы вдруг проносятся, листают крыльями по стеклу. Кошмар какой-то. Ночная птица Еристань… Полночный клик полночных стай… Свет бьет в окно, стоим около фонаря.

Старушка снизу слабо начинает звать: Мария! Мария! Мария! Пожар! Горит где-то, свет в окне большой!

— Это станция, в вагоне мы, едем, — терпеливо отвечает толстая дочь.

— А куда мы едем?

— На Север.

— А зачем? Зачем мы едем?

— Да ко мне едем. Бедненькая ты моя. Спи, не плачь.

А вы говорите, любовь. Какая ж любовь, когда все они умерли?

Соло контрабаса

Бабушки перед закатом.
Крытые зеленым бархатом,
Управляющие матриархатом,
Горбоносые,
Произносящие «л», как «уа»,
Лечащие в Мацесте
Зябнущее серебряное тело.
Выпивающие себя
Как меркнущее вино.

Бабушки из Кривоколенных переулков
С ртами, как пучок перьев райской птицы,
В лихих горжетках из нафталина,
Мурлыкая гусарские варианты посвящений,
Пляшущие на тротуарах,
Рассказывающие перед лицом трамваев об опасностях супружеской жизни,
Пьющие всеисцеляющий самоприготовленный напиток
Из альфа-токоферола ацетата с каплями Зеленина
В трех частях с посещением
Публичных заведений.
Гонимые ветром.

Бабушки тщетные,
Носящие узлы рук
На параллельных земле поясницах.
Оставляющие клады,
Скопленные из пятаков,
Завернутые в желтую газету,
Перетянутую ниткой,
С надписью: Маньке — 1,5 тысц.

Но самые сумасшедшие бывают старухи,
Приносящие на станцию сухофрукты,
Вслепую высушенные, в серых мешочках,
Тех, что тихо лежат повсюду,
В ближайших клозетах,
Незаметно сунутые в угол,
Осенний дар проезжающим внукам.
Бабушки,
Которые кланяются и кланяются увозящему внуков вагону,
На случай, если внуки вздумают обернуться.
Бабушки, которых не видно и обернувшись,
Потому что за ними закатное красное солнце,
Забытые Богом,
Но не солнцем,
Пропитавшем мазутными пятнами
Ворсистые доски.
Пылью, лежащей на лопухах,
И растворимым кофе августовских ночей,
Бабушки, приснившиеся ночью.
Невыметенная из углов паутина.
(Свист)

Соло рояля

Моление о чуде

Иногда я молю: Господи! Не надо мне ни ума, ни таланта, ни денег, ни иного счастья сверх головы. Не надо ни женщин, ни водки, ни власти, ни славы. Даже возьми у меня что-нибудь, Господи. Дай мне только крошечное свойство, пустяк для тебя, способность делать чудеса. Не для себя самого, мне ничего не надо, и чудеса не сверхъестественные, не фатальные, пугающие

людей или приводящие в экстаз. Не громы с молниями, не право судить и наказывать или награждать слабого и сильного. Чудеса маленькие, пустячные, которые ничего не меняют в мире и которые порой случаются и сами по себе, но так редко и, главное, некстати и невпопад. Дай мне способность руководить этими крошками-чудесами, чтобы случались они тогда, когда нужно утешить человека или рассмешить. Пусть я буду таким карманным волшебником. И знать о том не будет никто. Только ты да я. Усмехнутся люди случившемуся или подосадуют — но легче и проще станет их жизнь. И может, появится в ком-то вера, что не одинок он под небом и на земле.

Я вот о чем. Однажды гулял я по Москве, и гулял не бесцельно. Я вышел, чтобы найти денег. Иногда на тротуарах, идешь, а денежка лежит. То копейка, то три, иногда гривенник. А порция фасоли стоит в общаге — девять копеек. Чай — три. За гривенником нагнуться желающие находятся часто, вот их и валяется мало, чаще — черная медь. Ее берут неохотно, прежде присмотревшись — орлом или решкой лежит монета. Но я искал уже полдня, прошел город насквозь, а ни одной монеты не попалось. Это вчера я захожу в автомат, а там прямо в скобочках стоит на ребре двухкопеечная монетка, кто-то не дозвонился, так ее и оставил. Вот я на нее и позвонил, спасибо. Но сегодня мне денег нужно было много, не меньше гривенника. Пятак, чтобы доехать обратно, а пятак, чтоб купить хлеба, хлеб в те поры, кто помнит, продавался резаный, развесной.

И вдруг, непрестанно роясь в подкладке, я нащупал и вытащил на свет трехкопеечную монету. Обрадовался сначала страшно, а потом перестал. На что мне три копейки? Если бы добавить вчерашние две! Впрочем, на одну из трех можно купить стакан пустой газировки, а на две — кому-нибудь позвонить. Кому? Домой, чтобы снова послушать эти стоны и вопли? Денег-то уж точно бы дали, но с такими рожами! И я шел, подбрасывая монетку ногтем большого пальца и заставляя ее вертеться, а потом подбросил сильнее, и улетела она неведомо куда. Туда, где, видимо, лежит и сейчас.

Я понимаю, что нельзя этого, чтоб каждому воздалось по страстям и желаниям его. Что бы тут началось! Но на гривенник радости можно ведь дать человеку, от этого никто не обеднеет. А исчезнет в нем то безвыходное отчаяние, которое рождает отсутствие гривенника.

Я бы не старался сделать людей счастливыми навсегда, я понимаю, что это невозможно. Но вот просит у тебя человек сигарету в полночь, он в урну готов за ней полезть, а у тебя нету, просит двушку, ему с девчонкой надо выяснить отношения, он

опоздает на пять минут, а она уедет на свиданку с другим — а у тебя тоже нету. Так пусть будет. Пусть окажется у того, у кого просишь, та сигарета. И такая, какая человеку и не снилась. Хоть «Мальборо», хоть «Данхилл». Или «Беломорканал». Правда, это папиросы. Но ему, может, папироса и нужна. Может, он в нее насыпет травы?

Ну, почему, например, не дать слух бедной девочке? Все у нее есть, слуха нет. Сидит вон, ладошки, как на молитву. Чем она слышит?

Знал я одного человека, который покупал белую лошадь. Но так и не купил, потому что никто не продавал. Тогда он завел собаку-лилипута, которую приносил в кармане в контору и там выпускал поиграть, а когда она погналась однажды за начальником по коридору, тот, отдышавшись, ее запретил. Тогда владелец собаки достал удостоверение, срезал бритвой свою фотографию и вклеил фотографию морды своей собаки и проносил ее уже на законном основании. Он был художник, носил сапоги, подбитые медными гвоздиками, и был когда-то папой девочки и женат, соответственно, на бабе-яге, и собака была у него тогда небывалых размеров, но с некоторых пор он стал ограничивать себя в собаках, нынешнюю свою носил всюду с собой, и все знали, что он такой вот, и охрана его вовсе не задерживала, хоть бы у него и не было вовсе никакого удостоверения на собаку. Когда он, пьяный, отправлялся домой, все делали вид, что не замечают, как его водит от стены к стене, начальник вообще прятался за колонну, поджидая, пока он пройдет, потому что, если бы заметил, пришлось бы его уволить. А увольнять было жалко, очень хороший был художник.

Сам же он полагал, что его не замечают потому, что он очень хитрый. Когда он вообще не вязал лыка, то, минуя охранника, обычно вставал на четвереньки и выходил на улицу у охранника прямо под ногами, утверждая, что охранник никак и не мог его заметить, потому что смотрит только вперед.

Хотел он еще купить дом, где-нибудь в Калининской области, на Волге, там, слышно, дома были дешевы. Крестьяне будто бы уходили из деревень и продавали пятистенные избы по двести рублей за штуку. Двухсот рублей у него не было, поэтому он начал организовывать коммуну, чтобы каждый вложил по 20–30 — купить дом, а хорошо бы еще и лодку. Чтоб ездить туда по очереди на недельку поработать. И никаких богем. Коммуна собралась, первые общие деньги пропили и разошлись. А он нарисовал на большом картоне корову, которая должна была стоять во дворе новокупленного дома, как бы выглядывая из хлева. Бездомная корова его беспокоила, поэтому он однажды

поднялся и поехал в Калининскую область, чтоб если не купить, то хотя бы прицениться.

Вернулся через день в страшном волнении и всем сообщил, что дело в шляпе. До деревень он, правда, не дошел, дошел к вечеру только до пристани, но начальник этой пристани — здоровый мужик в морской фуражке и резиновых сапогах, а жена у него — матрос, сказали, что все будет о'кей. Он выпил с начальником самогона, а потом начальник стал показывать, как надо плавать, и в фуражке, и в сапогах все плавал вдоль пристани сажёнками и на боку, а жена его, матрос, хулигански ругаясь, ходила следом по пристани с фонарем. Наутро тут же оказался будто бы и председатель колхоза, который обещал на зиму за поллитра к дому доставить дров. Будто бы и поллитра тут же фигурировало. Далее он не помнит и не помнит, как оказался в конторе. Но дом почему-то так и не был куплен.

Я думаю, у него ничего не получалось, потому что его и так все любили. А он не любил никого. Зачем, если и так все любят? И вовсе не честолюбие — двигатель прогресса, а отсутствие любви. И если тебя любят, зачем тебе прогресс? Человек этот сменил множество учреждений и нигде подолгу не работал, то сам уходил, потому что было там скучно, то его выгоняли, на одной очень веселой работе был плохой начальник, которому он однажды, упившись пивом, написал в портфель, и начальник вечером поднял портфель за ручку, а оттуда хлынуло. Он и выгнал художника. И тот жил на каких-то дачах. Нет, не всякому дано быть красивым, как в кино. Это вам еще в детстве скажут. Он был длинный, худой, с лошадиным лицом, рыжий, пьяный и очень красивый. А в кармане — собака с удостоверением.

Так, ребята. Куда это меня занесло? Куда нас понесло? Старухи какие-то, собаки. Какие собаки? С чего мы начали и куда забрались? А мне вас выводить и тащить в тему. В тему, в тему! Все — в тему! Ну, хорошо-хорошо, сейчас, потихоньку. В мягкой манере.

Жила-была собака. Тьфу! Ничего-ничего. Пусть пока будет. Жила-была. Такая круглая и длинная, покрытая проволочной шерстью, такая колючая колбаса на коротеньких ножках. Уши в стороны галочками, с хвостиками на концах. Мордочка трубочкой, заросшая бороденкой. Глазки выпученные, вроде пуговок у плюшевого медведя. Нос как терка, запекшийся от прошлой жизни (чумка, видимо). С-сука!

Так, еще раз попробуем. С глазками. Редкостной коварности и непредсказуемости. И вечно она сыпала всюду шерсть, все, кто с ней общался, уходили покрытые длинными, всюду прилипающими, жесткими волосками.

Что-то такое и было у папы моей девочки, но это была какая-то замечательная собака, а эта была уже позже, была найдена девочкой на помойке, скрюченная и полуобмороженная, вылечена от чумы и глистов, совершенно непонятно зачем, потому что норовила сделать драп на любимую помойку всякий раз, как предоставлялась возможность, до икоты нажраться там какой-нибудь тухлятины, вываляться в этой же дряни и явиться, виновато извиваясь, но тут же, встряхнувшись после лупани, забраться дрыхать на диван, развалиться в креслах, на разобранной постели со своей икотой, со спиною, вымазанной вонючими ошметками и рассыпая вокруг порции шерсти.

Ну а вспрыгнуть на стол, пока хозяева провожают в дверях гостей, и сожрать остатки ужина, отворить зловредной мордой или худенькой лапкой дверцу под умывальником, ведущую к мусорному ведру, вывалить содержимое его на пол, то, что погаже, сожрать, то, что попахучей, нацепить на себя и отправиться валяться в подушках, — было для нее делом одной минуты, чести, доблести и геройства. На обращенные к ней гневные восклицания отвечать тихими всхлипываниями, ползаньем по полу на брюхе: бейте меня, только сильней, можно до смерти! Ну, хрен с тобой, убогая! И тут подхалимаж долой, нос, похожий на картофельную очистку, и хвост султаном — вверх и, независимо, — под стол, чтобы оттуда внимательно и тихо следить, став невидимкой.

А иногда вдруг придет сама, встанет перед тобой, вытаращит глазки и смотрит на тебя. Ничего не говорит. А постояв и посмотрев, вдруг подцокает поближе, сунет головенку на колено, ближе к животу и, если пощекочешь пальцем меж ушей по колючему волосу, запыхтит вдруг, заухает: у-у! фу-у! — плавая в блаженном балдеже.

Так. Какая-то размазня. Еще раз начнем. Последний. Найдена была в примерзшем к дороге состоянии, видимо, машина толкнула, отодрана, притащена с кровавым боком девочкой, очищена, смазана, замотана в тряпки, выздоровлена и вынянчена. А потом оказалась сукой, которую надо беречь пуще глаза от нежелательных связей, которые могли бы привести к нежелательным последствиям.

Во времена, когда у нее наступала охота жениться, вожена бывала только на поводке, отпускаема редко, после предварительной рекогносцировки местности, лишь однажды на несколько секунд скрылась она из вида, обегая обшарпанную котельную, и тут же появилась, но этого оказалось достаточно, за котельной ее поджидал кто-то неизвестный, быстро и профессионально сделавший то, от чего была она уберегаема. С

той поры и понесла.

Пузо росло не по дням, а по часам. Она его довольно облизывала. А однажды вернулись домой — и нате, сидит она, измочаленная, среди разгромленной мебели, упавшего на нее сверху хозяйского приемника «Рига», расколоченного вдребезги, сорванной шторы, из которой умело уже свито гнездо, а в нем — шесть толстых темных зверюшек, и всех она кормит и лижет, животики им массирует, а на животиках еще красные свисают кишочки, которыми соединены они были час назад с матерью.

Умерла она внезапно, как и жила, радостно помчалась, несмотря на запрещающие крики, через дорогу, к нам, и была убита грузовиком мгновенно. Чего он даже не заметил. Полчаса я ходил, нося ее в трясущихся руках, не зная, что теперь делать и куда податься, ходил огромными шагами. Чтобы себя измучить, истратить адреналин. Потом в том же бешеном темпе закопана в палисаднике, и настал вечер огромной пустоты, которую пришлось переживать, потому что деться от нее было некуда.

Мы легли, мы накрылись одеялом, обменялись какими-то словами. Я думал, надо же когда-то это сказать. И сказал: «Я тебя не люблю». Она не пошевелилась. Она тоже, видимо, лежала с открытыми глазами. Она сказала: «Как холодно. Как мне холодно».

Потом она повернулась и обвила меня ногою, обычный откровенный жест, от которого я застыл и лежал не откликаясь. Она освободила меня медленно-медленно, начала отворачиваться, задела твердым соском плечо. И будто ушла куда-то, уплыла, хотя была тут же в миллиметрах рядом, но в темноте не видно где. Меня вдруг кольнули мурашки, покрывшие ее тело, потому что ее начала колотить дрожь, а ночь была душная, июль, окна настежь.

Она всегда очень реально, буквально переживала всякое состояние. Но до сих пор никогда она не переживала их одна, сразу бросалась ко мне, чтоб разделил и утешил. Первый раз она осталась одна на земле, и холод, что коснулся ее, был настоящий, тот холод, что окружает землю, но никогда не доходит до живых.

В этом-то все и дело, я-то боялся, что она именно ко мне и бросится, она и бросилась было, но уж было нельзя. К полной моей беде она сразу поверила мне. И вдруг все, чем мы друг к другу приросли, паутинками, корешочками, спутанными ветками, в один миг съежилось, свернулось, распалось, как бумага в огне, и оказалось, что все, после этого уже ничего не вернуть. Заплакала ли она там, одна, в миллиметре от плеча? Что-то в ней плескалось, как вода о берег, надо бы прислушаться, чтобы услышать, но во мне гудело, гудело сделанное. А так, женщина,

плачущая в ночи, не ждущая от тебя спасения. А хоть бы и ждущая, я-то именно и не имею права ее спасать. Для чего тогда было топить?

А ночь никуда не делась, продолжалась, и ее надо было прожить, лежа рядом, касаясь друг друга плечом.

Она сказала: «Как холодно. Как холодно на свете. Что же мне делать? Что мне делать с собой?» Она спрашивала страшно и низко, глубоко, и мой ответ был ей не нужен, она его и не услышала бы.

Она всю жизнь боялась одиночества, ничего более. Боялась того, что мне хотелось более всего. Потому что никогда в жизни я не был один. Даже в детстве, в котором у меня была собственная комната-одиночка. Я знал и про глазок, и про то, что папа с мамой с наслаждением заняты изучением того, что делал втайне от них драгоценный я.

Нет, я пытался объяснить ей то смутное, что прежде стоило бы хорошенько сформулировать, потому что она никогда бы не поверила той размазне, которую я ей был намерен изложить. А я хотел ей сказать, что мне мешает ее поддержка. Потому что я не научился стоять один. Что больше всего на свете я хочу научиться одиночеству. Что я должен этому научиться, что жизнь и нужна мне для этой науки. Я все проговаривал это мимоходом, то так, то эдак, в разных видах, в подсказках, бессознательно подталкивая к формуле не себя, а ее. Наверное, я скотина. Потому что хотел все перевалить на нее. Чтобы сформулировала она. Так, как делала всю жизнь со мной. Чтоб она все решила. Как бы.

Я не знаю, поняла ли она, что сейчас должна сделать. Нет, не поняла. Она вдруг притянула меня за плечи, прижалась всем телом и сказала: «Маленький, как тебе холодно, как одиноко! Я согрею тебя, я могу, не бойся ничего, маленький, я с тобой, плачь, пожалуйста, я с тобой!»

Но есть покой и воля… С недавних пор я тороплюсь домой, я раньше обычного ложусь в постель. Я вдыхаю и выдыхаю воздух, который становится все свежее и раздувает меня, как шар, я не знаю, куда деваются и где находятся мои руки и ноги, темные лица показываются на экране закрытых глаз, они смахивают друг друга, как шали, падают завесы, на миг возникает тоненький ребенок в белом. Он смотрит на меня и усмехается, и я спрашиваю: «Ты мой ангел?» Но он прикладывает палец к губам, он смеется, поворачивается и тает. Это тот самый сон, в котором я двигаюсь длинными-длинными скользящими взлетами, лишь изредка касаясь земли носком, чтоб оттолкнуться, и каждый

перелет стараюсь продлить, вытягивая ноги, так что тело проносит всякий раз чуть дальше, касаясь земли лишь в самый последний, уже невыносимый, момент. Почему прыгуны в длину не тренируются вот так же, изо всех сил удерживая ноги от приземления в последние моменты прыжка, почему не пользуются этой совершенно реальной возможностью?

А еще лучше — летать над зданиями, стараясь не задевать проводов. И это умение, кстати, самое спасительное, лучший способ рвануть с земли от опасности. Им ни разу не удалось схватить меня. Прямо с места, с тротуара, среди редких прохожих, я взвиваюсь вверх так, что свистит позади воздух, и те, кто пытался меня схватить, оказываются там, внизу, я ушел у них прямо из-под носа, они становятся маленькими и бегут некоторое время следом, показывая меня друг другу, потом отстают.

Но в последнее время я вижу другое. Такое… М-мм…

Первый сон. ***Тьма. Я движусь среди каких-то промышленных зданий, мне нужно внутрь, но на входах они. К счастью, здания еще недостроены сзади, там леса, груды мусора, и я знаю, как по одной из балок на третьем этаже перейти в охраняемое пространство, здесь остался незапертым люк для строителей. Я спускаюсь по лестнице, за стеной голоса, они время от времени обшаривают помещения, из-под нужной мне двери свет, они там, я поднимаюсь по лестнице на четвертый этаж, перелезаю через окно и по пожарной лестнице на третий, вообще-то мне нужно попасть с третьего на первый, и я точно знаю, дверь в подвал там не заперта, они забыли ее запереть, я это знаю точно, и вот я наконец медленно открываю ее, чтоб не пискнула, и быстро — в подвал, быстро, во тьме, вдоль теплых труб и по битому стеклу, по лабиринтам подвала — в дальний угол, заваленный коробками с тряпками, обломками, трухой, нужно раздвигать эти пыльные тяжелые коробки и потом задвигать за собою, чтобы снаружи казалось, что их никто не трогал, и так пробираться в них, пока не окажешься перед коричневой дверцей, которую просто так не открыть, кажется, что она приржавела намертво, но это не так, просто одна из скрученных труб прижала ее, как пружиной, и ее не оттянуть руками, но можно отжать здесь же валяющимся ломиком, труба повернется, дверца со скрипом отворится, и там…***

Там крошечная каморка, техническое помещение, заброшенное еще при строительстве, здесь с тех пор не был никто и никогда сюда не придет. И в углу коморки есть плита, которую можно поддеть тем же ломиком, сдвинуть и по ржавым скобам скользнуть вниз, где начинается новый

лабиринт, в котором уже не бывает никто. Его потеряли и забыли. И вот уже виден впереди тусклый свет, и наконец вон оно, отверстие, пробитое в стене, а там — слепящий, ленивый летний день, пахнущий травой, в паутинках, плывущих по густому зною.

И, выглянув, отшатываешься, потому что отверстие проломилось где-то посреди отвесного обрыва, так что ни сверху, ни снизу до него не добраться, вверху посвистывают ласточкины крылья, внизу река, но и с реки не видно этого окошка, оно все заросло травой и кривыми, прилепившимися вокруг кустами орешника. Того, кто выглядывает отсюда в мир, мир не видит. А в мире гудят пчелы, дребезжа висят над рекою стрекозы, в темной воде островками плывет темная тинистая зелень, рыба плеснула. Вот здесь уже не достанет никто. Вжавшись в теплую глину, здесь можно сидеть вечно. И больше уже не нужно ничего.

Я бы так здесь и жил. Но сегодня мне нужно еще в одно место, куда вскоре, может быть, приходить я уже не смогу. Просто путь к нему с недавних пор стал опасен.

Через запутанное огромное дворцовое здание. Где залы, портьеры, множество лестниц. Здесь тоже нужно спускаться и подниматься, продумывая каждый шаг. До сих пор они не догадывались, что я прохожу именно здесь, у них под руками, всегда они ждут меня из другого места и по другим путям. Я и сегодня еще не ожидал, что они, перебирая варианты, прощупывая и отмечая на карте мои пути пунктирами и красными линиями, крестиками остановки и затруднения, уже высчитали этот мой проход. Методом исключения. И сегодня я чувствую кожей, что переходы, двери, лестницы, залы не так уж и пусты. Что портьеры чуть колышутся, скрывая прячущихся. Тех, кто догадался. И кто, едва услышав мои шаги, тихо пойдет следом, чтобы нагнать в узкой щели коридора. И я понимаю, что надо торопиться, и хотя до дверцы им еще далеко, но они уже перекрыли подходы.

Я начинаю стрелять сразу же, еще поворачиваясь, из обеих рук. Портьеры набухают, там падают тела, но никто не отвечает, они не ожидали, они оказались не готовы, они не могут прийти в себя, и они падают, а я луплю, всаживаю пули и каждую ощущаю ладонью. И вдруг — бамц! — со звоном обрывается тяжелое биение рукояток, и револьверы — пустые, легкие. И тогда они встают с пола и выходят из-за портьер.

Их нельзя убить навсегда. Они здесь, и они уже там, куда ты только догадался заглянуть, и уже там, куда ты заглянуть и не догадаешься. Они выбирают только лакомые

куски. Желания, сны. Они любят прикидываться смертными, чтобы ты раскрылся, и тогда они берут тебя голыми руками. Я знаю и потому не дамся. Я ухожу от них, не сходя с места, не успев даже рассмотреть их лиц. Я просыпаюсь.

Хороший прием. Сном меньше, ладно. Больше мне там не ходить. Я видел, что бывает с теми, кто остается.

Это случилось, когда я только выбрался в тот новый мир, балдея от своего открытия, когда, подрагивая от легкомыслия, начал с приятного, неправдашнего. Выбираться куда-то на Дикий Запад, в салун «У Трех Поросят», где Джонни Мэддокс выколачивал из разрушенных пианин «Желтую розу Техаса», где бармен с необъятной мордой лица правильно посылал по накатанной стойке стаканчики окольтованным ребятам.

Второй сон. ***Кто-то заорал от коновязи, и все высыпали наружу. И я увидел его. Ненормального роста, сутулый, как кабан, он выходил из розового утра к сиреневой коновязи, и лошади бились от мерных ударов его сапог.***

Он встал далеко, зацепив большие пальцы за съехавший пояс, и все поразились, какой необыкновенной тупости было это животное.

И стало тихо. Толпа начала отступать, вдавливаться в салун через вывернутые дверцы, пока, раздвигая оцепенело пятившихся весельчаков, не проступили вперед великолепные ребята Юла Бриннера. Их лица были скучны, движения ленивы до неприличия. Потому что они собирались драться.

Древнее правило: кто схватился за револьверы первым — погиб, потому что реакция второго — опережающа, но ясно было и ежу, что при нынешнем раскладке секачу оставалось только начать быстро-быстро переставлять свои копыта в обратном направлении. Он не успел бы пошевелить и извилиной, чтобы опередить смерть, всаженную в каждый патрон четырнадцати смирно уткнувшихся в кожу стволов.

Я ошибался. Но кто бы мне об этом тогда сказал? Эти семеро знали, что я ошибаюсь, но им уже было некогда, у них каждый миг уже был на счету. Потому что они знали свое дело. И, вышвыривая наружу пушки, начинавшие стрелять, кажется, раньше, чем ладони тронут рукоятки, они уже понимали, что уцелеют не все. Но надеялись. Ну, хорошо, ну, пусть двое упадут, остальные-то успеют.

Убийца лишь шевельнул ладонями, так медленно, что казалось, можно было прожить это дважды. Полосатые молнии махнули из еще не раскрытых ладоней. Как бичом выхлестнул он стоявших перед ним ребят, и не успели они еще привалиться к земле, как руки его приняли прежнее положение,

а на площадке началась паника. Визжа пошел на двух ногах черный жеребец у коновязи, молотя передними пытавшихся вздыбиться лошадей. Площадка была пуста. Я один стоял. И он. И ребята у наших ног. Для них со снами было покончено. Он смотрел на меня, я ждал своей очереди. Он видел, что руки мои пусты. Что я готов. И не торопился. И усмехнулся гнусно. И тут я ушел от него, задыхаясь от скорости. Я проснулся.

А сегодня утром приехал в контору, где надо было получать разрешение играть. Там, в закутке, маясь от нехороших предчувствий, я увидел человека, и мне показалось, что кто-то ударил меня под колени. Нет, я сообразил, что выгляжу просто задерганным психом, этот человек вряд ли когда-нибудь пугал лошадей, мухи оставляли автографы на замшелом его черепе. Заваленный бумагами, он торчал в углу, как гнилой коренной зуб, и об него разбивались дымные облака. Он не то спал, не то в носу ковырял, его было плохо видно.

— Это кто у вас? — спросил я на всякий случай знакомого завсегдатая конторы.

— А бог его знает, — хладнокровно ответил завсегдатай, с большим удивлением разглядывая странную угловую личность. — Старик! — остановил он пробегавшего вдоль стены серенького служащего. — Это кто у вас такой?

— А! — захихикал серенький. — А ты не знаешь?

Он заглянул в угол и, тыкая в личность пальцем и попискивая от восторга, объявлял:

— Обломок империй. Уникум. За него антиквары ставили бы друг дружке ножки и отрывали ручки, если б узнали, что он тут на хранении. Произведен в свое время для работы с деятелями культуры. Инструмент идеологического воздействия. Как воздействует — никто не знает, но, по слухам, сбоев не дает. Не смотри что ржавый. Чего делает? Сидит. Иногда его вызывают, может, чтобы проверить: дышит или как. А? Да нет, он не слышит ни хрена, сопит только. — И побежал своей дорогой.

— Надо же, — изумился мой собеседник. И убежал следом.

Человек-пень, видимо, давно не приводился в действие. Да, пожалуй, и выбраться из свитого гнезда было ему уже невозможно. Там он вроде бы и питался, заплесневелая кефирная бутылка составляла целое с окаменевшими бумагами. Его можно было потрогать за свисшую, подернутую мхом губу. Я потрогал. Оглянулся. Никакой реакции.

И я успокоился. И уже уходил, когда из другого угла увесисто задребезжал доисторический телефон без циферблата. От произведенного им грохота взметнулась пыль, дым принялся отваливаться пластами.

— Сан Саныч! — осипшим голосом сказал тот, кто поднял трубку.

И вроде бы заскрипело несколько дверей, а это вставал из угла старикашка. Он встал, и все смолкло. По выпученным глазам даже потертых работяг было видно, что и они в который раз поразились гигантскому его росту, свисшим тяжелым плечам, лысому богатырскому черепу. Видно, в самом деле редко приводился он в действие.

Он вылез из своей конуры, прошел, волоча ноги, разбитый, неопрятный старик, никого не заметив, не заметил он и услужливо подсунутой салфетки, чтобы вытер заросший кефиром рот. Все ему было по фигу, потому что, что бы ни говорилось вокруг, что бы ни предлагалось и ни отвергалось, — делать свою Работу мог только он. Он ее и делал. Там. Он не здесь, он — Там работал. Это здесь он зарастал мусором, ржавел и плесневел. Там он был страшен и быстр. Он вернулся из снов в явь лишь потому, что раздался Звонок, который возвращал его на место, где он получал еще одну карту маршрута, пункт назначения, фамилию. Задание.

Он шел прямо на меня. Я оказался у него на пути. И он трудно наклонил голову. Он узнал меня и понял, что и я понял, что он понял. Что догадавшиеся долго не живут. Что теперь и я — в реестре. И что еще раз сунуться в заповедные места, где он выполняет задания, мне точно уже не светит. Может быть, мне еще и удастся обмануть тех, что охраняет путь. Но там, куда путь ведет, Там — работает он. И Там мне от него не уйти. И значит, жить мне придется — только здесь. И никаких снов. Полжизни — отрезано. Самой лучшей. А может, и единственно стоящей половины.

Нами себе сужен
Смех, страх.
Разве мир сужен
В наш крах?
Это нервы блажат…
А людям
Нужны сны.
Лежат на желтом блюде
Черные щеки луны…

Он ушел в голубое сверкание коридоров. Ушел, провожаемый насмешливыми взглядами, хихиканьем. И лишь я услышал, как над тяжелой его головой тихо и победно пропели литавры. Он шел прямо, без извилин. На деле они ему только мешали.

Вечером я вошел в квартиру, отперев ее своим ключом, темно было, звери все забились куда-то, меня не встречали, что-то не то обосновалось в квартире. Может, воры? Может, они до сих пор здесь? Я прикинул, каким предметом защищаться. Шагнуть в кухню, там на стене шпага, которая на самом деле кочерга, металл мягкий, но тяжелый. В принципе по башке можно съездить, пусть и согнется. Какой маразм! Тут я увидел в углу ее, совершенно замороженно смотревшую в окно. Я подошел, она была неподвижна и не дышала. Я решил, что она умерла. Ужас окатил меня с головы до полу. Я тронул ее пальцем, ожидая ощутить холод и твердость, и тут она повернула голову. На лице ее оказалась бессмысленная огромная улыбка, медленно и одним горлом она вдруг начала хохотать. Сердце мое разломилось, я заорал: «Прекрати этот идиотский смех! Что с тобой?» Собственно, мне и ответ был не нужен, я соображал, что, очевидно, она все обдумала, и вот оно, решение. Ничего подобного. Она была мертвецки пьяна, возле кресла стояла бутылка, в которой оставалось на палец жидкости. «Мне так хорошо, — сказала она, — ты не волнуйся. Я разговаривала с голубями, и они мне отвечали. Это так просто, у всех, оказывается, один язык, надо просто ему догадаться. Видишь ли, мне же надо с кем-то разговаривать».

Так. Хорошее решение. Если не с кем разговаривать, то можно и с птицами.

— Ну-ну! — сказал я. — И чего говорят?

— Ты помолчи, — сказала она, — я тебе сейчас все скажу. Я сейчас пьяна, и мне совсем не страшно, ты забудешь потом, что я хотела сказать, и я забуду, поэтому послушай меня, я все скажу тебе, только допью.

— Все! — рявкнул я, держась за левый бок, потому что что-то там просто ломилось под воротник. — Говори так. — И отодвинул ногой бутылку.

— Ну, ладно, — согласилась она. — Я, видишь ли, взялась съесть кусок не по себе. Я сама выбрала этот кусок, я выбрала тебя, я заставила тебя быть моим, но ты кусок не по мне.

— Это такой комплимент? — злобно спросил я, еще дальше отодвигая бутылку.

— Нет, — сказала она. — Ничего хорошего в этом для тебя нет. Это такой факт. Мне обидно, что он такой. Ты ребенок. Ты прекрасен, милый мой, маленький. Ты как звери. Надо, чтобы не было на земле этих двуногих, все усложняющих, запутывающих, терзающих друг друга и себя, на земле должны жить одни звери и ты. Вы чистые, вы безгрешные. Ты знаешь, что ты — бог? Не знаешь… Ты — мой бог. У меня есть религия, в которой ты — мой

бог. Но ты живешь не свою жизнь, тебе нужна другая. Я все постараюсь сделать для тебя, чтобы у тебя была эта другая жизнь, я буду жить ради нее. — Тут она свалилась на пол, и бормотание ее стало невнятно. Она что-то пела, смеялась, и смех ее был замечателен. Она была прекрасна с этим глупым от счастья лицом, с глазами прозрения. Я приволок подушку, засунул ей под голову и сказал: спи, зараза. Она и заснула. Вот какие дела.

Тема

Жил-был мальчик. Две головы, четыре уха. Рук четыре, туловища два, а попа одна, общая, и из нее — две ноги, все как у людей. Когда он родился, его папа и мама просто обалдели. Но они быстро пришли в себя и стали счастливы. Потому что, как это ни удивительно, он оказался тем, о чем они, каждый про себя, и мечтали.

Видите ли, папа был принципиальным и последовательным борцом за теорию коллективного воспитания в условиях постоянного повышения деторождаемости. Он был лектор. Он был пропагандист и автор брошюр на тему выращивания и воспитания детей прогрессивным групповым методом. Он был сторонником системы закаливания и самоорганизации детей. Папа не мог позволить себе получать деньги за то, во что не верил, поэтому он всегда верил в то, за что получал зарплату. Соответственно, он намеревался стать отцом для начала минимум двух детей. Но мама не смогла родить ему близнецов или двойню, хотя очень старалась. Вышло больше одного ребенка, но меньше двух. Так уж вышло.

Мама снаружи выглядела вполне современной женщиной, не чуждой последних слов педагогики и пропаганды. Однако внутри мамы таились темные и низменные собственнические инстинкты, унаследованные от дремучего прошлого. Ее раздирали пережитки. Ей на самом деле хотелось одного ребенка, чтобы на него молиться, выполнять его прихоти, бессовестно нянчить и тетешкать и только на него единственного излить всю благодать. Но если бы об этих помыслах узнал папа, он бы маму просто убил. То есть он задушил бы ее собственными руками. Но к счастью, он об этом так никогда и не догадался.

Он никогда не узнал об этом, потому что в наше замечательное время, когда наука и техника достигли небывалого развития, сбываются все мечты. Вот так, в результате нашей удивительной жизни несовместимые желания мамы и папы совместились. Совместный плод их индивидуальных усилий

полностью удовлетворил все их запросы и потребности. Это вышел как бы один мальчик и как бы сразу два. Это было поразительное достижение. Это родился новейший ребенок, подходивший для любых методов воспитания, причем экономически выгодный.

Смотрите сюда. Сначала папа пошел в местком и получил пособие в размере не тридцати рублей, как полагалось на одного новорожденного, а сорока пяти. На шестьдесят мальчик не потянул, так как налицо было все-таки скорее полтора мальчика. После чего папа моментально подал заявление в райисполком, и вследствие постановления горсовета, разрешавшего расширять жилплощадь лицам, родившим близнецов, а из пеленок виднелись именно две головы, буквально в течение года его счастливая семья получила новую двухкомнатную квартиру.

Далее. Курточек мальчик носил две, и покупались ему два костюмчика, однако штанишки-то надевал он одни, так же, как и одну пару ботинок, а это, согласитесь, именно те вещи, которые на детях просто горят. Зато сносились штаны — пожалуйста, в шкафу висят новенькие, бесплатные, из того же комплекта.

Мальчику купили два ранца, чтоб не было обидно, зато учебников — на одного. Одной головой он учит математику, вторая зубрит грамматику. Или песни поет, если вызубрила. Кстати, дуэт мальчика, исполнявшего на школьных вечерах лирическую песню «Нам с тобою нельзя друг без друга», пользовался бешеным успехом. К доске его выносят общие ноги, а отвечает та голова, которая знает урок. Оценка — обоим. Фамилия-то у мальчика была одна. Правда, имени два, Дима и Тема, но записанные через дефис.

А сочинения писал мальчик просто блистательно, причем в два раза быстрее одноклассников. Любо было смотреть, как в едином порыве трудится мальчик. Пока первая правая рука его набрасывала план, вторая и четвертая левые рылись под партой, перебирая шпаргалки, третья правая их переписывала, в то время как вторая голова контролировала передвижения педагога. Чудо!

С чувством глубокого удовлетворения и законной гордости писал папа в очередной своей брошюре: «Органистический орган организации и принцип организации органической системы заключается в том, что элемент специализируется, а органицистские представления миниминизированы в инвариантной проблеме управления целеполагания продукта взаимодействия элементов. Возникает органическая система как функция системы, которая воспроизводит свои собственные предпосылки. Функция кристаллизуется в компоненте — органе движения, из него возникает система». В считаные дни брошюра

разошлась, и ее, ставшую библиографической редкостью, читатели буквально рвали на части.

В соответствии с пропагандируемым им учением папа был противником телесных наказаний, хотя внутри него шла постоянная борьба: он чувствовал их резонность и хотя бы частичную необходимость. И здесь мальчик неожиданно полностью удовлетворял папу. Тот порол всего одну попу, наказывая при этом как бы сразу двух мальчиков, однако болевая сторона наказания каждого при этом уменьшалась ровно наполовину и, таким образом, уже не могла быть приравнена к подлинно телесному наказанию. Она носила скорее уже моральный характер.

Зато мама наконец получила возможность полностью отдаться во власть своих пережитков. На глазах у папы, ничем не рискуя, она кормила, мыла, одевала и тискала своего единственного ребенка, имея возможность делать все это в два раза дольше и больше. Счастье ее не знало границ.

Мальчик рос дружный и веселый. Охотно играл сам с собой в ладушки, в подкидного дурачка, ссоры его с самим собой были мимолетны и заканчивались безобидным показыванием языков или четырех фиг сразу, скоро и они прекратились, поскольку мальчик полюбил читать сам себе морали и делать выговоры. Дело в том, что головы его получали хоть в чем-то, но разную информацию. И когда одна засматривалась на что-то, что не было видно другой, это уже было достаточным поводом для упреков в эгоизме и попытке разрушить целостность этого маленького, но вполне здорового коллектива.

Более того, время от времени не та, так другая голова честно и откровенно сообщала взрослым о неожиданных наклонностях другой. Удивительный мальчик следил сам за собой. Родителям приходилось следить за ним разве что во время его сна. Спал он, естественно, в одной кровати и под одним одеялом, и потому порой сложно было уследить, все ли его руки находятся поверх одеяла. Вот он засунул одну под щечку, вторую закинул за голову, третья на одеяле, о четвертой уже и не думаешь, а ее и нету, что-то там теребит под одеялом, может, он и сам забыл про нее, напомнишь — послушно достает откуда-то, но та ли это рука, сразу и не сообразишь.

Занимательные наблюдения за мальчиком давали папе неоценимый материал для его лекций и брошюр, в которых он на новых, теперь уже неопровержимых примерах показывал и доказывал всем остальным родителям, что следует иметь в виду при воспитании подрастающего поколения.

Нечувственно мальчик вырос и начал собственную взрослую

жизнь. Закончив вуз, он устроился в проектный НИИ, в смешной отдел, занятый проектированием систем водоснабжения и канализации. В нем работали пожилые, ничему не удивлявшиеся сотрудники, и мальчика они приняли в свой коллектив как родного. А он смог осуществить наконец свою заветную мечту, начать жить отдельно от родителей. Да? Он об этом мечтал? Еще как!

Вообще-то в детстве он мечтал о девочке из соседнего подъезда. Это была чудная необыкновенная девочка. Каждое утро бежала она в свою музыкальную школу, и голубиные стаи взрывались у ней на пути, а мальчик кидался к окну, заслышав аплодисменты всплеснувших крыл и мелодичный стук ее четырех каблучков. Девочка носила короткие юбочки, и четыре ее полненькие стройные ножки, видные до изгибов, где превращались они уже в розовые округлости, туго перетянутые наискосок резинками беленьких трусиков, были головокружительны.

И мальчик облизывал пересохшие внезапно губы, и серая мутная волна поднималась из глубин, сильно ударяла в виски, и сердца его начинали биться вразнобой, а глаза его никогда не встречались, тяжело дышащие головы уворачивались друг от друга, трусливые ускользали глаза. И об этом мальчик не рассказывал родителям никогда.

У девочки была кудрявая головенка и разинутые на мир голубые близорукие глаза. Майка на груди уже чуть топорщилась, а из-под майки торчали сразу две попки, и обе двигались, пошевеливая толстенькими ножками, и увидевшие это мужчины останавливались, и нижние челюсти их падали на грудь. Потом они начинали по-собачьи делать глотательные движения и, тронувшись с места, долго еще натыкались на телефонные будки, фонарные столбы и автомобили. Мальчишки шли за ней следом, но даже не свистели, потому что рот не складывался в нужную фигуру. Так они и шли следом, засунув во рты пальцы с грязными ногтями, и по пальцам этим текла слюна. Это была такая девочка-чудо. То, что нельзя было даже представить, а она шла наяву, щелкая каблучками.

Она была просто создана для мальчика, потому что если он представлял из себя идеальный мужской треугольник, с двойным размахом плеч, то девочка была идеальным треугольником женским, с роскошным основанием. Увы! В этой тройственности их верха и низа крылось не решение, а нечто неразрешимое. И не было никого на свете, кто смог бы подсказать, что следует делать. Папа? Никогда! Папа мальчика ненавидел девочку, он называл ее монстром, поскольку она не просто демонстрировала миру

возможность преобладания низменного телесного начала над началом духовным — она полностью разрушала все его идеи коллективного выращивания, являя категорическое им несоответствие. Мама? Нет, мама считала, что мальчик принадлежит ей одной. Может быть, сама девочка? Может быть. Ах, если бы мальчик однажды выбежал на улицу и встретился ей на пути! Приблизился, чтоб подслеповатая девочка его разглядела. Но он был слишком послушным мальчиком, он не выбежал. И девочка незаметно однажды исчезла из поля его зрения навсегда.

Родители так и не поняли, почему мальчик вдруг захотел жить отдельной от них жизнью. Мама ночами плакала. Папа стал замкнут, брови его сдвинулись и с тех пор уже не раздвигались, глаза запали, под ними образовались темные мешки, ночи напролет он писал брошюру, в которой анализировал исключения, лишь подтверждающие торжество и справедливость защищаемых им правил. Мальчик стал жить один.

Он зарабатывал в своем НИИ деньги и все их спускал на пластинки. При зарплате 120 рублей и стоимости одной пластинки около сорока оставалось только на еду, но все ему было по фигу. Половину времени помимо работы он проводил среди потертой фарцы, вторую — слушая купленное. Академически завершенная, классически стройная, традиционно уравновешенная, размеренно симметричная, выбритая, одетая в черный пиджак с бабочкой симфоническая музыка не интересовала его. Зато совершенно наркотически действовали на него даже небольшие дозы джаза. Лишь свинговые обвалы, диксилендовый визг, виртуозные пассажи бопа, костяной скрип и хруст авангарда вливали небывалые силы в его члены, он собрал просто уникальную коллекцию по школам, по мастерам, чернорыночные тузы знали его и его небывалое собрание, он стал знаменит.

Когда же удавалось слышать ему живой джаз, кровь приливала к щекам, он задыхался, слезы показывались на глазах его. Он их не смахивал, идиотская улыбка плавала по его лицу, он переставал чувствовать мир. В поисках живого звука он ходил на концерты Алексея Козлова, хотя тот вовсе не был похож на его кумиров, он больше смахивал на врага народа, крадущегося к колхозному амбару с керосином в кармане, но мальчик прощал ему это, он даже научился свистеть, и даже иногда, вместе со всеми, тоненько вскрикивал: «Свингуй, Козел!» Он даже начал было следить за творческим ростом Мехрдада Бади. Но Бади как-то очень быстро свалил за бугор совершенствовать свое вокальное мастерство, и бугор проглотил Мехрдада, он растворился там без

осадка.

А тут уже по джазу ударил рок. Четыре вечера в Филморе Дэвиса потрясли мальчика, как видение четырех девочкиных ног. А рок не застрял в джазе, это чудовище вылупилось из джаза как из яйца и стало давить родителя. Рок вдруг стал всюду. Нет, мальчика пугал не миленький рок Битлов, а страшный рык рока Хендрикса, кончалась эпоха. Великий джаз умирал, и великое отчаяние леденило два маленьких сердца.

Когда наступал вечер, мальчик ставил на электрофон «Аккорд-001» диск Дэвиса или Паркера, электрофон его был подключен к квадрофону «Юпитер», промышленность создала его будто специально для мальчика, садился в самую сердцевину звука, ставил перед собой стул и несколько кастрюль, и едва начинали падать с четырех сторон первые звуки, он к ним ненавязчиво присоединялся, две ладони его, как на бонге, выводили по фанерному сиденью узорный мелкий щебечущий ритм, две другие руки с помощью щетки и ложки выбивали звенящие и шуршащие звуки из кастрюль, ноги били в пустой фанерный ящик. Он играл, ставя на полотно звуков те окончательные мазки мастера, которые превращали звучание в полиритмические шедевры. Он становился счастлив.

Мальчику на роду было написано стать пианистом. Его игра в четыре руки наверняка стала бы вехой в истории музыки. И родители мечтали отдать его в музыкальную школу, и педагоги ее мечтали заполучить удивительного мальчика, чтобы вырастить из него вундеркинда. Мальчик сопротивлялся отчаянно. Он не хотел быть пианистом. Он хотел стать ударником и сидеть за сверкающей грудой барабанов, но класса барабанщиков не было в музыкальной школе, а упоминание о джазе расценивалось там как ругательство. Так мальчик пришел к своим кастрюлям и более уже не нуждался ни в чем.

Иногда он вспоминал о девочке. Это единственное, что можно было считать неудачей в его наполненной музыкой жизни. Со временем боль утихла, желание обратилось внутрь. У тел его появилась тайная страсть — думая о девочке, они начинали подглядывать друг за другом, ища в случайном взгляде, повороте, в неуловимых движениях намек на что-то сладкое и запретное, друг от друга скрываемое. Каждое туловище думало о девочке по-своему. Подглядывание накапливалось, и вдруг тела его начинали трепетать. И вдруг одно туловище, пораженное, отворачивалось, отворачивалось сильно, спиною, второе приникало к первому грудью, и вот уже руки копошились в волосах, губы дули в ушко, зубы тихонько покусывали мочку уха, потом руки сплетались, и как пропасть разверзалась, и они были

уже как одно тело. И мир становился пуст, невесом, исчезали земные силы.

Но иногда, и в последнее время все чаще, обычно во время вечерних прогулок, вдруг что-то случалось, будто внезапно начинал зябнуть один, а другой мгновенно воспринимал его дрожь, вдруг задыхаясь, теряя сознание, они начинали вырываться друг из друга, желая разорваться надвое. Не говоря ни слова, молча и сильно рвались они, нелепы и беспорядочны были страшные их рывки, бешенство охватывало члены, и руки наносили короткие страшные удары, и лица не уворачивались от них, рычали оскаленные пасти, залитые кровью, били клыками. И улица замирала, дома смыкались и темнели фасадами вокруг этого нелепого беспощадного поединка. Черными глазницами следили дома, как кружит, крутит, мучает страх и страсть свившееся многочленное тело. И чем гуще падала сверху тьма, тем страшней и беззвучней рвались они. И уже готовы были показаться из разверстого чрева розовые и синие навороты кишок, чтобы упасть на тротуар, быть растоптанными, но тут общие их ноги, слепо, спотыкаясь, растерянно начинали уносить тела куда-то в третью сторону.

С непроницаемыми лицами следили дома, как вдруг уносится это сплетенное в клубок страдание, зигзагами, в переулки, во дворы, и вот уже нет ничего. И на пустой улице, в воздухе будто висит неведомый след, невидимый неслышимый крик. Запах. Резкий, острый, как пот. Но и он постепенно выветривается, исчезает след, и улицы начинают приходить в себя, опомнившийся город вновь поднимает к небу глаза, тихо и немо, но что-то в нем каждый раз остается, осадком залегает в складки, и уже не покидает его тревога, маленький город на огромной земле, песчинка, прилепившаяся к ее огромному боку. Песчинка, через которую прочертилась мука.

И крошечная эта боль укалывает и дергает все огромное пузатое тело спящей земли. Ее беспокоит эта снящаяся ей зубная боль, притаившаяся болезнь. И спящее тело мира начинает ежиться, стараясь избавиться от этой колющей боли, раздражающей все нервные окончания, чешется лес, всхлипывают налитые водой впадины, под резинкой экватора зудят влажные экземы тропиков. И все быстрее крутится Земля, не в силах стряхнуть с себя этот измучивающий ее сон, и она уносится все далее в бездонную тьму, вращаясь, и голубоватое тело ее уже становится лишь точкой на черном покрывале неба, а потом исчезает в нем, растворяется, и вот уж нету ничего, как и не бывало. Лишь дух клубится над бездной, но вот и его повлекли куда-то какие-то важные дела, и его тоже нету, и нету вообще

ничего. Кода.

(Непродолжительные аплодисменты. Все встают и уходят.)

Я — памятник себе.
Мой постамент — игла.
Играю на губе —
Гудят колокола.

Мне невесомость — твердь,
Мое пространство — сон.
Ты открываешь дверь,
А я уж вышел вон.

Я бледен, как свинья,
Я зелен, как закат.
Я беден, как маньяк,
Как гад морской богат.

Тень на твоей стене,
Мерцая и скользя,
Шепчу: «Доверься мне,
Мне доверять низзя-а!

Из множества отрав
Ты — самая — в саду!
Среди кустов и трав
Сыграем в чехарду?..»

Едва ты скажешь «да»
На зов моей губы,
Исчезну без следа.
Из слов и из судьбы.

Хоть бы что-то стало с нами

Капитан на ней от бога —
Джон Кровавое Яйцо.
Словно жопа носорога
Капитаново лицо.

Песня

Руководитель метеослужбы при Господе Боге, назначая погоду на май месяц, оперся, задумавшись, указательным пальцем на г. Каунас, от чего там настала неслыханная жара. Народившиеся листочки проворно скручивались в трубочки, упаковывались в почки, почки улезали под кору. Ветер пустыни пронесся по городу, навевая мысли о плоских крышах, на которых сладко дремать, щуря глазки на Тегеран. Городом овладели истома и меланхолия, население переселялось в Каунасское море.

Литовские мужчины, женщины и дети, залитые по уши водою, познавали тихое счастье гиппопотамов, сомнамбулически обсуждали проблемы мелиорации, беспечно наблюдая за воспарением окружающих вод, что уносились бесследно в бездонные небесные сферы, обнажая берега, мели и само население, которое невозмутимо отступало вслед за морем в неведомые дотоле глубины, все далее от города и цивилизации, что все еще бурчала водопроводами в оставленных на берегу домах, фыркала кранами, тщетно пытаясь выдавить из них исчезнувшую влагу.

На пустынной Лайсвес, заметаемой песчаным ветром, сидел старик в штанах с золотыми лампасами, майке с надписью «Монтана» и, пропуская такты, играл на корнете «Сан-Луи блюз». Увидев меня, он стал кивать играющей на трубе головою.

— Лаба денес! — сказал я старику. — Добрый день!

С пробочным звуком он отклеился от корнета, который совершенно самостоятельно доиграл квадрат, и голосом Луи Армстронга прохрипел: «О! Йе-э-э-ссс!»

— Глаза бы мои, — радостно откликнулся старик, — на этот день не глядели! Знаете, меня не увлекает счастье сегодняшнего дня. Я зову сюда тучи, но тучи забыли мою бедную родину. Над нами вечно сияет безоблачное небо. Нам уже нужна гроза! Вам не кажется, что нам слишком хорошо? И когда наконец это кончится? Или я так и умру, нежимый солнцем сегодняшнего дня, не услышав громовых раскатов? Скажите, вы русский или советский человек?

Он явно заманивал меня на футурологический диспут, он меня задирал, ему откровенно было наплевать на мою бедную больную голову, которая, развалившись надвое, лежала сразу на обоих плечах. Корнет пел абсолютно независимо: «I hate sunset, when evening sun go down…» Уши мои, свисая с плеч, как эполеты, слушали пение стереофонически.

Голова раскололась ночью. В левой половинке что-то булькало и пучилось через глаз, в правой трещали искровые разряды, пересохшие обескровленные сосудики скреблись друг о друга. Засунув пальцы в рот и побалтывая ими по язычку в горле, я безуспешно пытался вызвать наружу нарывавшую материю, она сопротивлялась отчаянно, ей нравилось оставаться внутри и там извиваться, резвясь и играя. Под средний палец попадали связки, они надувались, опадали, гудели, как контрабасные струны, грудь резонировала: ба-ба-ба! — низко и бархатно.

Я валялся на койке у окна; напротив, у двери, лежал рыжий мужик в бороде, сапогах, шапке, полушубке овчинном, с топором за поясом. Но в галстуке. В одной руке он держал засаленную книжку, которой время от времени, подчиняясь слышимому лишь ему ритму, похлестывал по голенищам, в другой — пластмассовый пакет с сухариками, такими черненькими самодельными сухариками из корок, огрызков, крошек. Он распахивал пасть, охваченную пламенем бороды, кидал туда черный сухарик, и тот взрывался под его сверкающими зубами, как петарда.

— Я — кандидат наук, — объявлял мужик непреклонно. — Понял, нет? Я книги читаю! А был я такой вот, вроде тебя, алкоголик. Но мысль ко мне пришла. Отчего все вокруг кандидаты? А я не кандидат? — Задумался надолго, загрустил, заплакал, воспрянул, метнул сухарик, разгрыз его как булыжник, прошелся книжкой по сапогам, груди и колену. — Вот скажи мне, зачем человеку философия? Слова наши, а смысла нет. Темнят. И я загорелся: я ее защищу! И я ее защитил! Я русский человек! С тех пор начал книги читать. Ты Першина читал? А вот он, Першин! — Мужик нанес Першиным страшный удар по голенищу, отчего листы рванули из переплета врассыпную, как голуби на площади, один завис над шапкой, видимо растерялся, мужик сгреб его, выбросив лапу, как кот, сунул обратно к товарищам. — А еще есть Пикуль! Слышал? Ну, ты серый! Это великий русский писатель наших дней. Полтора года за ним на очереди стою. Пока еще не довелось. Да-а. Ты хоть в библиотеку-то записан? Запишись, а то так и пролежишь на койке. Ты зачем сюда приехал? Нет, у меня задание, а вот ты зачем? Не можешь сказать! Ну, ладно, живи. Но поселили нас с тобой! Литва,

ёптыть! Два рубля койка, а телевизора нет! Это сервис? Обман везде. Везде! Ты приглядись, все нас дурят. Дурят русский народ! Но у меня глаза открылись. Я пристально гляжу. И вижу: плохо здесь, плохо!

— А где хорошо?

— А в крематории. Там в номер, начиная с рубля, полагается телевизор. Приходишь — он уже стоит.

— В крематории-то зачем телевизор?

— Так. Ты уже дошел. В Кра-ма-торске, город такой. Спи, ночь давно, а ты никак не угомонишься, спи! А то дежурную вызову.

И тут же он как-то так уютно повернулся и захрапел: рявкнет, трель соловьиную пустит, зальется, защелкает, помолчит, заслушается, в восторге, как чайник забулькает, зашипит, вдруг подскочит, пасть отворит, сухарь туда — ап! — зубами его — хрясь! осколки брызнут — упадет, и снова рявкнет, и — соловьиная трель. Так мы с ним малой группой, я — контрабас и, пятками в судороге, ритм-секция, он — соло, импровизация, — отличную сооружали до утра композицию.

И вот иду я по Лайсвес, а навстречу мне дорогой мой друг Лаймонас Некрошюс, биолог, генетик, немножко этолог, чуть-чуть бихевиорист, большой ученый, тощий, носатый, белобрысый, штаны на нем фирменные, но сзади — мешочком, как у метателя ножей из «Великолепной семерки», и заплаты на пикантных местах. Сразу он все понял и сразу все мне объяснил. «О! Видишь ли, — сказал мне Лаймонас Некрошюс, вращаясь в своих штанах, — в прежние времена, это там, далеко, люди не страдали так от того, от чего ты сегодня имеешь нечеловеческий вид. В прежние времена они вводили в себя вещества даже на молекулярном уровне привычные организму. Организм реагировал по-всякому, одно его, как это, взбудораживало, ты понимаешь, другое утихомиривало. Но он усваивал все — без вредных последствий. В наши времена люди вводят в организм химические соединения, незнакомые природе. Ага! И организму это совсем не нравится. Он начинает с ними сражаться. Он их выгоняет прочь, понимаешь? И в этой наряженной борьбе он забывает сам себя, он теряет ориентацию, его, как это, колышет, да? И здесь хитрый человек начинает воспользоваться — так можно сказать? — этой страшной борьбой и испытывает новые удивительные ощущения, и он, как это, ловит кайф. Да, ты понимаешь. Скажи, что ты вводил, и я скажу, какой у тебя кайф».

— А ты, Лимонас Некрошеный, — сказал я, умирая, — скажешь, чем это излечить? Потому что мой кайф какого-то совсем особого рода, как бы мне не помереть от этого кайфа.

— Тебе не помешало бы немножко знать философию.

— Не-ет! Всю ночь ее вводили в меня большими дозами.

— О! Может быть, поэтому?

Какие все-таки бывают на свете замечательные интеллигентные ребята. Все они знают. Это они придумали утешение: вскрытие покажет.

— Спаси меня, Лимонас, дай мне таблетку седалгина, попроси у знакомых, ты же всех здесь знаешь.

— Так вот, если бы ты знал философию (О господи!), ты бы догадался, что за все на свете надо платить. Человек, испытавший кайф, расплачивается за него наутро.

— С тобой я расплачусь прямо сейчас. Сейчас я тебя придушу и словлю новые удивительные ощущения!

— Молодой человек! — сказал, вылезая из кустов, старик с корнетом. — Так вы тоже не испытываете счастья от сегодняшнего дня? Боже мой! И я уже так рад, что с вами познакомился.

— Могу и обоих! — сказал я вяло, кое-как удерживая ладонями расползающиеся черепки головы.

— Ах! — закричал старик. — Ну, догадайтесь же, наконец! Вы же именно тот, кого я ждал! Я вас чуть-чуть не пропустил мимо. Я понимаю, ваша голова помешала вам… Или, может быть, вы передумали? Изменились планы? Нет? Тогда я уже просто должен помочь вам, замечательный молодой человек.

Он отбросил содрогающийся от голубых нот корнет на скамейку, где тот совершенно зашелся, забрызгал слюной и завопил голосом Лиззи Майлз: «It’s rainy day!..» — от чего старик подпрыгнул, как исполинский кенгуру, помчался куда-то сломя голову, после чего моментально вернулся и протянул мне бутылку кефира.

— Это даст вам силы для сегодняшних подвигов! — произнес он торжественно и щелкнул каблуками. — Увидимся сразу после. Буду счастлив.

Корнет за его спиной рявкнул кладбищенскую: «But didn’t he rumble?»

— Пст, дурак! — шикнул на него старик. — Успеешь еще!

— А вводил я вчера, — булькая кефиром и ощущая, как склеивается голова, сказал я Лаймонасу Некрошюсу, — кстати, вместе с тобою, обычную водку.

— Литовскую, — поправил он меня. — Ты просто ее еще не освоил. Тогда знаешь, может быть, попробовать клин клином? Пойдем-ка мы с тобой на площадь Ротушес, в тот самый подвальчик. Там так прохладно. Там сейчас — никого. Город пуст, ты не заметил? Если мы там и встретим человека, это будет,

наверное, совершенно свой человек.

И мы отправились, солнцем палимы. И старые в трещинках стены, и ветер, змейками гнавший перед нами пыль, и фиолетовое свечение воздуха — все это была наша дорога. И я увидел, как Гинтаре переходит улицу, тоненькая Гинтаре, прозрачная, как японская бумага, и ноги ее ступали на спинки пылевых змеек, не сминая их, и волосы ее чистые — ручьями сбегали со лба.

— Стой, Некрошюс, — сказал я. — У меня вроде бы начинаются глюки.

— Гинтаре! — заорал Некрошюс, и штаны его дважды и трижды обернулись вокруг тощего зада. — Иди сюда, ты видишь, он совсем дошел, его сосуды сбесились от этой идиотской жары.

— Вы куда, мальчики? — спросила Гинтаре и коснулась ладонью моего лба. И прохлада ее прозрачной ладони вступила в мозг, он, как сахар водой, пропитался ею, и растаяла твердая угластая боль, и мутная пленка расползлась, истлела, движением век я смахнул ее с глаз, и мир засверкал вокруг как новенький гривенник.

— Я веду этого несчастного на площадь Ротушес, не хочешь с нами, там сейчас хорошо.

— Я приду попозже.

— Обязательно приходи, мы будем ждать! — кричал Лаймонас Некрошюс, великий философ, вываливаясь из своих штанов, и голос его гугукался в пустых переулках, пропадая.

— Некрошюс! — сказал я ему. — Но ведь она умерла. Ее же нет давно.

— Кто умер? — спрашивал меня Лаймонас Некрошюс, поддевая щекою спадающие очки. — Ты что, не видел ее только что? Пойдем, пойдем, она скоро придет, мы должны быть в форме.

В мрак и холод спустились мы по ступенькам, в зеленую глубину, отдавая принесенное тепло, теряя его с каждым шагом. Внизу были свечи, янтарно светились бутылки, тут собралось довольно много народу. И мы немножко выпили, чуть-чуть, чтобы клин клином, и я сидевших стал узнавать.

Интересная подобралась компания. Высокий человек в чалме со шнурочком усов, у подбородка кончавшихся кисточками, в летной форме с нашивками пилота первого класса, правая нога без башмака, он положил ее на бедро левой параллельно полу, пяткой уперев в пах, расслабленные руки ладонями вверх на коленях, глаза открыты и недвижны, дыхание отсутствует. Э-э-э! Это его лицо проступало на одном из ее ежевечерних рисунков пером: кружево рамки, часто мадонна в левом верхнем углу,

иногда намеком — линия щеки, прядь волос, пламя свечи, пальчики младенца. Четыре строчки стихов. И бегущие через листок линии, которые складывались в нечто странное. Он привез ей те браслеты — кисейное серебро, лежащее на запястьях и щиколотках как паутина, как тень. Он прилетал в Москву, она приехала туда на неделю, там у нее были концерты, они встретились в гостинице. Три прилета: Дели — Москва, Дели — Москва, в третий раз он привез ей браслеты.

Слева от него итальянец пьет кьянти, наливает себе непрерывно, руки его, как летучие мыши, стригут воздух перед недвижными глазами индуса, оживленная беседа, тет-а-тет, выпьем еще, браслеты, такие кружевные кандалы, о мадонна! А если плеснуть кьянти в ваши гранатовые глаза? Что там сегодня показывают, в нирване? Текучие, как вода, волосы? Итальянец и увез ее, наконец, почему итальянец? Она так любила Литву, да, но он же — католик, ах, вот оно что! Но как же сеньор де Перальта? Ах, этот мальчик из Манагуа? Да, она любила его на том фестивале. Но он же не говорит по-английски! Э-э, знаете, те слова, какие нужно, он прекрасно говорит, вы считаете этого недостаточно? А эта манера купаться ночью после концерта, в чем родила мама, на глазах у публики! В этом что-то есть? Ну, у них, видимо, так принято в этих мангровых зарослях, ночью, после дела! Буэнас ночес, сеньор де Перальта! Вернее, бу-энас диас! Это вы перебираете струны желтыми, как лунные лучи, пальцами, ваше дыхание будит в тростинках флейты тихие стонущие вздохи, это ваши глаза каминными углями сверкают в углу, глаза, подернутые пеплом? Пор фавор, садитесь к нам. Как ваша революция? Вся ли сельва захвачена? А что говорят наркобароны? А-а! Ну, не расстраивайтесь, старина! Ту эстас омбре бьен!

Мы все здесь свои. Вон тот треугольный человек в бороде, как в салфетке, писал ей небывалую свою музыку. Он долго болел ею. Кем? Сейчас уже трудно сказать — музыкой или певицей. Он серьезный человек и никогда не разделяет своих увлечений.

А вот тот господин неопределенного возраста в мешочках по всему лицу — ее открыл, он открыл ее совсем маленькой, ей было четырнадцать лет, он увез ее с собою, от папы с мамой, он ее украл и научил всему, в койке тоже, он сделал ее звездой, в пятнадцать лет она пела главную партию в его рок-опере. Нет, он не композитор, он, как это, директор.

А кто тот, слева, вовсе незнакомое лицо? Склероз! Впрочем, не волнуйтесь, сеньор де Перальта, уверяю вас, мы все здесь свои, и этот брезгливо усмехающийся незнакомец — тоже в доску свой, только я не помню, был он раньше или позже.

— Джентльмены! — сказал я, вставая, — подымем бокалы,

содвинем их разом! В этот жуткий полдень мы собрались в этом благословенном месте. В этом Монрепо, с целью введения в себя веществ, вызывающих отлов кайфа. Мой друг и философ Лаймонас Некрошюс присутствует здесь специально с целью определения натуральности вводимого, это очень важно для науки и для защиты окружающей среды, мы ведь с вами в некотором роде тоже были какое-то время окружающей средою, не так ли? Правда, после того, как нам нечего стало окружать, мы в общем-то потеряли право так называться. Зато как окружали мы ту, которую увезли от нас наконец за железный занавес (все время ее кто-то уворовывал, черт знает что!), ту, имя которой соединило нас, представителей различных народов и государств, здесь, на ее маленькой родине. Я внятно излагаю?

— Что ты несешь, босяк? — зашипел Лаймонас у меня под локтем. — Посмотри туда.

Я посмотрел и увидел Гинтаре, которая вынырнула из мрака возле стойки и очутилась рядом точно так, как тогда, и, махнув всем рукою: привет, котята! — присела на краешек стола, как бабочка, и платье росою лежало на ее розовых коленях.

— Тебе так необходимо паясничать? — спросила она меня, взглядывая искоса и снизу. — Ну-ну.

— Еще как! — сказал я. — Ау, джентльмены! И вот убедительное доказательство того, что соединенные вместе воспоминания материализуются. Здравствуй, Гинтаре, мы приветствуем тебя здесь, на твоей маленькой и т. д. (Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают. Возгласы: «Привет, старуха!», «О, ми амор!», «Оу воу!» и т. п.)

— Прошу садиться. Гинтаре, ты позволишь продолжить мое небольшое вступительное слово, переходящее в продолжительное, ввиду того, что отсутствие в происходящем смысла вынуждает меня прибегнуть к ряду умозаключений, одно из которых состоит в том, что в те поры там, далеко, по изящному определению нашего друга и специалиста Лаймонаса Некрошюса, и вне зависимости от наличия той, которая, то есть тебя, старушка, мы что-то означали. Я подозреваю даже, что и самое твое появление в жизни каждого из нас было знаком того, что мы чего-то стоили. И ведь правда, это что-то было в нас, джентльмены, что-то мы обещали, кому-то, но в какой-то момент что-то щелкнуло, и мы перестали обещать.

Возможно, некоторые со мной не согласятся сразу, поскольку их достижения зафиксированы различными учреждениями в качестве несомненно имеющих быть, непреложно и на веки веков вещей, но положим руки на наши слабо бьющиеся сердца, сами-то мы, ну, по-честному, джентльмены, сами-то мы так ли уж твердо

убеждены в нашей необходимости?

— О'кей! — сказала печально Гинтаре. — Делай свое сообщение, дурачок. А мне пора.

— Тебе не интересно?

— А я и так все знаю. Так что уж порезвись. Чао! — И она истаяла, оставив после себя пятно инея на столе и слабый запах озона.

— Пусть! — заорал я, вырвал бутылку из руки итальянца, налил себе двести грамм кьянти и выпил большими глотками. — Продолжим, потому что не знаю, как вас, но меня, джентльмены, страшно занимает вот тот самый момент, когда что-то щелкает и свет погас. А до этого горел и, казалось, много чего освещал. Я возвращаюсь назад, и иногда мне кажется, что что-то этакое ощущаю, как крыло бабочки между пальцами. Но я не хотел бы мучить вас далее разнообразными реминисценциями, тем более что, как может засвидетельствовать и мой замечательный друг Лаймонас Некрошюс, я являюсь весьма фиговым истолкователем всего. Поэтому лучше я расскажу вам историю, которая, мне кажется, может проиллюстрировать то умозаключение, которое я тщетно пытался вам изложить. Уф!

Индийский пилот закрыл глаза, сменил ногу и сделал брюшной очищающий вздох. Итальянец наполнил бокалы. Все придвинулись ко мне, Карлос де Перальта из Манагуа взял несколько глубоких аккордов, притушил струны рукою и нежно посвистел на своей флейте. Музыка смолкла, и я отворил рот:

— Джентльмены! Это было давно, хотя это и не имеет значения. Жизнь, как это с ней время от времени случается, отвернулась от меня, надо было уходить в леса и там, в единении с природой, пробовать вновь обрести утраченное равновесие.

Господин пилот первого класса открыл правый глаз и повернул его в мою сторону. Карлос де Перальта взял еще несколько глубоких аккордов.

— Мои друзья — а у меня тогда еще были друзья — где-то по случаю, это было нелегко и в те поры, достали мне путевку в один из тех приютов в горах, которые в свой золотой сезон собирают нашу замечательную золотую молодежь. Был разгар лыжного катания, и отборные мальчики и девочки в одеждах из надписей и наклеек остервенело носились по горам и прожигали свои лучшие годы в окрестных питейных заведениях, поскольку катание отнюдь не являлось главным пунктом программы. Соответствующая экипировка была необходимым пропуском в коловращение здешней светской жизни. Я такого пропуска не имел.

Ноги мои не были вбиты в жгуче-черные с темно-красными

вырезами, золотыми надписями и стальными застежками ботинки «Ланж», стоящие на лыжах «Плюм» с помощью креплений «Саломон Алле». Мои руки не сжимали палок «Керма», а наглую физиономию не скрывало голубое пластиковое забрало.

Мой пропуск был выдержан принципиально в ином ключе. Простенькая, но со вкусом телогреечка, с отпоротыми спереди и сзади номерами, закапанная цементным раствором и подпоясанная брючным ремешком от дяди Юры, ватные штаны, подшитые валеночки с галошами от дяди Мати, охотничьи лыжи «Мукачево», ребра которых окантовывали фирменные дюралевые уголки от отдела «Юный техник» магазина «Пионер», заточенные рашпилем, изготовленным в цехе ширпотреба Подольского завода механических приспособлений.

Естественно, я слопал их всех, одного за одним, еще когда поднимался в гору, пренебрегши подъемником, куда меня все равно бы не пустили. Они не ржали, не делали вращений пальцем у виска, эта публика видела все. Меня они еще не видели, но не подавали вида, потому что оценили грандиозность предстоящей потехи.

Дело в том, что когда такое растение ползет вверх по горе — это семечки. Оно способно безо всякого подъемника забраться высоко-высоко, гораздо выше всех похвал. Оно лезет и лезет, упиваясь собою, не предполагая, что наступит миг, когда надо будет повернуться задом наперед и обнаружить, что теперь надо как-то попасть туда, откуда выползло. Иначе придется поселиться здесь навеки, постепенно дичая и обрастая шерстью. И когда я повернулся, все замерло на склоне, все остановилось там, внизу, все смотрело на меня, понимая, что миг прозрения наступил.

Я был удовлетворен. Я озирал горные цепи. Долины, вершины. Кавказ подо мною. Один в вышине. Я памятник себе. Потом я съехал.

Я продемонстрировал им единственный широко известный мне горнолыжный прием, который никто из собравшихся, на своих экстралыжах и в суперботинках ни за какие шиши не согласился бы повторить. Я пошпарил вниз по прямой.

Любимые, они не подумали, что у меня не было выбора, но у меня был шанс. Вот этот. У них масса безопасных шансов друг дружку давить. Поэтому я пошпарил по прямой. На могучих своих снегоходах. На Чуке и Геке. Полы ватничка маскировали маленькую хитрость — временами я просто сидел на лыжах, как на санках. Глаза я зажмурил и поэтому не видел, как прыгали в стороны гиганты фигурного слалома, я даже визга их не слышал. Когда свист в ушах прогнул барабанные перепонки внутрь черепа и они уперлись одна в другую, я решил, что насладился довольно.

Я открыл глаза, сквозь пленку от слез обозрел предстоящее пространство, выпрямил ноги и лег на левый бок. Больше я сделать ничего не мог, за меня старалась аэродинамика. Я видел, как лыжи несутся справа налево, забирая вверх по вертикальной снеговой стенке, огораживающей край нижней площадки. Далее мне предстояло, кружась, улететь в ближайшее ущелье, чтобы стать местной легендой.

Но это несколько превосходило мои намерения. Я полагал в те времена, что с таким жестом торопиться еще рановато. Дабы не искушать судьбу, я вывернул мои снегоступы как можно более вниз, после чего воткнулся в снег пятой точкой. Оставленной ею борозды, подумалось мне, вполне достаточно, чтобы считаться достопримечательностью здешних мест, ее я и решил подарить им на память о своем подвиге. Погасив инерцию, простенько и уютно я впаялся в гребень намета.

Я еще посидел задумчиво, поскольку сразу, между нами, джентльмены, поднять себя на ноги было мне нечем: вся жизнь моя ушла в эту точку контакта и намертво вцепилась в гребень, и не сразу расслабилась и вернулась обратно.

Когда я уходил, шелест потрясения догнал мой слух. Лишь один завистник, скрутившись восьмеркой от желудочной зависти, прошипел своей ярко-желтой даме: «Чепуха! Все рассчитано. Классический шюсс. Я видел в Швейцарии парня, который вот так же съехал в бочке. Как всегда — через пять лет дошло до нас, и вот…» Ну-ну.

Когда вечером я вошел в питейное заведение, меня уже узнавали, столик нашелся мгновенно, подогретое вино было подано без спросу, но долго никто не решался сесть со мной. Потом все надрались, стало мутно от дыма, никто уже не обращал повышенного внимания на мою гимнастерочку со стоячим еще воротником и сигареты «Дымок».

Но я ошибался, джентльмены, полагая, что вот так, ненавязчиво, весь, с содержимым и содержащим был наконец ассимилирован окружающей средою. Когда я захотел подвинуть стул, чтобы возложить на него ноги, обутые в кирзовые ботинки «Турист», стул подставился сам по себе. Я не поверил сразу, я недоверчив от природы, и я уже нарочно протянул руку куда-то вбок, не глядя стряхнуть пепел — и попал в подставившуюся с такою же готовностью посудину, я повернул голову в сторону заоравшего у стойки молодца, и здоровенный мужик, загородивший спиною зону осмотра, мгновенно был отодвинут в сторону чьей-то мощной угождающей мне рукой.

Да-да, джентльмены, именно так все случается. Не меняя выражения морды лица, не шелохнувшись, медленно-медленно

обвел я глазами окрестности и обнаружил, что окружен молчаливыми, очень большими мальчиками, сосредоточенными на выполнении моих желаний. Более того, в малоподвижных глазах их я прочел все свои предстоящие штуки, вернее, тот набор, который они предполагали для выполнения.

Меня и не их готовность поразила, а именно это вот знание, которое и одушевляло квадратные лица, будто сбылось наконец то, чего обладатели квадратов с ушами ждать уже устали. Уж и не надеялись, что случится. А случилось. Атас! Глаза их вспыхивали зеленым и красным волчьим огнем. Я случайно плюхнулся на пустовавшее место.

Хорошее место. Поверх голов. Это превосходило мои намерения. Но! Некий черненький чумазенький гаденыш защекотал меня изнутри. Не знаю, как он здесь образовался, что делал вдали от трасс и огней, может, нечувственно я сам подцепил где-то эту заразу и завез в заповедное место. Мелкий, не бес даже, мелюзга такая, мохнорылая, затормошился, лапки запотирал. Весело стало мне, джентльмены.

Вы когда-нибудь были паханом, сеньор де Перальта? Ну, как у сандинистов это называется? Команданте? Нет? Недостало подвигов для революции? Жаль! А вы, господин пилот? Ты — Лаймонас, не был паханом, я знаю, у тебя другое назначение. Ты родился преграждать пахану дорогу. И стоять на дрожащих ножках, с пересохшим ртом, вытаращенными глазками перед ним и его кодлой деловитых, все уже видевших мальчиков, все, кроме букашки, поднявшей восстание против асфальтового катка. Они, конечно, могут провести широкой грязной поганой ладонью по твоему обострившемуся, облившемуся потом лицу, могут раздавить негнущимися пальцами очечки на твоих глазах, но вовсе не потому, что мученьице — их развлеченьице. Нет, они естествоиспытатели. Они изучают твои реакции. Такая букашечка, которую ничего не стоит размазать, такие у нее хлипенькие перепоночки, так трясет ее паника, а что-то внутри мешает ей умчаться, втиснуться в щелку, замереть, забыться, заснуть и видеть сны. Вместо этого встает и встает она на задние лапы поперек пути немереной силы, заметившей в восторженном изумлении эту фантазию насекомого. Они не смогут догадаться о смысле твоих телодвижений. И аккуратно растирая твое перепончатое тельце, скатывая его в комочек, задумчиво усмехаются они причуде жизни, выверту ее, рождающему таких уродцев.

Вот как вышло. Телогреечка ли моя с отпоротыми номерами, наглость ли, с которой были проделаны несложные владыческие жесты по отношению к здешней публике, что еще? В общем, так

сказать, синергизм ситуации подсказывал им, что можно поднимать черный флаг. Они ведь тоже явились в это пресное место не на лыжах кататься. Такой предполагался всеобщий оттяг.

Уверяю вас, джентльмены, в мои планы вовсе не входило связываться с какой-нибудь шпаною, все, что я делал, я делал только, чтобы больше меня здесь не трогали. Клоун на обочине. Свой собственный сумасшедший. Но, видимо, образовавшаяся во мне тогда энергетика измерялась киловольтами, потому воздух возле дрожал, и позванивал, и колол, обещая дать в лоб и сжечь. Вот это они очень хорошо чувствуют. Опасность, которой пахнет человек, когда ему терять нечего. Запах непредсказуемости. Тут ничего мне и придумывать было не надо. В конце-то концов.

Да о'кей, ребята, подумалось мне, не хочется вас разочаровывать, это я еще успею. «Что, волки!» — сказал я ожидаемым ими голосом, показывая, что заметил их наконец и до них снизошел. И они оскалились в застенчивом преданном смехе, и клыки их, влажные от слюны, готовно блеснули, и я увидел, что если сейчас врежу любому по этим мощным зубам, он лишь радостно лизнет бьющую руку.

Как вы заметили, джентльмены, существо я мрачное и торжественное. Не надо бы мне веселиться и щекотаться. Я ведь понимал, что, если послушаюсь гаденыша, он сам со мной, конечно, не справится, нет, он свистнет товарища поздоровей.

Что он и сделал моментально, едва я кивнул ему внутренней головой, подтверждая готовность вступить в игру. А кивнул я, нет, не потому что пустился по течению, а оттого, что, как это и случается, возникло вдруг обстоятельство, которое меняет дело. Вот и кивнул.

И сразу серой запахло. Это вместо малютки-наводчика образовался уже серьезный мерзавец.

И он немедленно влил в мои руки настоящую власть: как на упругий невидимый шар, на воздушную подушку легла ладонь. Я потянул руку вверх и обнаружил, что невидимый студень тянет она за собою из самой почвы, а в нем вся тяжесть земная.

Тяжкий гул, родившийся где-то наверху, хлынул в подвал, дрогнули лепестки свечей, что-то случилось там, на земле. Ветер наверху ударил дверью, впустив отзвук происшедшего, он сполз в подземелье и заполнил стены. Воздух заискрил, защипал глаза, пустая бутылка покатилась из-под стула итальянца. Официант, осевший у стойки, как кем-то брошенное пальто, ожил вдруг и, оттолкнувшись, заскользил, вихляясь, на своем скейтборде, с креном проходя мимо нас, наполнил бокалы, сделал восьмерку, с ускорением помчался обратно, крутанул на 180 градусов, доска

встала на дыбы, бешено вращая колесиками, опал на стойку и застыл темной одежной грудой.

— Ты продолжай, — сказал Лаймонас, подкидывая щекою сползающие очки. — Никакого дождя не будет, это так каждый день. Продолжай.

Никто из сидевших не пошевелился, только Карлос де Перальта, сняв гитару с колен, поставил ее в угол, струны тихо откликнулись и затухли. Фиолетовые искры озаряли мертвое лицо первого пилота. Глаза его были закрыты, он не дышал. «Давай-давай, Иван!» — сказал итальянец.

— Даю! — откликнулся я и снова увидел горы и сосульки на крыше сарайчика, и солнце прильнуло к голому пузу, и пружинили полозья лыж, на которых лежала спина, и мутные тучи клубились в ногах, сизая вата, в которую предстояло нырнуть, чтобы спуститься на землю, минута мрака и сырости — и вылетаешь на серпантин, который, раскручиваясь, выбрасывает тебя на площадку перед рестораном, вот и земля, а счастье осталось за облаками…

— А дело в том, джентльмены, что в тот самый момент, когда я жевал внутренними губами, заведя очи горе, явилось новое действующее лицо: на лестнице шапка мелькнула, вспышка меха, белое пятно под ним, тени глаз на нем, тоненькая фигурка в свитере. В общем, все, что надо для первого появления.

И все оборотилось туда. И замолчало. И закричало, затопало, забренчало, запело, заскулило, поползло, заплясало, зашептало, захватало, захрюкало, заграбастало. Как-то они все на одного. На одну, то есть на новенькую. Свинство какое, и будто уж никаких дам вокруг, впрочем, к дамам своим они, видимо, пригляделись, а тут показался приз.

Потому что такое это странное было создание, что с первого взгляда становилось ясно: в этом ясельном возрасте никаких проблем и предрассудков. Кто первый застолбит, того и горка. И немедленно в койку! И при этом, точней — сразу после этого, все с нее тут же осыпется, вся дактилоскопия, слюни, сопли и мешки с перепою синие, все, что другую пустило бы по миру, вплоть до выпадения из окна, седых волос и качалки в доме призрения, — от всего очистится она и освободится, и снова родится, как из пены морской.

Вы полагаете, джентльмены, что случай совершенно ясный, так и ведут себя дамы высокого класса проведения через любое общество? Так, что через минуту становится ясно, что — не любому, а — вовсе никому? Ничего и никогда? Нет, господа. Вот он, зевок в возбужденные лица, — именно достанется. Но не первому, и не второму, а черт знает какому. Черт знает, я — нет.

Потому что выбирает она по неведомым законам. И что за законы у нее сегодня под шапкой? Вот сейчас и немедленно этого вот захотелось — и дай! А расхотелось — среди самого клейкого трепа, когда вот-вот уже упадет в руки, и падает уже, и ладошки подставлены чашечкой, — остановится в воздухе, зависнет, и — на полуслове встанет, выйдет за дверь, и все, и более ты ее вообще не увидишь никогда.

— Это была она? — хрипло вскрикнул из своего угла треугольный композитор. В противоположном углу взвизгнул стул, на нем быстро выезжал неизвестный никому, но в доску свой человек, стремительно сближаясь с композитором. Противники остановились друг против друга.

Ветер ударил дверью наверху, сыпанул камешками в окошко под потолком, слабо светившее, пригнал и прижал к нему газету, притушив белесое дневное пятно. Два зеленых огня вспыхнули во мраке, это господин пилот первого класса открыл свои индийские глаза, в которых клубилась нирвана.

Пламя свечи прыгнуло вверх, отделившись от фитиля, проступили и потухли лица сидевших вокруг, паутинные тени пронеслись по изборожденному глубокими рытвинами лицу треугольного сочинителя музыкальных композиций и залегли в складках, как пехота перед атакой.

— У нее был голос, как у сопрано-саксофона, — сказал он свистящим шепотом. — Как инструмент, ему мешали слова. Мы играли «Плоды мандаринового дерева», во второй части у нее была импровизация… — Он вытащил из-под стола серебрянобликующий саксофон и заиграл быстрыми булькающими пассажами. — И тут я услышал, нет, не ее голос…

Человек в доску свой, но никому не известный, вскочил и заговорил, захлебываясь перед гласными, задыхаясь, то перекрывая саксофон, то теряясь в его закручиваемом, на визжащих шинах звуке, унисонируя:

— Ха! Ха! Ха! Он ус'алышал голос! Это н-н'э голос. Я был на том концерте, когда она первый раз з'апела своим голосом. Это бы-была отходная по тебе, д'урак с дудкой. Это сошедшая с ума п'атица в черноте. Она режет п'алотный ветер, сверху вниз, от плеча до паха, и крыло на волну, и уходит вверх-вверх, круто, растворяясь в ночи, в соленой пыли, и вдруг а-а! — несется совсем с д'аругой стороны, и снова ловит ветер впадинами крыльев, и сгребает его под себя, и сопротивляется воздух, тяжело, пот по лицу, и — выверт, перечерк и вверх, и — повисла в невесомости, изрезав на хрен пространство… (Саксофон взвыл, взлетел, бешено трепеща крылышками, выдохнул углекислоту, засипел.) Потом в'адоворот, тащат в разные стороны, рвут,

улыбается бессмысленно, красным пятном, что это было? Во мне все закричало, я должен был что-то сделать, укусить ее, чтобы развалившееся встало на места.

Треугольный композитор вырвал изо рта серебряный мундштук, выдернул инструмент из обмотавшей его бороды и закричал стеклянным голосом: «Я помню тебя, это ты хватался за нее, сопля! Я тебя сразу узнал! Это ты, заика убогая, ложноклассический павиан, стулом бил по потолку! Утерли тебя, утерли! Позаикайся у меня еще!»

Он рухнул за столик, уронил голову в свои мозолистые руки и глухо зарыдал. Все смотрели на него. Наконец он поднял мокрое лицо и промокнул его бородою.

— Я разлюбил ее тогда, — тускло и безжизненно заговорил он снова, рассматривая влажные ладони и по очереди вытирая их под мышками, — разлюбил не за то, что на нее бросался этот помоечник, а за то, что она сделала с моей музыкой. Вам этого не понять никогда, потому что ваши двухкопеечные лобики созданы для ношения морщин, а она горло мне перерезала от уха до уха, потому что я музыку написал, а то, что выходило из ее горла, была катастрофа. На Тех Же Самых Нотах! Как это возможно? — Он отвернул голову в сторону и высморкал большим и указательным пальцем нос свой. — Я жизнь продавил через эту мясорубку, я родил эту технику, она моя, я ее из себя высосал, вот из этих пальцев, — он сунул в рот пальцы, показывая, как именно он ее высосал, — мне не стало нужно даже и бежать, я, на стуле сидя, связками, костями проживаю бег, и вот уже крутит натянутые на суставы связки, и в кости вползает соль, и мясо наполняет молочная кислота, и я знаю, где и что надо перетерпеть, чтобы пересилить муку, и наконец, воздух сам входит в легкие, и ты подымаешься над стулом и паришь, и воздух колышет твои волоса. И усилием запредельным держишь ты это невесомое обалдение, и деревенеешь, силясь удержать утекающую энергию…

Он начал подпрыгивать на стуле, показывая воспарение, но, видимо, чего-то заело, он заплакал, промокнул бородою слезы и пот на лысине.

— …а она истончается. И отдираешь зад свой, и уползаешь в нору, собирать себя из лоскутов, чтобы когда-нибудь снова все повторить. И ведь догадывался я с самого начала, что в ней не талант шевелится. А вдруг заворочается, проглянет какая-то темная дрянь, беспросветная, думал — мнится, чудится, все от недосыпа и издевательств над телом. И я переливал в нее мое откровение, втискивал насильно, пусть она! А когда увидел, как подымает ее над головами оскалившийся голос ее, уходящий из

визга в ультразвук, где у нее еще пяток октав, для дельфинов, я-то знаю, и уже ушел звук, только горло напрягается, кожа выжимает влагу, и уже не ухо, но затрясшееся нутро лишь воспринимает эту вибрацию, от которой резонируют ребра, когда все слетело с нее, вся дрессура моя, все, что я в ней скрутил и поломал, когда показалась она сама, с этим своим страшным лицом, когда на дикости, на вое взлетела, дошло до меня.

И что — все мои годы, и муки, и плач ночной, и тайны звука, пронзающего мозг, — если не страданиями, не болью духа, но простым неандертальским нутром можно преодолеть самое закон?

Он схватил саксофон и обрушил на наши уши рыдающие каскады.

В доску не известный никому человек встал на задние лапы и еще на два метра возвысил голос.

— А-а-а! — возвысил он его, удерживая горло на месте рукою. — Она всех вас урыла, в'олки позорные! Это г'алас Божий! О конце вашем, рафинированные рундуки. И моем, потому что родился я в вашем стаде! Которое не в силах снести долю свою, а уже появились те, кого не мучает, почему и как. Тайны, учения-мучения?! Все — мусор! Тлен и прах! Именно животом, именно главное перестать дрейфить! Как это можно?! А вот можно. Почему так? А не знаю. Живот захотел, вот почему. И все! И я хотел сказать ей об этом, сказать, что так и надо, и пошли они все в жопу. Я хотел, чтобы она вспомнила вчерашний вечер, когда была пьяна, и я повел ее в номер, и зашел внутрь, она была как ангел, я взял ее в руки, и… — он закачался и спикировал на шепот, — мы стали… Как два Робинзона. Как два человека, грызущие тихо миндаль… А на другой день она меня не узнала, когда я подошел и взял ее руку в свои, она выдернула руку и сказала мне в ужасе, как какому-то приставале с улицы: «Вам-то что от меня надо?» О-о! Она ничего не помнила! Вот! И я тоже пошел в жопу! Так там и остался! Она ничего не помнит, ничего не умеет и не понимает, как все вертится. Она живет вдвое быстрее. И я хотел сказать ей… Но тут ее потащил этот аргентинец…

— Да-да, — вставив голову в ладони и раскачиваясь из стороны в сторону, замычал треугольный композитор, — она пошла с ним, и они ушли из зала, и шли торопливо, прижавшись друг к другу, и ее правая рука обнимала его за шею, а он схватил ее и за левую руку, боялся упустить. Потом они вернулись, но она даже не смотрела в мою сторону, я ей стал не нужен уже, они танцевали, наконец, так долго, что я ушел. А утром она подошла сама, и мы немножко поговорили, договорились как-нибудь

порепетировать, хотя думали, что все, ни мне, ни ей уже… Но все-таки, все-таки… И я спросил, ну все-таки, ну почему этот аргентинец? Она сказала: «Мне не нравится, что вы у меня это спрашиваете. Это противно, а мне хотелось бы вас уважать. Впрочем, если для вас это важно…» И я понял, что теперь-то уж точно теряю все, но раз уж все равно, то пусть я сволочь, я хочу знать. «Хорошо, — сказала она терпеливо и морщась. — Вас ведь интересует, с кем я спала? С аргентинцем. И еще был один мальчик, сандинист». И я повернулся и ушел, все время повторяя: ха! ха! ха!

— А-ха! — сказал Карлос де Перальта. — Она называла меня Карлито, потому что между нами была амор. Она называла меня Карлуша. А аргентинца называла Он. Просто он. Ей было неинтересно, как его зовут. Между ними не было амор. Она святая. Я написал о ней песню. Я полюбил ее, потому что я верю в революцию, я верю в Иисуса Христа, и в Деву Марию, и в мать ее Анну. Я пел эту песню товарищам. Сейчас всех их уже убили. Они умерли за революцию. Мне некому больше петь эту песню. Вам — мне не хочется, потому что вы говорите о ней, но ни у кого из вас не было с ней амор.

— Эх ты, буревестник! — сморщился треугольный композитор. — А она потом приехала ко мне, и все было так, как будто ничего не было. И та же посвященность друг в друга, и этот ужас обладания — и мы сделали еще одну вещь. И я подумал: и эту вещь она загубит! Но стало уже все равно. Я слушал, как она поет с фисгармонией, у меня дома стоит этот красный ящик, когда она увидела его, сразу села и стала петь. Голос, как зазубренная бритва и задыхающаяся вата фисгармонии под ее пальцами. И петь ей было все равно какой текст, она заглядывала в статью из журнала, случайно раскрытого рядом, и пела текст статьи, тут же подбирая мелодию и аранжируя. Пела, что ей приготовить на завтрак. М-мм! «И ку-со-чек кол-ба-сы!» — голосом Буратино спел треугольный композитор. — М-мм! Такого вы не услышите никогда.

— Ах, молодые люди, молодые люди! Я же уже говорил, что она всего-навсего испорченный ребенок, просто-таки у нее такая природа, чтоб вы знали, — сказал, слабо разводя руки, человек в мешочках по всему лицу. — Вас же сбивал с толку ее ненормальный голос. Слушайте, а кого он не сбивал? Я понимаю, вы художники, и когда в вас играют гормоны, вы находите им эстетическое объяснение. Вам это надо. Я же старый прагматик. Меня уже ничего не сбивает с толку. Я уже все вижу и скажу вам правду. Слушайте сюда. Там ничего нет. Если о чем можно говорить, так о sexappeal. Видите ли, у нее такое природное

устройство. И этого, между прочим, вполне достаточно, чтобы всех наколоть. На французские булавки. И ей уже придумают и все остальные таланты, которых и не росло. Все таланты ей придумали вы, молодые люди. Ну, скажите: помани она пальцем ваши возбужденные гормоны: сюда, сюда! — вы не побежите? Уже в четырнадцать лет в ней этого было вот по сих пор. Упаси бог, господа, что вы говорите, какая она ведьма, какая святая, что вы, что вы! Она просто сучка. Маленькая сучка. И это она меня увезла, клянусь. Это ужасная ложь, будто я ее соблазнил. Упаси боже и помилуй! А в койке она совершенно неинтересна, впрочем, кому я это рассказываю?! И, мое самое честное слово, я категорически возражаю против всеобщего заблуждения, будто я ее чему-то научил. Зачем мне это надо — ее учить, хотя я действительно умею кое-что интересного.

Пилот первого класса открыл оба огромных глаза. Зеленое пламя осветило угол, где он сидел. Пальцами левой руки он сложил мандалу и показал ее нам.

— Это я научил ее всему. Я пробудил ее кундалини. Она моя ученица.

Зеленое пламя погасло.

— Вот-вот! — закричал человек в мешочках. — Это она научила меня всему! А я-то еще удивлялся, откуда у нее это безобразие? Кундалини-мундалини! Вот, господа, что было в ней главное, а пение? Ну, пела, ну, манила к себе, все они нас манят, извините, это sexappeal, зов плоти, каждый зовет по-своему, как умеет. Сирены же пением заманивали Одиссея. Она пела, как сирена, вы не заметили?

Треугольный композитор хлестнул человека в мешочках бородою по глазам, после чего тот сел и сказал, отстраняясь от свистящей бороды и протирая глаза большим благоухающим платком:

— Простите, я никого не хотел обидеть, да и что теперь обижаться, когда ее нету больше, и теперь уже все равно не узнать никогда, кто из нас прав. Но я должен заявить, — крикнул он, быстро пригнувшись и заслонив голову руками от брошенного в него композитором саксофона, — я рад, что эта итальянская сволочь, разбившая ее на своем поганом «Харлее Дэвидсоне», расколотилась и сама.

Треугольный композитор прыгнул на него, они сцепились и покатились по полу. Никому не известный человек выхватил из-под себя стул и начал бить им извивающиеся тела.

— Оу! — распахнув пустые глаза, сказал индийский пилот. — Я слышал, этот бензовоз их просто расплющил. Удар в лоб. Итальянца разорвало на лоскуты. А от нее, вы слышали эту

подробность? — нашли лишь один глаз, он лежал на дороге, голубой глаз. Я когда-то целовал его.

— Как?! — спросил я в полном замешательстве. — Как его разорвало на лоскуты, когда он только что наливался здесь своим кьянти?

— Вам показалось, брат, никто здесь ничем не наливался. Его разорвало на длинные-длинные лоскуты.

Итальянца действительно нигде не было видно. Впрочем, и все они дрожали, качались, таяли. Видимо, снова я перебрал.

— Плюнь ты на них, — сказал Лаймонас, — рассказывай мне, я хочу знать, чем все кончилось.

— Догадаться не сложно, — сказал я, глядя в свой пустой стакан. — Потому что Гинтаре явилась. И все пошло наперекосяк. Мне сразу захотелось сверх плана натянуть пятак золотой роте, отобрать у них и этот приз, им всегда достается все, ну так в этот раз хрен чего они получат. Вот и кивнул головою. Поскольку знаю единственный надежный способ получить женщину — стать самым главным. Единственным в округе. Они всегда выбирают самое. Инстинкт. Увы, на определение этого самого нужно пусть небольшое, но время. Времени не было, в свалившуюся на меня силу надо было немедленно капнуть экзотики. Но это я умею.

Драка на полу прекратилась сама по себе. Противники в изнеможении расползлись и, шатаясь, поместились на стульях. Человек в доску свой глухо рыдал в стакан, стуча зубами о край его. Я продолжал, хотя никто более не поднимал на меня глаз:

— Ах, эти нарастающие и кружащие голову волны легкости, когда карты сами идут в руки, а бешеные собаки ложатся у ног, чтобы лизать ваш след, когда сдаются в плен буфетчицы и вахтеры! Среди всеобщего ора и потока приглашений, едва они ее засекли, я отворил пасть и потащил одеяло на себя. Через минуту все молчало. Еще через минуту ржало, валялось, прыгало, консонировало и диссонировало. Я орал песни, я, не глядя, отбивал остроты, я вставал на одно ухо и на бреющем проносился под потолком. Все дрожало от возбуждения, которое я производил. Все, что может человек, когда снова несется с горы по прямой. Тяжелая работа, согласен. Не всегда удается. Но на хорошем взводе, когда уже некуда деться, только вперед, только на линию огня, на амбразуру, на таран!.. Я честно отработал и, полагаю, поставил точку над палочкой. Расчет, конечно, был на то, что она решает сразу. Нет? Значит, мимо. В молоко. Но я угадал. Она засекла показанную ей мишень. Остальное, прости, Лаймонас, было делом техники.

Вечером я нашел свою команду в полном составе. Она блокировала угол возле бара, вышвырнув оттуда пару

неприкаянных одиночек, бармен тоже был наглой породы, а может, побаивался сытых. Я сидел, пошевеливая пальцем: принести-унести, подать-убрать, все совершалось. Тут у них еще до меня время от времени случалась такая вялотекущая подростковая игра в оздоровление атмосферы. Все мальчики из могучих семей, именитых, обласканных, сидящих на верху жизни, мечтают посвинячить, позабыв о гувернерах. Им хочется самим стать папами. И они друг на друге тренируются.

На девочек, примкнувших к команде, время от времени клал глаз какой-нибудь бедолага. Заглотавшего наживку урода мальчики выводили за дверь и там долго толкали руками и ногами, объясняя, как он не прав. С моим появлением бодрящая игра эта резко оживилась, в чисто спортивной забаве сразу обозначился идеологический привкус.

Кстати, знаете ли вы, джентльмены, какое волшебное правило нарушают почти все, напоровшись на шпану? Удивительно, но никогда они не начинают увечить вас просто так, ни с того ни с сего. Ну, если они, конечно, не собрались отобрать у вас кошелек. Всегда им нужно, чтоб не они напали на хорошего мальчика, а он, нехороший, вынудил их обороняться. Это правило работает и на пустыре. Ни один мордоворот, джентльмены, пальцем вас не тронет, если вы его не обидите. Впрочем, в этом он сам вам поможет. Он на колени к вам плюхнется, пригладит волоски ваши, скажет что-нибудь лилипутским голосом, все, чтобы вызвать эту дрожь отторжения, эти судорожные движения вырваться. На этом все ломаются. Говорите что угодно, джентльмены, но не пытайтесь поставить их на место. Делать так не следует никогда. Потому что сразу после Этого вас начнут бить.

Но это a propos. А в тот вечер урод у нас перед глазами образовался просто запредельный. Это был урод, прости, Лаймонас, твоей породы, не начальственного, а научно-академического происхождения, только рискнувший, в отличие от хитрого меня, прожить здесь с собственным голым фэйсом. Вот он и пробирался на голенастых ногах своих, дурацкая птица, надменно и горько озирая местность.

Лакомое блюдо. Потому что не выносит малейшего унижения. А униженное — теряет способность к сопротивлению сразу же. Глаза делаются белыми, члены трясутся, неповинующиеся, ум захлестывает багровая пелена. Гневающееся блюдо. Ничего другого не остается, как брать его руками.

Они не понимали. Они пальцем мне на него показывали, но бить себя самого, джентльмены? Пардон, мои саблезубые. Считайте, что это — моя доля, ее я оставляю на сладкое себе

любимому и съем сразу после ужина, утащив в угол, урча и чавкая. Воротники на них встали дыбом, но они отступили. И он продолжал бесстрашно бродить по вражеской территории, даже не ведая о том, какая непоправимая рычащая беда только что обтекла его хилые плечи и как слабо держалась на них суверенная головка. Он шествовал, как силовым полем огражденный моей незримой защитой, и на метр пусто становилось вокруг него. И его легкий флирт с одной из наших дурочек, и легкие поползновения во время старинным образом проводимого ухаживания, и попытки изобразить азарт в ходе пляса, такие разудалые телодвижения, имитирующие кайф, — все сошло ему с рук. Мне не сошло. В моей сплоченной банде появился сомневающийся. Сейчас он большой молодежно-международный начальник, недавно мы столкнулись в одном коридоре. Он меня не узнал.

— Командир, — сказал мне будущий начальник, усмехаясь половиной рта, — мы чего-то боимся?

Я потянулся, зевнул и сказал:

— Слушай сюда, хобот. Не дави ливер, ссучишься. И не надо брать меня на же. О'кей! Посмотрим, почем ты бегаешь. Сходим на гору, волки. И если ты не фуфлогон…

— На какую гору, командир?! Там же ночь.

— Ночь — волчье время. Что там, на котлах? Кинь халдею слюнявок. И запомни, утюг, — повернулся я к Усомнившемуся, — Бог — не фраер.

Текст подействовал. Они, погогатывая, потащились за мной. Набрали лыж, полезли в гору. Куда-то забрели. Я толкнулся с ближнего откоса, и меня понесло неведомо куда. В голове шумело, было хорошо. Ночь скрывает то, что разверзается под ногами, которыми ловишь налетающие бугры и колдобины, как беспорядочные удары в драке, тело работает, как амортизатор на крене, с визгом выжимая через клапаны кровь, тяжелую, как ртуть. Но пьяное тело расслаблено и гибко, как резина. Мне повезло. Снизу я им свистнул, и они тронулись ко мне. Кто успел, тормознул, остальные потерялись во тьме и где-то там ухали и погромыхивали костями, переворачиваясь. Вот так. Урки и мурки играют в жмурки. К третьему часу ночи я получил высокий результат: одна скрученная нога, явный разрыв связок, если уцелела кость, и две разбитые башки, вторая принадлежала усомнившемуся, он получил в лоб ботинком, жертвы были оттащены вниз за задние лапы, после чего остальные безумствовать, скуля, отказались.

Впрочем, на другой день перебинтованные герои пользовались бешеным успехом и всем рассказывали о своих

грациозных передвижениях. Я изображал улыбку Будды, хотя на меня прямо показывали пальцем. Катание вслепую сразу стало писком. Судя по количеству инвалидов за завтраками, ночью резвилось уже много народу. Гинтаре смотрела на меня и чуть-чуть усмехалась.

Когда в следующий вечер я поднялся ночью и вся моя шпана следом, она сказала, что бросать ее здесь одну — верх неприличия. Что она с нами. Я пожал плечом.

Пришлось капнуть в ночные упражнения элемент уголовщины. Мы спустились на стоянку, где отдыхающие побросали свои колеса. Здесь были уже и новенькие переднеприводные автомобильчики, но мне нужен был старый добрый «жигуль». И дорогими секретками таких не балуют. Нашел. Отжал переднее стекло, открыл капот, щелкнул отключателем массы, выдернул провода из замка зажигания, замкнул их, движок заверещал, но завелся. Пару раз я крутанулся на месте. Любимая девушка прыгнула на сиденье рядом, я и ее покрутил, она закусила губу. Я так понял, что ужасы, которые происходят в результате скорости, входили в ее представления о правильной жизни. И не она ли разогнала бедного итальянца, чтоб выжал из своего «Харлея» все? Он выжал.

С полчаса я кидал машину в юзы на обледенелых пятачках серпантина, рискуя вылететь за барьер, крутил, пока не затекли руки и не начали дрожать, а в глазах не зарябило. Мы взобрались к продрогшим на верхней площадке свидетелям удовольствия, порезвиться со мной в очередь намерения никто не изъявил. Я обвел банду хозяйским взором. Усомнившийся с перевязанной башкой опустил глаза. Надо бы его ликвидировать, впрочем, я не собирался сидеть здесь вечно.

А Гинтаре сидела рядом и упражнялась в фаворитских вольностях: принести-унести. Капризы категорически исполнялись. Высокомерная благосклонность. Она получала все.

И я получил все, джентльмены, и не собирался ничего более предпринимать. Есть два способа пребывания у власти, первый: за мной, канальи! — второй: вперед, богатыри! Меня вполне устраивал второй. В первом: движения быстры, он прекрасен. Но это мы уже успешно прошли, и все-таки не ходит владыка в первых рядах солдат своих, принимая персонально, на личную грудь, удары копий и мечей, а сидит укромно и незримо, прочно и плотно. И руки его, сложенные покойно над детородным органом, — не рабочий инструмент, и суть инструмент повеления. И весь труд их — пальцем единым направлять, устранять, воздавать и стирать во прах. Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки. Лицо — да. Лицо должно быть

со щеками, с клыками быть обязан рот. И этого довольно, чтобы летела шерсть клоками.

Я перестал шевелиться, и все покатилось естественно и неотвратимо. Сила диктовала направление. Не хотелось знать, в каком месте тут у них находится финал.

Так и положено развиваться любому новообразованию, у которого свои законы, и лучше не трогать, не беспокоить его, не узнавать даже, и проживешь спокойно и счастливо до поры, пока не перевесит оно набок тело твое опухолевым огузком. Тогда и завопишь от боли несусветной, и никакие наркотики уже не спасут, и резать его бесполезно, уже пропиталось тлением тело, и в каждую ткань вползли черные нити.

Зародившись в садах и кущах замечательного приюта, тихо прорастало в тканях наше замечательное тайнообразование, клубясь и опухая лишь вечерами. Внешне ничуть не изменилась жизнь обитателей. Завтрак, катания, обед, развлечения, и мчались дни! Но детские игры стали взрослыми. И озноб вселился в стены, предчувствие, что надвигается нечто, и все ждут неизвестно чего, что непременно произойдет. И отчаянно пьется вечерами и пляшется у огня. И никого вроде бы не колышит исчезновение самых экзотических представителей здешней фауны, которых мои будущие начальники регулярно уводят за двери. Где вышибают из ботинок.

И они исчезают, навсегда, они уезжают ночами, убегают, спасаясь, потому что их уже опустили. Убегают, унося с собой то, что пережили, и никакой информации наружу, линяют, как не были. И нарастает эйфория.

А я, невидим и неопознан, живу, посапывая, среди нее, и в голову никому не грянет, что я уже поставил на колени золотую публику. Все еще полагающую себя господами жизни. Никто при появлении моем не опускает и не прячет глаз, и позади не смыкается ледяная вода и оцепенение, как уже опускаются взоры и смыкаются темные воды перед и за моими ребятками, приступившими наконец к серьезной и регулярной работе с человечинкой, с орущим, обсопливевшимся, потерявшим возраст и половые признаки материалом.

Гинтаре это нравилось, джентльмены. Я бы даже сказал, она от этого балдела. Вы заметили, что она предпочитала жить и не по правилам и не по исключениям, а — как взбредет в голову. А то, что взбредали чаще исключения? Ну, взбредали. Обаяние зла? Оно так обаятельно?

Вот, джентльмены. Я пальцем никого не трогал. Публика сама себя секла и опускала. Одно меня занимало — почему те остались ожидать неведомой своей участи, а эти пошли ко мне в

холуи.

Вот, Лаймонас, отличная тема для диссертации: «Холуйство как двигатель всего. Некоторые проблемы этологии». Не впечатляет? Напрасно. Вернусь в гостиницу — продам соседу. Очень злободневно. Люди холопского звания действительно сущие псы иногда. Но тут два нюанса, во-первых — иногда, во-вторых — звания. Так сказать, социальное положение обязывает, хоть обязательство-то соблюдается не всегда — иногда. Что с холопа взять? То, что скажешь, не более. Никакой инициативы. Потому что — равнодушный дурак. Холуй же — совсем другой породы зверь. Не по званию, не по положению. По тайному, сжигающему нутро, добровольному и сладострастному сердечному хотению. Это не может быть унизительно, бред какой! Потому что — какое, к дьяволу, унижение, когда все дозволено тебе? За все в ответе пахан. Потому и подставляют ему подручные морды свои для битья, что бьющая рука его суть рука благословляющая. И не больно совсем. Вот и идут в холуи.

Им только пахан нужен, более ничего. Попробуйте, джентльмены, вот вам и новая жизнь. А дело нехитрое. За согласие они для вас кинутся на всякого, на кого даже не пальцем укажешь — губою слабо дернешь. И любую девочку приведут и держать ее будут, если вздумает верещать, про собственных стайных девочек не говорю, им только направление показать, куда идти и докуда раздеваться.

Но все это даже и не для тебя сделают, для себя. Потому что, увы, ты есть они, и наоборот. И пахан, вот ведь изможденье, господа, лишь большой Холуй, в холуйстве у своих холуев.

Зато я знаю, какая болезнь настигает владыку. Называется — один за всех. И напрасно тешит себя ухвативший власть ожиданием радостей от нее. Ничего не будет. Тлен и туман. Потому что он уже не Homo, а знамя. И должен гордо реять, так сказать, над творимым, его овевая и освящая. Так его и таскают с места на место. И кинут потом на жертвенник за мгновения владычества. Им откупятся и расплатятся. И этого не забывает он им никогда. Вот откуда в вожде никакого сочувствия к подручным, на которых наступает он время от времени всею подошвой, уж чего-чего, но жалости к ним нет во владыке никогда. И вот почему те, кто похитрее, никогда не лезут на трон, а шляются возле, в тени.

Вот что мне открылось. И закрылось, потому что времени уже оставалось совсем чуть-чуть.

Закончилось все на плясках, куда в тот вечер явилась большая порция новых завсегдатаев, прибывших утром на заслуженный отдых. Завсегдатаев, полных сил и желания

продемонстрировать, какие они хозяева жизни — и тамошней, и здешней. Они обнаружили девушку в свитере, очевидный приз сезона, которую я держал в руках, показывая окружающим, что это мое. Им это совершенно не понравилось. Они не знали, что я — клоун, удачно съехавший с горы, и весельчак, довольно мило однажды выступивший в ресторане. Кроме необъяснимой наглости во мне не видно было никаких достоинств. И уж не будем упоминать о таких пустяках, как то, что именно они являлись постоянными и законными владыками здешних мест, я же — со своим неизвестным лицом — откуда-то свалившимся в тот сезон незваным гостем, который гораздо хуже татар. Вообще-то такое поведение наказывается всегда.

Вот почему пара новых могучих ребят под общее одобрение веселившейся кампании взялась за меня с подъемом. Они сошлись на мне с двух сторон, наклоняясь по очереди, чтобы заглянуть в глаза, особенно интересно заглядывать в глаза после тычка локтем под ребра или такого намекающего прикосновения носком ботинка по голени. Кружась и репетируя, увлекали они меня все ближе к готовой распахнуться двери. Ах! Ну что бы мне плюнуть, кинуть даму в набежавшую волну, куда бы она делась в конце-то концов? Ну, пусть даже эта дама — из Амстердама. Но! Я прокололся.

И сделал завершающий шаг к падению с пола. Поскольку вынужден был совершать иные, чем обычно, поступки.

— О'кей, — сказал я двум чугунам, от удивления остановившимся. — Вы сами этого запросили.

И повернул фэйс свой вполоборота к двери, где, уже явившаяся, топталась в бездействии моя команда.

Они вздрогнули. Так к ним не поворачивался я ни разу. Взятый в тисочки вожак, медленно, исподлобья взглянувший на своих зверей. Впечатляет? Неопределенно-похабные улыбки сползли с морд их, и поползла вверх губа, показывая резцы, взмарщивая задрожавший в рычании нос.

Они стронулись с места, наращивая скорость, как торпедные катера вспороли толпу, взрезали ее на ломти, блокировав меня вместе с задрожавшею дамой, сообразившей, что вокруг надвинулось нечто незапланированное.

Вот тут что-то и щелкнуло. Сила покинула меня. Причем я и не почувствовал как. Собственно говоря, почему бы и нет? Сила во мне более не нуждалась. Курок я спустил. И остался пустой, лишь с собственной наглостью. А ее во мне минут на пятнадцать.

Знаете, джентльмены, не я — Гинтаре все могла бы вернуть вспять, до нуля, сделай она мне, уже бессильному, такое предложение. Я бы наверняка попробовал все остановить,

попытался бы уж, во всяком случае, ну, бил бы их по зубам, ну, огрызнулись бы, рванули разок клыками, у них это бывает, рвут в азарте своих, но, полагаю, разогнал бы, попятились бы, отступили. Но, джентльмены, на секунду остановился я, чтобы всмотреться в ее лицо, и с глубоким прискорбием еще раз убедился, что за всю мою прошедшую безобразную жизнь так и не научился я угадывать человеков.

Конечно, ей не стало страшно, мои внимательные, она наблюдала происходяшее примерно так, как смотрят порнуху, знаете это напряжение в глазах при внешней расслабленности, сопровождающейся нервными зевками. А я ведь полагал до последнего мига, что и она — всего лишь ряженая. Как и я. Мне вообще одно время казалось, что все вокруг — переодеты, бродим толпами Людоеды и Красные Шапочки, а если маски скинем, господи, до чего мордочки одинаковы: глаза вытаращены, уши розовые, все как один — поросята.

Как же мне все это надоело! И я начал отваливать, покидать поле боя, так сказать, дезертировать. А Красная Шапочка меня удерживала. Она так поняла, что все это я устроил, чтобы ее потешить. Глазенки горят, ротик раскрыт, слюнки капают. Ей так хотелось посмотреть, как Серый Волк станет кушать ее бабушку. И не обольщайтесь, господа, ни о ком из вас лично она не думала никогда. На каждого из вас лично всегда ей было наплевать. Не наплевать ей было лишь на ассортимент фокусов, которые вы способны были ей предложить. Вы выдрючивались, изобретая все новые и новые штуки, чтобы ее удержать. И иссякали. Тут и случался ваш финиш.

Я уходил, она меня тянула, так мы и двигались по полю боя, две разнонаправленные силы, как по ожившему вестерну, среди повальной драки в салуне, невидимки, не задеваемые пролетающими табуретами.

Вновь прибывшая команда была размазана по полу, кто-то еще ковылял, придерживая выбитые челюсти. Мои несли уже всех подряд. Наверняка где-то сводили и классовые счеты.

Ну, точно, с крыльца увидел на снегу ударную группировку, дымясь и клубясь творившую правый суд. Снаружи наскоки спортсменов-любителей отбивало несколько мальчуганов поздоровее, внутри стоял на коленях тот самый Храбрый Портняжка, папа — академик, мама — доктор наук, птичка-страус, которую трогать было мною запрещено. Они так решили, что кончился запрет. Одна линза очков его была выдавлена, на шарф наступил ногою кто-то из присяжных, Усомнившийся тыкал указательным пальцем, выбросив его как нож, в горло ничего уже не соображающего лаймоносовского брата, тот лепетал о насилии

и бессилии, всегда мы так, как доходит дело до битья, переходим с нормального на высо-О-окий штиль, язык сам произносит страшные, неведомой высоты слова, за которое и цепляется охваченное судорогой тело. Ах, как стыдно, джентльмены. Вот что они должны были делать со мной. Ну как бы мы жили без масок, сколько секунд длилась бы наша никчемная жизнь? И знаете, что-то вдруг случилось со мною. Меня девочка тащила в одну сторону, ноги в другую — драпать, драпать отсюда, не оглядываясь, а ноги вели туда, в центр, чтобы рядышком с этим уродом рухнуть на коленки. Ай-я-яй! До чего неустойчив человек!

Но и тут я оказался спасен, кто-то со стороны впал в полосу остановившегося моего взгляда и влепил мне в голову правым красным сапогом, хорошо влепил, навылет. Он бы мне ее оторвал, если бы не дернула меня назад физиология, не отклонила башку, сапог лишь рубчиком каблука чиркнул по переносице, и сразу защипало. Полоска кожи завернулась в уголок глаза. С ногами у меня неважно, но с руками в порядке, особенно если не финтить, а сразу. На автомате. Его перевернуло, и, пока он кренился, я врубил ему еще в ребра и в позвоночник, он посыпался под горку. За моей спиной кто-то засмеялся. Я оглянулся. В черном своем балахоне стоял на крыльце один из моих специалистов по кунг-фу, снисходительно наблюдая за моими упражнениями. Через три года его посадили вместе с другими адептами подвальных единоборств, из тюрьмы он не вернулся, рассказывали, что на него положили глаз специалисты из тайных подразделений, где он будто бы стал обучающим, но это легенды. Его просто раздавили в тюряге, уж очень был горд и верил в свою непостижимость. А тогда он был беззаботен и искал любого повода показать, что такое искусство настоящей войны. Он мне подмигнул. «Девочку заморозишь, командир!» — крикнул он весело и, дернув с шеи соседа шарф, кинул его пестрой лентой с крыльца. Шарф обвил девочку, как королеву. По морде ее плыло блаженство. Кто-то, вспомнивший о подхалимаже, вывернулся из свалки и, скинув свою шкуру, укутал в нее мою даму.

— Вали отсюда в темпе! — заорал я на нее. Она мешала мне, она мне мешала разобраться во всем.

Она мешала мне что-то сделать. Что? Свет погас! Я взял ее за ворот и поволок в номер. Там она повернулась ко мне лицом, шуба упала на пол. «Хорошо, — сказала она терпеливо, — давай трахаться, если ты хочешь! Но потом вернемся». Я накрыл ее лицо ладонью и тихонько толкнул, она села на койку, глаза ее остановились. Я вышел, притворил за собой дверь спиною, постоял, очень тянуло блевануть, и тут я увидел, что они идут по коридору, разом громыхая башмаками, руки в карманах курток,

кожаные мальчики с чугунными треглавыми мышцами. Жаль, песен не пели, им бы пошло.

Шли вынимать кого-то из теплой постельки, хряпая железными сапогами, и отлетали встречные, отброшенные без касания, одним силовым полем. Джинн вышел из бутылки. Пробку из которой вытащил я.

Их силовое поле вжало меня в дверной проем, перекосило морду, хорошо перекосило, они взглянули на меня прямо и твердо, все во мне пересохло, я весь был наружи, весь открылся, стал как я есть, их это должно было просто под колени ударить, тут они и взялись бы за меня. Они прошли мимо. Боже! Они меня не узнали.

— Какая же ты сволочь! — сказал композитор.

— А ты какая! — сказал я. — Треугольная. Ты рассказал бы им об искусстве воспарения. Они бы заслушались. А я просто побежал по коридору в свои апартаменты, побросал барахло в вещмешок, вылез на балкон, он выходил на склон, внизу было пусто, я прыгнул в намет, промахнулся, ударился плечом о ледяную глыбу, перевернулся и покатился вниз.

Я прошел километров шесть по спиральной дороге, потом меня нагнал автобусик базы. Я вышел на осевую, он тормознул. Место возле шофера было свободно, врач возился внутри. Там их много было сложено. Один совсем никуда не годился, он был скрючен, очки без стекол торчали на раздавленном лице, как кости, вздувшаяся впадина одного глаза, как агат, выпирала из металлического кружка оправы. Побитых везли на соседнюю базу, если дорогу туда не завалило. Врач ругался как блатной. Из его сумбура я понял, что там продолжается крупномасштабное избиение младенцев. «Скорая» проехать не может, по телефону сказали, что едут менты, но застряли, на перевале сошла лавина. У малышей еще было время разнести любимый приют в щепки. Позже оказалось, что времени вообще было в избытке, почти двое суток. На повороте стало видно, что над впадиной, где прятался приют, поднимается розовое пятно — приют горел.

В общем, ребятишки потеряли над собой контроль. Гинтаре они насиловали обе ночи, то ли за то, что была королевой и следовало ее опустить, то ли потому, что исчезла ее защита и стало можно не одному, а всем, они и прокатились по ней все, блатари называют это «трамвай». От нее мало что осталось к утру. Вот, господа, это вам и досталось. А вы про кундалини.

Не знаю, возможно, так и полагается пахану покидать свою кодлу, без объяснений. Пришел — оттуда, ушел — вон туда, почему, зачем — ведомо лишь ему. А может быть, где-то понадобилась срочно его тяжелая рука, потому и бросил своих

холуев ночью, посреди дела. Разве этих ребят что-то держит друг возле друга, кроме общего дела? Сделалось, и — когти рвать. Кто куда. Это нормально. Кое-кто из той кодлы сегодня сами паханы. Значит выкрутились. Почему нет?

Глаза мои открылись сами, темно и пусто было вокруг. Мрак, опутанный паутиной, разбитые ящики, стаканы на газете. Мышь шевелилась возле ботинка, подбирая крошки. Лаймонас спал, уронив свою большую одуванчиковую голову на грудь, свесив ее на длинном стебле. Какие-то субъекты в прозодежде гремели посудой, переругиваясь, вяло хватали друг друга за грудки, потом вылезли по дальней лестнице в какой-то пролом и растаяли в дневном свете. Затхлая теплота подвала, подгнившие доски, на которых мы сидели, — все наводило, навевало, будило воспоминания. Эти прятки в бесконечных полуразрушенных подвальных переходах, где, таясь, выжидая никогда не являвшуюся жертву, проводишь дни…

Лаймонас потянулся сладко, потер глаза грязными кулачками, сдвинул очки на лоб, потом протер и самые очки полою рубашки. Близоруко взглянул на меня.

— Что показывали во сне? — спросил я. — Уморил я тебя, бедолагу. Язык-то болтается сам, он у меня беспривязный. Эх, мне бы в няньки пойти, бешеные рвал бы куски.

— Нет, ты все хорошо говорил, особенно об этой траве, которая исчезла, потому что ее затоптали. Это метафора, я понимаю, но мы слушали с удовольствием. Тебе стало лучше? Видишь, я был прав. Сейчас пойдем погуляем, и тебе окончательно станет хорошо.

Мы выползли на божий свет. Пыль запершила в горле. Улицы закривлялись, побежали в переулки, из одного на ушастом «Запорожце» выехал старик с корнетом. На ветровом стекле «Запорожца» имелась надпись: «Мне ваши машины тоже не нравятся». За стеклом висел на веревке круглый будильник с ножками, как мина. Старик распахнул большую, как слоновье ухо, дверь, захватывая ею встречный воздух, притормозил выставленной вперед ногой и закричал: «Залезай, ребята!» Мы упали внутрь. «Запорожец» затряс сочленениями, проволочные узды, скреплявшие его основные части, натянулись, принялись раскручиваться, но тут он подпрыгнул и развил бешеную скорость. У него было все, что надо, кроме сидений и амортизаторов, мы сидели на грязном полу, и казалось, что по задницам нашим барабанит асфальт. Будильник тикал как сумасшедший.

— Куда, отец? — спросил я.

— Как куда? — удивился он. — Вы разве не закончили?

— Да вроде все, — отвечал я.

— Тогда в самый раз!

Мы выкатились из города, как удравший на свободу Колобок, и понеслись туда, где из-за горизонта вставала на дыбы, помахивая передними мохнатыми лапами, черная грозовая туча, и гром ворочался внутри нее на листе жести. Нам осталось пересечь длинное зеленое поле, усеянное разноцветными стрекозами, это планеры отдыхали в траве. Старик выставил из окошка свой корнет и сыграл «Общий сбор». Дверь сарайчика, стоявшего на краю поля, отворилась и оттуда выскочил старичок-с-ноготок, замахал коротенькими ручками, побежал коротенькими ножками. Мы выставили каблуки и тормознули транспортное средство.

— Что случилось? — кудахтал старичок-с-ноготок. — Куда ты провалился? Я третий день в простое! Чем будем закрывать квартал?

— А что я могу сделать? — оправдывался старик с трубой. — В городе никого нет. Начнется дождь — все вернутся и пойдут клиенты. Так буду возить — ты еще горько наплачешься. Вот, — хлопая по холке, как доброго мерина, продемонстрировал он меня, — приличный молодой человек, ему хочется полетать. Я его еще вчера ждал, но он пришел только сегодня.

— Все у тебя в последний момент! Посмотри наверх. Сейчас начнется, а у меня ни одна машина не подготовлена. Движки разобраны. На чем я его подниму? На этом, что ли? — Он толкнул ножкой фанерный бок ближнего планера. — А давай — на этом. Ты и разгонишь. Но тогда уж давай скорее, давай-давай! Еле успеваем.

— Горючего у меня мало, — заскулил старик с трубою, — я даже сам не знаю, как мы сюда-то докатились.

— Да когда оно у тебя было? — суетился уже старичок-с-ноготок, радостно потирая ручки. — Ты нас только разгони, а там мы уж как-нибудь. Ну, по последней!

Мы забежали в сарайчик и быстренько раздавили на четверых бутылку тормозной жидкости. И сейчас же старичок-с-ноготок потащил меня к планеру, раскинувшему бессильно по земле свои плоские руки. Он мигом зацепил трос за бампер «Запорожца», влез на инструкторское место, планер затрепетал, восстанавливая равновесие, я плюхнулся сзади, и колпак накрыл нас.

— Сейчас, сейчас, — подбадривал меня старичок-с-ноготок, — сейчас улетим отсюда к ебене матери, пока никто не видит.

«Запорожец» взревел, растопырил свои двери, вывернул их горизонтально, тяжело взмахнул раз, другой и запрыгал по полю.

Планер дернуло, потащило, заколыхало, заколебало, выдернуло наверх и повело навстречу туче. Внизу, отчаянно размахивая руками, бежал маленький Лаймонас, путаясь в штанах.

— Лаймонаса забыли, — сказал я старику.

«Запорожец» взял круто в сторону, ушел под нас, потом вынырнул сбоку, помахивая дверцами, некоторое время шел рядом, старик с корнетом высунул согнутую в локте руку, приветствуя нас и поздравляя, потом прильнул к корнету, затрубил пронзительно и победно, резко отвалил и пошел на посадку.

Шуршащая, как шелк, тишина неслась нам навстречу, обтекала корпус, прямо по ходу лес взбегал на бугор, на бугре стоял мужик из гостиницы и грыз сухари. Увидев нас, он отбросил пакет и, выхватив из-за пояса топор, начал со страшной скоростью рубить высоченную сосну, она накренилась и, разрезая пополам набегавшую тучу, хлестнула по нам, но промахнулась. Мужик погрозил кулаком и крикнул:

— Драпаете, сволочи? Врешь — не уйдешь! Все равно собьем!

Внизу позади, став крохотным, как воробушек, все еще бежал Лаймонас, крылышки его трепыхались на ветру, он взмахивал ими часто-часто, иногда взлетая и несколько метров проносясь над землею, но летать он еще не научился.

— Что это вы затосковали, молодой человек?! — закричал старичок-с-ноготок, откидывая ко мне свою несоразмерно большую голову. — Времени, конечно, немного, но оно есть, зачем же терять его зря? Получайте удовольствие! Ну-ка, возьмите ручку на себя!

Я взял, мир спереди упал вниз, провалился, потом надвинулся сверху, кровь ударила в голову и загудела, наливая ее, теперь Лаймонас бежал вверх ногами, как муха. По зеленой траве потолка. Снова пошло небо. Рот мой хохотал сам по себе, глаза застилало.

— Вам нравится, молодой человек? — воздевая ручки, кричал в упоении старичок-с-ноготок. — Это замечательно, из вас могло бы кое-что получиться. А попробуйте-ка теперь педали!

Я попробовал и педали, вышло тоже хорошо, теперь мы переворачивались через длинное крыло. «Ну, мне пора, — пискнул старичок, — до свидания, хотите, еще порезвитесь, ловите поток! И запомните: ваша цель — остров Готланд. Готланд! Он очень длинный, не промахнетесь. Держите на северо-запад, на северо-запад! Стрелочку видите на приборчике? Норд-вест! Ловите потоки!» И он выкатился из-под колпака таким уютным клубочком, перевалился на проносившееся мимо жиденькое облачко и шустро унесся куда-то вбок и назад. Планер

попал на поток, резко и сильно вынесло его вверх. Близко от меня прошел тяжелый пассажирский лайнер, в огромном прозрачном носу его я увидел каменный профиль господина пилота первого класса. Он вел свой воздушный корабль, положив правую ногу пяткой в пах, глаза закрыты, дыхание очищающее, зубы белые, крепкие, прикус ножницеобразный.

В овальных рамах иллюминаторов показались печальный Карлос де Перальта, треугольный композитор, сжимающий в объятиях человека в мешочках, видимо, они полюбили друг друга, итальянец пил кьянти из горла; оторвавшись, он помотал бутылкой, показывая мне, сколько еще осталось. Никому не известный заика плюнул в меня и отвернулся.

Самолет ушел в тучу, оставив после себя легкие пуховые облака, по одному из них бежала от тучи прозрачная Гинтаре, ноги ее по щиколотку утопали в облачной вате, она легко перепрыгнула на соседнее, увидела меня и засмеялась. Потом приложила палец к губам, но в это время туча накрыла ее и проглотила.

Вот, значит, как это происходит. Прости, Лаймонас, дал себя увлечь. Да, мне нечего делать на этой земле. Согласен. Но видишь ли, я совсем не хочу отваливать с этой земли. Вот в чем вопрос.

Я отжал ручку, и земля показалась. Красивая и страшная, неслась она мне навстречу, момент, когда надо было потянуть ручку на себя, я, видимо, пропустил, загляделся. И уже ничего нельзя стало поделать, сначала земля повернулась, потом принялась раскручиваться спиралью быстрее и быстрее, ручка вырвалась из ладони, и небо совсем ушло, а нарастала, бешено кружась, трава.

Человек состоит приблизительно из 10 000 000 000 000 разных клеток. И у каждой свое дело. Все как у людей, одни добывают пищу, другие ее перерабатывают, третьи балуются с кислородом, четвертые борются с алкоголем и никотином, пятые, простой рабочий люд, производят ткани, кожу, кости, кровь. Совсем маленькие органы, из особых клеток, выделяют слюну. Еще меньшие — слезы. Совесть никто из них не вырабатывает. Они даже не знают, кому, собственно, принадлежат, как его имя-отчество, фамилия и национальность, в хорошей или плохой стране он живет. Они всегда счастливы, если здоровы, потому что знают лишь свое дело и хорошо с ним справляются, не ленятся. И за секунду до того, как объединяющее их тело треснется оземь в лепешку, они все производят, выделяют, стараются. Видите ли, они не наделены даром предвидения. 10^{13} счастливых бессовестных организмиков. Они даже не узнают, что кому-то вдруг стали не нужны.

И подошел мужик с топором и вырубил на пенечке: «Спи спокойно, дорогой кореш. Понял, нет?»

К гвоздю, забитому в стенку лифта

О, гвоздь, забитый в стенку лифта,
Вы кем забиты? Для чего?
И вешали ль на Вас чего?
И если — да, тогда чьего
Вас осеняет память клифта?

О, гвоздь, забытый в лифта стенке,
Вы кем забыты?
Кто по Вам
Один, не верящий словам
И к утешеньям безучастный,
В дожде, в тумане, мгле — несчастный
Рыдает там, на полустанке?
В кармане шарит, но увы!
Все есть в кармане, но не Вы.

Один. Неисправимый стоик,
Как Вы, забытый, он торчит.

Ответьте, гвоздь, ну что Вам стоит?
Признание вас облегчит.

Из жизни травы, которую едят кролики…

И сказал Гаврила Аронович:
«Вот по пустыне бежит человек и кричит:
— Мне ничего не надо! И слышит Глас Божий:
— Дак у тебя и так ничего нет.
— И не надо! — отвечает человек и бежит дальше».

Вышел зайчик погулять

Старый стал, на все наплевать. Это ж лет десять назад, да, лет десять, встретил в командировке школьного приятеля Вальку Якутина, долго друг на друга смотрели. «Ой! — говорит Валька все тем же голосом, по-бабьи, по-владимирски. — Какой ты стаарой стал. Да дурно-ой!» Десять лет назад, заметьте. А сейчас, если в зеркале себя увижу, скорее — ходу-ходу и долго стараюсь на глаза никому не попадаться. Изнутри-то себя наружного не помнишь. Но тут и внутрь такое набилось — хоть плюнь. А говорят: побыть с самим собой. Мне бы уснуть и видеть сны.

В отпуск пустили наконец, а все никак не уйду, не выдернусь: одно вцепилось, другое на шее повисло.

Наконец все оборвал, скомкал, распихал, закидал, забыл, затрепал и похромал. Ковыляю от калитки, в руках, в ногах, в зубах, на ушах авоськи, пакеты, сумки на колесиках, сумки на ремнях, на веревочках. Хозяева на травке лежат, как боровки, глядят на меня в упор и кричат прямо в лицо: «Оленька, по-моему, это к вам гости приехали!»

Вот и Оленька спешит: сумки на ходу перенимает и шепчет, задыхаясь: «Беги, пока не переоделся, в магазин, у нас со вчера хлеба нет, купи заодно подсолнечного масла, там привезли сегодня, я знаю, рыбы коту и нам, да спичек, бидон возьми — три литра молока, и хозяевам литр, вот их бидончик, я пеленки достирываю, Дашка вот-вот проснется, тебя и дети-то не узнают, отец называется, Ваньке вон велосипед старый отдали, завтра починишь, а то он за ребятами пешком бегает. Не могу смотреть, несется, задыхается, а они взяли и умчались. И он со своим радостным криком стоит один посреди дороги, ну беги-беги, да тихо ты, разбудишь ребенка!» Это я в коляску сунулся. Спит мое солнышко, моя девочка, прозрачная щечка, акварельная тень от ресниц.

Бегу, бегу! Пора меня, ребята, отстреливать. А на ком же в

извоз? Вот в чем вопрос.

Через дорогу какая-то ползет зверюга. Размером с огрызок сосиски, ползет на коротеньких ножках. Я сам чудище обло, озорно еще и лайяй, меня люди боятся, а ты кто? Ползет зверюга, не хочет общаться. Я ее в колею с водой закатил, пусть в себя придет. Запыхтела, стала выбираться, на краю морду ко мне подняла и посмотрела так, с укором: чего, дескать, пристал к человеку? А собственно, чего я к ней в самом-то деле пристал? И покатился дальше.

Магазин как жизнь. Суровый пейзаж, борьба противоположностей. О скалы грозные дробятся с ревом волны, вернее — со стоном. Старухи разного калибра, матери дачные, затюканные, с детьми, очереди — течениями, завихрениями — все бьется о берег крутой, о вставший дыбом живот с надписью «адидас», а выше граненые лица: стоим на страже — всегда-всегда! Стоят они, ребята, каленые тела, ноздря к ноздре, поигрывая подбородками, ждут своего часа, вернее, двух. И вдруг как даванут! Старухи, дочки-матери, я бедный лесной и морской, вся мелкая сволочь полезла из-под напершего живота, кинулась с писком. Пробил час!

— А-а-а! — завопили старухи. — Мы детям молока! Мы тут с ночи стояли, с вечера занимали, отмечаться приходили. А вам водкой нажраться! Указу на вас нету!

— А-а-а! — завопил я, кидаясь на голубой адидасовый живот. — Меня-то как же, ребята, забыли меня-то! Я свой!

И проникли́сь, и впустили, и вобрали, и вместе со мною ударили вновь на старух. И враг бежал, бежал, бежал, оставляя пуговицы, тесемки, тапочки, детские коляски, выдавился, как из тюбика, на волю и там, расправив легкие, запричитал, заскулил, замахал слабыми коричневыми кулачками.

А я уже у прилавка, я уже беру, уже кричу блондинке Вале, в румяные ее щеки, каждая с тазик, и вижу, что до нее не доходит, а сзади коленом в спину, вокруг головы моей порхают червонцы: «Дай, Валя, дай, отоварь!»

— Чего орешь, — сказала мне Валя рот в рот, — борода вонючая, что ты работать мне мешаешь?

— Слышали! — окликнула Валя свое воинство, пускающее в нее издалека сложенные галочками ассигнации. — Слышали, чего эта морда берет? Молочка ей подай! На тебе молочка! — И она плеснула в мой родной бидончик три слегка зачерпнутых ковшика, а хозяйский кинула в толпу. — Вымой сначала, а потом в магазин приходи!

— Валя! — сказал я, холодея. — Мне же еще хлебца, спичек, рыбы мне, то есть жене, то есть детям моим, у меня их двое, Валя,

у тебя дети-то есть, родная моя, благодетельница, хочешь я сейчас перед тобой на ко лени…

— На! На! На! — швырнула в меня Валя рыбой и хлебцем, а позади уже лопнуло, взревело и потащило меня от прилавка.

— Следующий!

— А подсолнечное масло, Валя!

— Чего?!!

И тут удивительным образом в скалах гранитных мгновенно возник коридор, и с ускорением страшным я вышвырнут был на свободу. «А сдача, Валя?» — шепчу я и сажусь на ступеньки среди отвергнутых старух и детей. Потом подбираю хозяйский бидончик с помятым боком и качусь под горку. А чего я, собственно говоря, в самом-то деле?

Тут охотник выбегает

Вечер. По кустам шастают ежи, мыши проносятся стремглав, одну Минька загнал под мойку и там за ведром жрет ее, причмокивая, посуда вымыта, пеленки ворохом на столе, спасены от дождя, который то начнется, то кончится, но все время осторожненько пальчиками постукивает по стеклу, напоминает, ветер качнет ель над домом, посыпет крышу сухими иголками. Холодно, надо бы печку, но дети спят, да и сучья мокрые. Хозяева смотрят «ящик»: терраса их — голубая и зеленая, бормотушку пьют… «Завтра не забудь, хозяин, дров наготовь», — просит жена, толкая меня ногой. Она сидит на стуле и спит, глаза сами закрываются, она взмахивает головою, как лошадь, выбрасывает в мою сторону несколько слов и снова засыпает. На дне чашки коричневая жижа, вода здесь с красной глиной, на вкус и цвет товарищей нет. «Отдохнешь здесь хотя бы!» — вскрикивает жена и роняет голову на грудь.

— Ладно, проживем, — утешаю я ее, — я высвободился насовсем, вчера еще звонили, умоляли поехать по письму, и главное, хорошее письмо, про кляузника, но я уже совсем был на выдохе, говорю, старик, меня жена просто убьет, поленом, я же в семью приходящий отец, дети-то мои, не дядины.

— Отказался? — спрашивает, проснувшись, жена. Глаза ее смотрят свежо и прямо.

— Отказался, — говорю я с гордостью. — Теперь я полностью ваш, на месяц, хоть верхом на мне катайтесь. Я уж и так тебя замучил, людей ты не видишь, работаешь как проклятая. — Голос мой начинает в этом месте набирать высоту и даже позванивать. — Ну ничего, не горюй, вот Дарья сама ходить

начнет, пущу тебя на травку, отгуляешься, можешь домой хоть днями не приходить, хоть ночами — все прощу.

— Опупел? — спрашивает жена в жутком волнении. — Ты опупел?! Нам четыреста рублей за дачу платить, ты где их думаешь занимать? Кто тебе даст, у нас долгов по колени. Иди звони — и немедленно. За три дня обернешься, за неделю напишешь, и хоть сколько денег, да отдадим.

— Ты же сама меня ела, что никак не выдерусь, а сейчас… Ну куда я на ночь глядя пойду звонить?

— Я с тобой пойду!

— Все-все, понял, спокойно, без крика, Дашку разбудишь.

Надо идти, когда зовут

Давным-давно это было, ехал в метро в полупустом вагоне, поздно уже — время, когда кажется, что все едущие — под градусом, такие размытые лица, с трудом удерживают мускулами выражение. Напротив девушка — рыжая, с розовыми коленками, и легкое платье вольно лежит, обрисовывая ноги, и все мужики вагонные ее исследуют из своих углов, кто как приспособился, ну и я, естественно, куда ж увернуться, да и девушка храбрая, глаз не отводит, только щеки стали румяные. Тут она решает привести себя в порядок, девушкам всегда кажется, если на них смотреть, что у них что-то недостаточно хорошо, достала из сумки зеркальце вместе с платочком, какой-то книжечкой, чтобы, всем этим прикрыв зеркало, в него посмотреться. Вагон, естественно, дернуло, все из сумки посыпалось, с таким отчаянием она на меня посмотрела, что я, тоже красный, кинулся, дыша тяжело, стал что-то с пола поднимать, в сумку ей совать, в теплые ладошки, сел, отдышался, тут вагон остановился, она встала и, проходя мимо, одними губами сказала мне: «Пошли?» И вышла. А я остался сидеть. Все смотрели на меня, а может, и не смотрели, но мне-то показалось — весь вагон оборотился и дыхание затаил, потому я и не шевельнулся, приклеился, шея заржавела.

На другой день с утра рассказываю ребятам в конторе, вот дела, девушка говорит мне одними губами: «Пошли!» — и выходит. «И ты не вышел?..» — обомлели ребята. «Нет, — говорю. — Дернуло, поехало, не обернулся». — «Ну ты ду-у-рак, — сказал мне Толик. — Хоть бы из любопытства сошел. Нет, посмотрите на него, на беломраморного, — полный долдон!» — «Старичок, — сказал Витя, наш зав, — если ты будешь все пропускать, пропустишь жизнь. Когда зовут, надо идти».

С тех пор я всегда старался следовать этому правилу. Правда,

как-то все случая не подворачивалось. И вдруг подвернулся. Зовут меня на работу в газету, где я, если удавалось в своей конторе вывернуться, что-то подрабатывал. Переходи, говорят, насовсем, у нас должность образовалась — прямо для тебя. Кончай сидеть в своей могиле неизвестного солдата, переписывая комсомольских работников с ихнего на понятный. Переходи.

А денег между тем обещают меньше, чем уже получаю. А премий у них вообще нет, и тринадцатой нет, а двое детей и сидящая с ними уже второй год жена у меня есть, вчетвером тянем на моей получке, а есть почему-то хочется регулярно. И уж вроде приспособились, дети картошечку с макаронами хряпают так, что за ушами трещит, жена, правда, припухать тут как-то стала, но вот лето пришло, пошли мы с ней за гаражи, набрали две авоськи крапивы, три пакета одуванчиков, таких наварили щей, такого наделали салату!.. Все, говорит мне она, лето настало, витамины, теперь — живи не хочу! Села, собрала старое барахло, все распустила, по новой сшила, вышло два платья и сарафан, хоть на Капакабану. Вези, говорит, теперь нас на дачу. Одеться есть во что, с едой перебьемся, лес все-таки вокруг.

Да, так вот я и не пошел никуда. Остался в своих рогах и копытах. Упустил случай. Я и эту поездку упустил бы, жена вытолкала.

Когда зовут, надо идти.

Чей я?

Прибегаю к коменданту, говорю тонким голосом: «Петр Петрович, я с четырнадцатой дачи съемщик, будьте добры, дайте мне ключ от телефона, в город надо позвонить». Долго он в меня всматривался, на всю жизнь запоминал, потом ушел и часа через полтора выходит, ключ несет, тут пес его боевой Мишка выползает из картофельной ботвы, кость бросил, меня за штанину ухватил. Полдороги волочился, никак зубы разжать не мог. Наконец выпустил, плюнул мне вслед и тут же помчался, сшиб какого-то ночного велосипедиста, так они, ухая, и покатились в овраг. Нашел я телефон, отомкнул железную дверь, пятнашку бросил, номер набрал. «Паша, это ты? Спишь, прости ради Христа, больше не буду. Поеду я, Пашенька, поеду. Завтра, говоришь? Как завтра?! Да я, Паша, хоть сегодня, только лето ведь, Паша, все на курорты летят, кто же мне билет в Черноморск продаст?» Тут он засмеялся даже, ты, говорит, что, вообще не понял до сих пор, с кем и чем имеешь дело? Да для Газеты, говорит, вообще ничего невозможного нет.

Удивительные ребята в Газете. Все — верующие. Вокруг кто во что верит, они — в Газету. «Газета!» — говорят, и голос у них такой, будто рядом тяжелобольной. Когда я впервые начал там околачиваться, меня все, помню, в коридорах останавливали, остановят, за угол заведут и спрашивают: «А вы на чье место пришли?» Очень я удивлялся, потом привык. Больше всего на свете боятся они заболеть или, не дай бог, помереть, тогда вдруг кто-нибудь их место займет. Очень любят Газету.

Да и как ее не любить, действительно, я уже проверял. Скажешь кому, что ты из Газеты, человек так вздрогнет, оцепенеет на миг и сразу разговор куда-нибудь сворачивает или начинает в восторге хохотать, радуется за тебя. Вот такая неоднозначная реакция.

Но мне-то что, мне билет нужен. А ничего, говорит Паша, сейчас я позвоню одному генералу, Тимошенко его фамилия, он нам должен, а ты пока поезжай во Внуково, купи билет на любой рейс, на любое число, в любой город, а потом зайдешь за угол, в милицию, там тебя сейчас же на ближайший рейс посадят как арестованного, только фамилию не забудь, да не свою — генерала, они ему там чего-то тоже должны. «Паша, — говорю, — сейчас, между прочим, 24 часа 7 минут, меня жена убьет». — «Утюгом?» — спросил Паша и захохотал, как филин. Зря я ему рассказал, как жена кинула в меня раз утюгом, и с тех пор в доме утюга нет. «Ты, Вова, учти, — говорит Паша, — раз ты дал мне принципиальное согласие, ты теперь не жене — ты мне принадлежишь. И еще учти, Вова, что у меня это письмо много народу просило, и я никому не дал, для тебя держал. Ты один у нас такой, Вова, второго такого нет. Не расстраивай меня, старик, поезжай к генералу, то есть во Внуково, лети, а на месте тебя встретят, я уже позвонил и телеграмму дал. С пионерами встретят, с оркестром».

И ведь что удивительно — встретят. Когда же он позвонить успел да еще и телеграмму отстукать? Левой рукой? Но ведь позвонил и отстукал — точно знаю. Проверено. Вот что такое Газета.

Перемещение тела

Тело, запущенное Газетой, перемещается в пространстве со страшной скоростью до тех пор, до каких нужно, а все препятствия с его пути автоматически устраняются, так что скорость тела постоянна. По дороге во Внуково я успел перехватить у зава Вити 88 рублей 56 копеек, больше у него не

было, в самолете все подсчитал: даже с вычетом 50 копеек страховки свободных денег у меня оставалось 7 рублей 36 копеек. На них-то рассчитывая, и сунула мне жена в сумку пластмассовый пакет с ручками — для абрикосов-дичков, которые обязаны были находиться на базаре Черноморска и которые содержат ряд веществ, абсолютно необходимых растущим организмам, причем только абрикосы, заметьте, не персики, не ананасы, не плоды манго, папайи или хлебного дерева. Только абрикос-дичок, самый дешевый южный фрукт, фруктовый сорняк, буйно произрастающий вдоль дорог и продаваемый ведрами.

Самолет взбирался на небо. Женщина рядом кормила мужчину бутербродом с ветчиной, обоим это было отвратительно: женщине самой хотелось ветчины, мужчине — порассматривать девушку в крошечной юбке, сидевшую к нам лицом, закрыв его весьма кстати журналом «Знание — сила». Маленькие житейские хитрости, травка зеленеет, солнышко блестит. Увы, все мимо, я нес в себе Поручение. Мне следовало немедленно начать превращение в страшного Пожирателя травы, ням-ням, Проклятого Инкогнито, обязанного прикрыть усталыми веками усталые, все видевшие глаза, мысленным взором пронзить ситуацию и, вдруг распахнув нежданно вежды и зловеще сощурив их, ударить в ладонь кулаком: ага! Попали-ся! Но уж сил не было, стал вырубаться, заваливаться, где-то там, на задворках, таяли, резко уменьшаясь и превращаясь в точку, 7 руб. 36 копеек, за ними мчался пластмассовый пакет. Когда продрал глазки, не сразу сообразил даже, куда несет меня неведомая сила. Запоздало повращал нижним бюстом, придавая себе молодецкий вид, уже мы снижались, мужчина и женщина по очереди сплевывали в общий гигиенический пакет, девушка напротив исчезла, вернее, ноги от нее остались, но журнал «Знание — сила» отнят был от лица, обнаружив то, что скрывал, — кроличью носатую мордочку с усиками.

Плюх!

Человек, обильный телом, дожидавшийся у машины Пожирателя травы — путь опасного гостя к машине непрерывно направляло аэровокзальное радио, — сначала увидел, как я плетусь в своих драных джинсах, потом увидел мою унылую харю, отчего обильное лицо его потекло книзу: вот каких стали посылать?!

Надо бы мне потрепать его по брюшку, но — тсс! Интересно, везомый в гостиницу, думал я о своем принимающем, напишет он

на меня телегу немедленно, авансом, или подождет, чего делать буду? Дверь в номер была уже распахнута, на столе виднелась квитанция об уплате за все. Покупаете, значит. Хе-хе-хе-с. А вот вам мои рваные трешники, нате, от сердца отрываю. Директор гостиницы маялся у порога, не осмеливаясь переступить внутрь, хозяин мой обильный — суфлерским шепотом: «Чтоб у гостя было все! Понял? Сам знаешь!» Директор радостно ржанул и поскакал на конюшню. Хозяин повернулся ко мне и уж отворил было рот, чтобы рассказать анекдот про половые органы, но, увидев мои жадные глаза, подумал: «А хрен тебе!» — и не рассказал.

— Для приема посетителей, — сказал он документальным голосом, — можете располагать моим кабинетом. Отдыхайте. Если понадоблюсь, звоните в обком, весь вечер я на посту.

Ай-я-яй, это он, значит, так и будет сидеть в своем кабинете, мучаясь неизвестностью.

— Ладно уж, — сжалился я, — идите домой, не утруждайтесь!

— А не утруждаюсь ничуть, — отрезал он оскорбленно. — Мы, знаете ли, всегда до ночи. Мы ванек здесь не валяем.

Где же у них тут, однако, рынок-то? 23.00. Пью чай. Читаю наводку. Звонок.

— Да?

— Что вы делаете? — приятный голос дамский.

— Да как вам сказать, вот перекладываю листочки.

— Хотите женщину?

Хороший вопрос.

— А что вы можете предложить?

— Размер 56-й, бюст восьмой, 25 лет, блондинка. Никак не может сфотографироваться на паспорт, не умещается.

— И, видимо, совершенно необузданный фламандский темперамент?

— Ну, так будете обуздывать?

— Вы смеетесь. Я же не справлюсь.

— Тогда, пожалуйста, другой вариант. Специально для вас. 44-й размер, очень длинная шея, глаза на вторую букву алфавита, лет будет, к сожалению, уже 50.

— И не жалко вам старушку?

— Тогда сидите и пейте свой чай.

Как же она чай-то увидела? Через розетку?

Мне — возмездие, и аз воздам

Место службы, до недавних пор содержавшее внутри себя

разрушителя спокойствия. Открыв дверь, я помедлил, древнее самурайское правило, и не зря. Сразу за входной дверью скоро шагнувшего поджидала черная яма.

Присмотревшись, обнаружил я и перекинутую через провал доску, причем не по центру, а сбоку, для своих. Ремонт после бурных событий или западня для злодея, если вздумает вернуться? Интересно, в каком соотношении они действуют? Сколько готовы положить за одного? С доски мне не удалось посчитать павших. Что-то там, внизу, шевелилось, но вряд ли. Надеюсь, учет у них ведется.

Скользнув по раскачивавшейся доске, попал я в темный же коридор, некоторое время двигался по нему, ожидая всего. Боковым зрением ухватил табличку на двери «Приемная» и боком же, не меняя темпа, в дверь впитался. Пусто. Где же сторожевые девушки? Ай-я-яй! Вот так, взяли и оставили пост. А если враг?

Толкаю значительную дверь и в мягкой манере попадаю в святая святых. Сердце учреждения билось на положенном месте. За своим столом. Оно там обедало. У него было лицо артиста Менглета, оно расстелило перед собой газету, где разложены были тут у нас и помидорчики, и хлебушек, и кастрюлька с картошечкой, мням-ням! В момент моего появления оно запивало все засунутое в рот молоком из бутылки. Старина Менглет, он напрягся, проглотил, покраснел и сказал потрясенно: «Обед!» — «Не беспокойтесь, мне это совсем не мешает», — отвечал я по-матерински, плавно пересекая кабинет, плюхаясь в кресло напротив и доставая верительную грамоту.

Он ее изучил, обеими руками оттащил в сторону газету с обедом, на его место выложил толстую папку с бумагами и взял слово. Кратко, но емко, остаточно облизываясь, обрисовал он подробности мирной внутренней жизни заведения, в обычное время производившего на Божий свет сценарии общественно-массовых мероприятий, но сейчас способного лишь судорожно приходить в себя.

В папке содержались копии клеветнических писем («Это у меня есть», — подсказал я), а также сценарии негодяя, окунувшего в грязь коллектив. Они отличались помятостью бумаги, отсутствием абзацев, наличием огромных желтых пятен, испещрены были подтертостями и исправлениями, строчки мерзавец просто не дописывал, бросал и начинал следующую с большой буквы. Запятых он тоже не ставил.

Он начинал мне нравиться. Сценарии его поражали буйством официальной фантазии. Все участники предлагаемых им празднеств должны были произносить дикие речи с обилием цитат из классиков, причем в виде некоих полемик. Чтецы как бы

спорили друг с другом, перемежая цитаты цифрами местных достижений. Правы были, естественно, обе стороны. Послушать бы хохлов-колхозников, с гаканьем читающих этот бред товарищам по труду.

— Неплохой работник, — пожаловался Менглет, — но мы были просто вынуждены от него избавиться. Он нас парализовал. Вначале шли анонимки. Это еще ничего, на анонимки сейчас уже не обращают такого внимания, ну вызвали меня в обком, я принес документы — и разрешилось. Но потом свои кляузы он начал подписывать. Растраты, разврат. Какие растраты, мы второй год не можем закончить ремонт! Какой разврат, люди все время в командировках! И опять же, на разврат нужны деньги. Очевидно.

Проверки нас замучали. Мы заняты лишь тем, что отбиваемся и роемся в старых документах. Заметьте, ни одна из его кляуз не подтвердилась. Но он будто и не заметил. И сейчас сидит дома и сочиняет. Если раньше он должен был приходить и как-то смотреть нам в глаза, то после увольнения он просто как с цепи сорвался. Он теперь уже мстит за то, что его выгнали. Перешел на личности.

У моего заместителя был инфаркт. Одна замечательная женщина, она работала вместе с этим негодяем в отделе клубов, теперь просто не выходит на работу, заболела. Вам я могу сказать — она пыталась совершить самоубийство. Он едва не развалил ей семью. Муж простил ее, все понял, он преподает в институте, солидный человек. Он женился на ней, когда она была его студенткой, у них замечательная семья, двое детей, она живет на Приморской, 12. Вера Павловна. Извините.

Выход с доски, по другую сторону ямы, преградила старуха в белом платочке, с поджатыми в нитку губами, сурово ткнув в грудь мою конвертом. «Это не мне, — сказал я, пытаясь мягко ее обогнуть, — я не здешний». — «Вам! — отвечала непреклонно старуха. — Примите меры». Господи, уже разнеслось!

В конверте находился лист тетрадной бумаги с письмом, из которого следовало, что группа болванов-старшеклассников по фамилиям Подопригора, Перебийнос, Убийвовк и Ковбаса (честное слово), обласканные учителем физкультуры по фамилии Педос (гадом буду!), при полном попустительстве зав. районо Злогодуха (ни буквы не придумывал, такого нельзя придумать), затравили учительницу литературы Постную (полный атас!). За старухой у выхода стояло несколько ее ровестниц с поджатыми губами. Отчего Газета не наделяет своих Кроликов способностью к левитации? «Спасибо! — сказал я старухе. — Огромное спасибо, мы разберемся и обязательно примем меры, одну минуту, сейчас я вернусь!» Пробалансировав по доске в обратном направлении, я

вернулся к Менглету и спросил у него, где черный ход. Или выход. Он злобно подавился огурцом и велел идти за какие-то панели, откуда узенькая лесенка, заставленная ящиками, вывела меня в крошечный глухой двор. Выхода из него не было, поэтому оглянувшись, я перемахнул через забор и спрыгнул где-то уже вовсе в неведомом месте. Где же у них тут рынок-то?

Жертва

Дом на Приморской, 12, зарос виноградом, я долго тряс калитку, покуда не услышал слабый отклик откуда-то из недр: «Открыто, входите!»

Вера Павловна, пытавшаяся убить себя. Чудный украинский пончик, белая кожа с голубыми тенями, карие глаза, лучших женщин Бог, увы, пока не придумал. Пухивочка навсегда, сколько бы ей ни образовалось лет. Старательное украинское воспитание. С младых ногтей — художественная гимнастика, это и сейчас видно, при желании может, откинув голову, осмотреть себя сзади. Гад буду, ее и музицировать учили, повзрослев, она должна была стать порядочной женщиной из хорошей семьи. Правильная речь, умение делать Борщ — Пальчики Оближешь, дети, в свою очередь поглощенные гимнастикой. На заднем плане, в неприкосновенным запасе, пианино.

Срывающимся шепотом она сказала, что скоро придут девочки, вернется муж и она уже не может, да и не хочет больше говорить об этом. Увы, любая трава нуждается в предварительной разминке. Тут нужно хотя бы минуту говорить самому. Медленно, чтобы дошло все. «Я не займу у вас времени вовсе, — сказал я загробным голосом. — Я все уже знаю. И не хочу причинять вам боль. Но мне необходима ваша помощь. Помогите мне! Помогите понять, как это можно, зная, что твои обвинения ложны, снова и снова продолжать их писать, подписывая? Зачем, почему? Что это, болезнь? Вы имели несчастье работать с этим человеком. Вы с ним разговаривали. Помогите мне понять. И больше вы не увидите меня никогда. Ссылаться на вас я не стану».

— Господи, да мне уже все равно, — заговорила она механическим голосом. — Да, мы работали вместе. Вы знаете, он никогда мне не нравился как мужчина, я его просто не видела, но работник он неплохой, тороплив только, у нас ведь платят за каждый сценарий, и он очень много писал. Иногда показывалось в нем и вдохновение. На какой-то миг, вспышкой. Нет, он не страдал шизофренией. Хотя не знаю. У творческого и у больного человека возбуждение похоже. У него были семейные

неприятности. Вечно нужны деньги. Он их все время считал. Скупой от бедности. Мне было его иногда жалко. Да. Вот поэтому я не возмущалась. Я-то обеспеченный человек. Но я — женщина. А он мужчина. Нет, он иногда пытался вести себя как мужчина. Мог цветы подарить. Ну, какие там цветы, сорвет где-нибудь. Или мороженое принести, положит мне на стол, на тарелочке. А иногда он вел себя, простите, просто как баба какая-нибудь. Мог оскорбить уборщицу, наорать на нее. Сплетничать любил. Знаете, с таким смаком вдруг расскажет гадость про какого-нибудь общего знакомого. И юмор был у него ужасный. Сальный. Да, сальный. Такой, ниже талии. Он и с женщинами вел себя так, будто они существа заведомо грязные и, простите, только и думают об одном. Зато сам-то он ничего не боится и смело проговаривает как бы за женщину, как бы ее потаенные желания. Может быть, он считал, что так подтолкнет ее на более короткие отношения? Эти вечные намеки! Понимаете, он как бы показывал каждой женщине, что с ним ей, грязной, можно не стесняться. И, видимо, кто-то откликался. Потому что иначе он бы не стал это продолжать. Видимо. Хотя не знаю, какой надо быть, чтобы это принимать.

Поэтому я не думала, что ему как-то особенно нравлюсь, до одного случая. Мы оказались вместе в одной командировке, в селе, километров за сто отсюда, провели там чудесный день, директор клуба, смешной мальчишка, забавный такой, все показывал, как он занимается боксом за кулисами, пока на сцене репетируют, предложил прямо в клубе и переночевать. Мне — в его комнатке, там был диванчик, мужчинам, с нами был еще шофер, на сцене. И мы остались. Вечером я пошла искупаться, море там рядом, под обрывом. Вы когда-нибудь купались в море не на курорте, где пляжи, а в диком месте, где кроме тебя никого? По крутой тропиночке спускаешься, держась за кусты, под скалами маленькая полоска песка и огромное море. Для тебя одной. Но тут я вдруг заметила, что он идет за мной на довольно большом расстоянии. Увидев, что я оглянулась, спрятался за куст, присел. И так все время, пока я спускалась, где-то там сзади появлялся. Я было хотела его позвать, что ж тут особенного, если он тоже решил поплавать, но он далеко держался и все время исчезал, вроде бы меня не видит. Я сначала так и решила, что он тоже идет купаться куда-то рядом. Но нет, он остался там наверху. И бинокль был у него на ремешке. То есть он явно взялся подглядывать. Ну и черт с тобой, подумала я. Черт в каждой женщине есть. Поэтому может быть я немножко переборщила. Подвигалась немножко больше, чем нужно. А! Пусть попускает слюни, старый хрен! Купальника у меня с собой естественно не

было, поэтому я стала купаться в белье, а когда собралась обратно, сняла его прямо из-под платья, выкрутила и несу в руке. И тут камушки покатились и с обрыва спускается он: «Добрый вечер!» Так, будто только что появился и неожиданно меня увидел. И нет чтобы подать мне руку, помочь взбираться, он галантно пропускает меня вперед и карабкается сзади. Можете представить ситуацию. Причем на мне одно только намокшее платье. И сказать ему как-то неудобно, он же сделал вид, что только что появился, и, значит, как бы не понимает, что на мне даже трусиков нет. И я начинаю изо всей силы взбираться быстрей и срываюсь, и сползаю прямо ему в руки, и он меня начинает поддерживать, хватает за ноги и выше. Причем я все сползаю, и он под платьем уже за грудь и говорит: «Ну, давай! Давай, чего ты!» Тут я вывернулась и мокрыми трусиками, которые были у меня в руке, как начала его охаживать по щекам! И он куда-то сполз вниз, а уже и темнота наступила. Кое-как я добралась до клуба и легла на свой диванчик. А он даже спать не пришел, бродил все где-то, шофер даже забеспокоился, хотя что тут, в глуши, может с человеком случиться. Утром появился, мы сели в «газик» и вернулись в город. Ехали и молчали. И после этого случая я старалась держаться от него подальше. Даже в глаза не могла смотреть, когда приходилось что-то говорить по делу.

Вот с той поры и началось. Мужу пришла анонимка, будто бы я гуляю налево и направо. В каждой командировке. Ни одного мужика не пропускаю. Даже белья не ношу, чтобы поскорей. Потом в обком, в облисполком, в управление культуры. Кого только из мужчин он мне не приписывал?! И директора нашего, и его заместителя-старичка. У нас же маленький город, все друг друга знают. У нас же обыватели. Им поверить в то, что человек совершил гнусность, ничего не стоит. Они иного и представить себе не могут. И не сомневаются, что все вокруг гнусностями занимаются, только тихо, во тьме, так, что никто не знает. Анонимки у нас — луч света в темном царстве. Вот так было со мной. А как с другими — не знаю. Видимо, у каждого своя история.

Посещение героя

Огромное, но жидкое тело, 57 лет, в глаза заглянуть не удалось, очень оказались быстрые, вот губы были замечательные: малиновые, резиновые, ходят ходуном, м-мм!.. Душка! Василий Николаевич. Фамилия Орел. Честное слово. Материал надо

называть: «Всех заклюю!» Второй уже год расклевывает служебные и семейные тайны. Результат: один инфаркт, одна попытка самоубийства. Профессионал. Обожаю.

— Я, — сказал он, перекатив губы слева-направо, — литературовед, критик, историк литературы, известный, знаете ли, на всех пяти континентах. Так сказать.

Трепет улыбок, я шаркнул ногой.

— Ну, не смущайтесь, — подбодрил меня Василий Николаевич. — Дам вам совет. Не надо обо мне писать. Хуже будет. В такое вляпаетесь! Если вы устроите суд над литературоведом, представляете, какой отклик это найдет на Западе? Интересно, как вы ухитритесь объяснить все мировой общественности? А я, знаете ли, могу получить доступ в любую приемную.

— Скажите, — спросил я героя, — вы хорошо себя чувствуете?

— Ха-ха-ха! — рассмеялся он бархатно. — Вы тоже считаете меня сумасшедшим? Я здоровее вас, коллега.

Черт его знает, может, действительно здоровее.

— А ну, выйдем, — сказал он вдруг многообещающе, — я вам покажу, кто я такой.

Мы вышли на лестницу, спустились на первый этаж, там, под лестницей, оказалось темное отверстие, ведущее в подвал, мы сползли внутрь по сваренному из железных прутков трапу и, натыкаясь на битые кирпичи, куски бетона, трубы, мотки арматуры, двинулись в черную глубину. Где же он тут прячет молоток, думал я, вроде бы до сих пор, судя по наводке, орудовал только ручкой… А если не убегу? Тут не особенно порезвишься. И куда бежать-то, ходов я не знаю, а у него тут наверняка все натоптано, зайдет с фланга…

Орел резко обернулся. В руке его блеснул ключ. Я тормознул. «Тихо!» — раздался позади грубый голос и кто-то саданул меня между лопаток. Я обернулся и обнаружил за спиною жену Василия Николаевича, женщину лет тридцати, мощную и мрачную. «Идите вперед!» — сказала она. Иду, иду. Черт, где же у них здесь все-таки рынок? Интересно, однако, съедят они меня потом или прямо здесь закопают? Как-то неудобно спрашивать. Василий Николаевич отомкнул ключом железную дверцу, и мы вошли в один из подвальных отсеков. Вот, значит, где они показывают, кто он у нас такой.

Сыро, плесень, тусклая лампочка, стеллажи с пронумерованными папками, тумба с выдвижными ящичками: каталог. Ну-у, ребята! Это же целый архив, то гнездо, откуда и вылетают на свет созданные руками Василия Николаевича

птички.

— Да-да, моя переписка, досье, все тут.

— Василий Николаевич, — развел я руками в полном недоумении, — как же при таком подходе к делу ни одна из ваших жалоб не подтвердилась? Все зря?

— Не зря, — отвечал мне Орел. — Все досье — это правда. Родился, женился, где был, куда девался. Факты. А дальше… Знаете, не бывает дыма без огня. Я фиксирую дым.

— Как же вы держите здесь это богатство? Ведь заплесневеет, сгниет, пропадет, да и мыши тут…

— Вася ловит мышей! — сурово отвечала мне жена, указывая на пол, где стояла спущенная уже мышеловка, из-под пружины торчал почерневший огрызок приманки, мыши сожрали ее почти полностью, увернулись от карающей дужки и теперь хихикали где-то за стеллажами.

— Здесь не только дым, — сказал снисходительно Василий Николаевич. — Тут и мое творчество. — Он достал пачку квитанций. — Мои литературные гонорары. За последний год я опубликовал 120 работ.

— Боже мой! Как же это?

— Могу научить и денег не возьму. У меня план, коллега. Я слежу за календарем. В нем есть литературные даты. К датам я пишу статьи. На страничку. Есть, скажу вам по секрету, старые календари, там все уже написано. Надо просто оторвать зад от кресла. Далее — список редакций. Конечно, районки платят, м-мм, символически: 2 рубля, 3. Но одна статья рассылается всем. Я не один такой, есть и другие. Мы знаем друг о друге.

Поймите, наконец: меня поддерживает обком. Вот там понимают, что нравственность — не личное дело каждого. И что никто не станет сообщать о собственных проделках. Хотя дым идет. Мое назначение, я вам уже говорил, вы просто невнимательны, — фиксировать дым. Попадите на прием к секретарю по идеологии Екатерине Львовне Ратынской и спросите обо мне. Вы приехали сражаться со мной. А не хотите сразиться с обкомом?

— С обкомом, дорогой Василий Николаевич, — сказал я голосом Пожирателя травы, — сразится Газета (в чем я совершенно не был уверен, но бунт надлежит давить в зародыше). А Газета (я ткнул пальцем в грязный потолок) не ошибается, когда выбирает себе противников. (Гад буду, он вздрогнул.) Если после публикации вы шевельнете здесь пальцем, мы вернемся. Но знайте — там, куда мы возвращаемся, остается лишь пепел.

Губы Орла обвисли тряпочками. Он молчал. Я молчал. Молчала жена его. Одни мыши все точили свои ехидные зубки. Я

повернулся и вышел. Так уходит Пожиратель.

О моток проволоки я все-таки зацепился, влетел в какую-то стекловату. Загрохотало! Впрочем, от двери это было уже далеко. Но где же у них тут рынок?

Страховка

Хороший материал должен стоять на трех ногах, причем одна — становая, так сказать, нога-коренник. Ее принято накачивать информацией и трамбовать, упитывая и утолщая. На утолщение уходит не меньше пары дней, занятых от зари разговорами с абсолютно лишними людьми, повторяющими уже известное и вызывающими позывы послать их к маме и заняться чем-нибудь утешительным. Как правило, именно так и поступают натаскавшиеся по свету Пожиратели. Боюсь, что один я, увы, ничего не могу с собой поделать: должен вычистить зубной щеткой весь сортир. Несмотря на острое желание придушить очередного очевидца. Это единственный неприятный момент в каждой командировке, и в эти дни я себя особенно сильно не люблю. Поскольку похож на мелкую, но очень вредную бумажную крысу. Без этого не могу, грызет страх: а вдруг я чего-нибудь недопонял? Такое у меня профессиональное заболевание. Наконец, ухитрившись перегрызть все к вечеру второго дня, я изловчился и сделал себе маленький подарок, заглянув-таки к пострадавшей учительнице Постной, которая оказалась много интереснее, чем я мог предположить. Навестил я и еще одного пострадавшего, потрясенного моей любознательностью и осведомленностью молодого человека тринадцати лет, смотревшего на меня вытаращенными глазами. Расстались мы, скрепив нашу тайну крепким мужским рукопожатием, встреча проходила на заднем дворе, на ящиках, возле гаражей. Теперь оставалось лишь с чистой совестью провернуть еще одно забавное дельце, порой единственно и спасающее бедного зайку. Я начал звонить моему толстячку в обком.

На звонок мой он, естественно, откликаться не спешил, он все вскипал где-то там, на совещаниях, произнося перед ответственными аудиториями важные доклады, поэтому на третий раз я сказал отшивающей меня даме, что намереваюсь кое о чем поставить в известность лично Екатерину Львовну. И он тут же возник, из воздуха, выхватил у нее трубку мира, захлопотал, забегал вокруг стола: «Нет-нет, вы все можете рассказать и мне, это даже лучше, а еще краше изложить письменно, нет-нет, что вы, идти на прием к Екатерине Львовне сейчас категорически не

представляется возможным, все — ко мне, я и разрешу. Ну, зачем же сразу прощаться? Зачем же — решать там, у вас, мы все можем решить здесь, у нас. Нет-нет, уезжать нельзя. Как — завтра? Ах-ах, я постараюсь, но вы же понимаете…»

Через час он перезвонил и доложил, что Екатерина Львовна принять меня не сможет. Но он сделает все, чтобы организовать нам встречу, он это сделает в момент, когда она станет уезжать на районную конференцию и будет проходить через приемную. Вот где я смогу ею полюбоваться.

В приемной помимо моего организатора и мордастенькой дамы-секретаря присутствовала пара порученцев, они, войдя за мною следом, уселись справа и слева, убедительно показывая, что, если я, паче чаяния, вытворю что-нибудь возле Екатерины Львовны, хулиганство будет предотвращено ими в зародыше. Я похлопал себя по всем карманам, показывая, что там пусто. Я показал направо и налево пустые ладони. Они отводили глаза, но на каменных мордах было высечено, что пыхчу я, конечно же, зря, люди они опытные и все равно не допустят.

Наконец дверь отворилась и оттуда показалась Екатерина Львовна Ратынская, секретарь по идеологии, дама чем-то невероятно похожая на памятник Дзержинскому, такого же примерно роста, комплекции, а голову она склонила, чтобы не задеть о косяк.

Она смотрела вдаль, и взгляд у нее был передовой, однако меня заметила сразу, заметила, как я съежился на стуле, и потому, усмехнувшись своим молодцам, сказала вдруг громким молодым голосом: «Ну что, желтая пресса, накопали что-нибудь у нас грязное?» И вдруг распахнула дверь и позвала меня: «Заходите, две минуты у меня есть!» Я аккуратно затворил за собой дверь, достал мятую бумажку, сочиненную старухами, и протянул памятнику. «Что это?» — спросил он величаво. «Народ сигнализирует, — отвечал я таинственно, — о происходящем. Связи преподавателей в системе народного образования с несовершеннолетними учениками с целью не только удовлетворить свое любострастие, но и поставить в зависимость от себя других преподавателей».

— Так вот вы о чем, — задумчиво сказал памятник, — а мне сказали, вы интересуетесь Орлом.

— Что — Орел?! Заурядный кляузник, мелкая личность, ну напишу я еще одну заметочку из региона о том, как люди, овладевшие новым мировоззрением, вывели на чистую воду негодяя, мешавшего им жить и трудиться. Это даже и не темное пятно, а в определенном смысле достижение наших дней и ваших, между прочим, воспитательных усилий тоже. А вот

моральная сторона происходящего в наши дни в народном образовании…

— Хорошо, оставьте письмо, мы разберемся.

— И письмо уважаемая Екатерина Львовна, оставить не могу. Только копию.

— Как же не можете, — усмехнулся памятник, засовывая бумажку в ящик стола, — когда уже оставили.

— Какая жалость, — пищал я лицемерно. — Я же мелкая сошка, я обязан привезти свидетельства. А у меня остались лишь заявления на имя Генерального прокурора от пострадавших.

— Сколько?

— Всего два, от учительницы и одного мальчонки, пострадавшего от… преподавателя физкультуры и, несколько позже, от секретаря районной комсомольской организации. Ну, там все так неприлично, аморалка, не хочу даже говорить… Но если дело раскручивать, то можно найти еще… А Орел…

— Черт с ним с Орлом! Дайте сюда заявления!

— Не могу, вы у меня уж совсем тогда все заберете…

Тут я увидел, какие у Екатерины Львовны глаза. У нее оказались замечательные глаза, абсолютно белого цвета. Но она была все-таки настоящим профессионалом, ценю хорошую выучку, настоящих мастеров встретишь в наши дни уже не часто. Она сразу взяла себя в руки. Можно сказать — стремительно. Свистнула секретаршу, та принесла нам чай. Про конференцию мы забыли, мы вели задушевный разговор. Ни слова о тяжелейшем труде работников, поставленных партией на идеологический участок, ни слова о непростой, но такой нужной журнально-газетной работе: желудки больные, семьи не видят, но едут туда, куда надо. Она рассказывала о своем детстве, о том, как одинока сейчас, ой-е-ей, на что это она намекала, о своей дочери, которая совершенно отбилась от рук. Настолько, что!.. Боже мой, не ее ли предлагал мне приятный телефонный голос в гостинице? Какой пассаж!

— Мы с вами взрослые люди, мы понимаем друг друга, отдайте мне все…

Я понял, что пора совершать нечто чудовищное, иначе живым мне отсюда не выбраться. Все сделалось само собой, неподготовленно, я люблю импровизации, внезапность скрадывает недостаточно художественное исполнение. Но она как раз так удачно пошла мимо меня, огромными шагами, бум-бум, возглашая: «Вот я вам сейчас покажу!» (Господи, до чего же они все любят мне чего-нибудь показывать!), что я почти уже автоматически протянул ногу поперек этого могучего движения, но, прикинув вес и размах тела, подковать переднюю не решился,

им пришлось бы делать ремонт, поэтому ногу я отдернул и аккуратно вставил носочек прямо перед задней ногой. Но даже и так вышло слишком хорошо. Она начала крениться, и тут я запоздало понял, что и принятая мной мера безопасности не помогла, она начала падать. Боже мой, приходилось ли вам когда-либо видеть, как падает памятник? Приведенное в движение огромное многотонное тело, накренившись неотвратимо?.. Какая малость нужна порой, чтобы привести в действие такую мощь! Я даже и не вскочил, понимая, что ничего уже не исправить и в одиночку мне не удержать этот вес. И памятник пронесся предо мною и со страшной силой врезался, к счастью, в пустое кресло. Я успел только убрать ноги под стул. Она поднялась без посторонней помощи, она обернулась своим большим-пребольшим лицом с отличной ссадиной поперек, она разевала рот. А еще говорят, что их, принимая на работу, отбирают и по внешности, дабы красотою черт подчеркивать важность и правильность ведомого ими дела. Я тоже откинул нижнюю челюсть, я развел руками, показывая ей с ужасом на завернутый уголочек ковра, только что перед этим мною поддетого. Она все разевала рыбий рот свой, а я уже несся в приемную с криком: воды, воды!

И когда понеслись в кабинет спасатели, я вышел, кланяясь и пришепетывая. И… все!

Муха в молоке

Все. Я знаю все. Я набит подписанными текстами всех разговоров. Я даже подстраховался. Да, в данном случае это можно назвать шантажом, просто ничего другого я придумать уже не успевал. Зато метод самый надежный, я бы даже сказал, единственно надежный. Теперь им ничего не остается, как гадать и молчать, зная, что у меня на них что-то есть. Все. Иду искать рынок.

И тихий стук в дверь, кто-то там царапался, я велел заходить. Вошел чистенький кроткий лысый человечек.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я еврей.

— Это вы к чему? — спросил я, несколько обалдев.

— Ну, чтобы потом не возникло недоразумений. Меня зовут Гаврила Аронович.

Как-то болезненно он на меня смотрел.

— Вас что-то гнетет? — спросил он робко. — Мне кажется, я догадываюсь. Вам не нравится жить. Если вы не рассердитесь, я дам вам один совет: когда вам так плохо, что больше не хочется

жить, сочиняйте притчи. Мне очень помогает.

— Какие притчи?

И сказал Гаврила Аронович:

— Вы знаете, человеку все вредно. Даже когда много кислорода, оказывается, вредно. Мой покойный дядя не пил, не курил, так мало ел, он даже почти не дышал, он хотел жить вечно.

— От чего же он умер? — спросил я в растерянности.

— От жизни. Я же вам говорю: человеку все вредно.

— Это притча?

— Конечно. Поэтому и убиваться не имеет смысла. Изменить нельзя ничего. Жить — вредно. Но люди могут друг друга спасать. Я пришел к вам поговорить о Василии Николаевиче. Скажите, кто-нибудь отозвался о нем хорошо?

— Увы. В вашем городе такого человека нет.

— Такой человек я. Я прошу вас — пожалейте его. Он не такой уж хороший человек. Но он не такой уж и плохой. Он как все. Как я. Как вы, простите. Я совсем его не защищаю, нет. Просто выслушайте меня.

И сказал Гаврила Аронович:

— Мы работали вместе, мы писали сценарии для массовых праздников. Он был беден. Видите ли, мы получали по 90 рублей. Из них половину он платил за квартиру. Он перед этим бросил свою жену. Так бывает. Он думал, что в ней причина бед, и стал снимать квартиру. Потом… Вы видели его новую жену. Она же молодая женщина, товаровед, зарабатывает больше Василия Николаевича, вы понимаете, как она к нему относится. Если по деньгам, он не в состоянии выглядеть так, как надо мужчине. У него взрослая дочь, ее надо выдать замуж, он бедняк. И вот он приходил на работу к 6 утра, пока никого нет, и печатал на машинке свои заметки. Вы их видели. Чтобы заработать еще 90 рублей.

— Я это знаю, мне все уже рассказали.

— Не все. Знаете, с ним случилось такое невезение, он влюбился в одну красивую, счастливую женщину… Она работала с нами, и она смеялась над ним.

— И это я знаю.

— Вы ничего не знаете. А дело в том, что его просто никто не любил. Еще до кляуз. А он мог вдруг приласкаться к человеку. И — безответно, все только удивлялись, пугались даже. Он на меня тоже иногда кричал. Но потом приходил и просил прощения.

Представьте, человек не видит света, зарабатывая эти жалкие деньги, а рядом люди, у которых и квартира, и большая зарплата. Нет-нет, я согласен, не надо заглядывать в чужой карман, это

нехорошо. Но я же и не говорю, что он поступал хорошо, я говорю: он имел основания. «Комплекс несправедливости». Это ужасно, я знаю, но ведь и они его не жалели. Они его уволили. Они и меня выгнали. Потому что я написал хороший отзыв на его последний сценарий. Конечно, Василий Николаевич не дописывает строчек, делает много ошибок, но в его работе что-то было! Нет, они не дали ему шанса, они его выгнали, и тогда он стал писать жалобы и стал их подписывать. Он начал мстить! Вам никогда не хотелось отомстить? Каждому хотелось. И каждый должен был удерживать себя обеими руками. Он не удержал.

А сейчас уже они ему мстят. Они вызвали вас. И вы ему мстите. Не потому, что он сделал вам плохо. Из идеи: жертвы должны быть отомщены. И вот нас всех захлестнула месть. Мы мстим, мстим! Кто мы? Он — перенапряженный человек. Вы — перенапряженный человек. Я знаю, потому что я тоже перенапряженный человек. Василия Николаевича убивает жизнь, и он сопротивляется. Он пишет на нее жалобы.

— А вы?

— Я сочиняю притчи. Видите ли, меня убивает литература. Однажды я написал рукопись объемом в 300 машинописных страниц, и в ней я написал все. Я умирал от собственной храбрости. Я, знал, что это не напечатают. И все-таки я послал пятый, слепой экземпляр в «Новый мир». И за один месяц ее прочитали пять членов редколлегии. И они позвонили мне и вызвали меня туда. Я читал отзывы. Критик Верещагин (вы не знаете, есть такой критик?) написал: «Эта повесть о смысле жизни, и таких повестей, во всяком случае в нашей литературе, не было». Вы знаете критика Веру Смирнову? Нет? Так она написала: «В нашей литературе мало книг такой искренности». Мою рукопись читал Твардовский! Но когда я приехал в Москву, им стало не до меня, потому что Твардовского сняли. И я уехал обратно, а через год рукопись мне вернули. И у меня был страшный период депрессии. Моя жена даже поняла так, что меня надо спасать. Я все время уходил, и она меня искала в самых странных местах. Однажды я жил на свалке с нищими. Целую неделю. Но я ничего не помню. Жена спасла меня. Я стал жить нормально.

Но оказалось, что это временно и я не могу остановиться. Я написал несколько романов, и каждый раз чем ближе к концу, тем сильнее мне хотелось уйти. И я уходил не помню куда, а жена искала меня. Это парадокс. Я не могу не писать, но, когда я пишу, я иду в могилу, потому что нет решения того, о чем я пишу, ни в жизни, ни в литературе. И я бы, наверное, умер, но я стал сочинять притчи.

И сказал Гаврила Аронович:

— Однажды в детстве мы играли в прятки. Я спрятался за дерево так хорошо, что дети никак не могли меня найти. Я так радовался! И уже настал вечер, они все кричали мне: «Гаврик! Гаврик!» Но найти меня не могли. Я так и остался спрятанный. Потом настала осень, пошел снег. Все замело. И однажды я слышу, мимо идут люди, и они говорят: «Помните, мы играли здесь в прятки, и Гаврик так хорошо спрятался, что мы не смогли его найти? Где он сейчас?» И я все это слышу. И я хочу сказать им: «Дети! Я все еще здесь!» Но — я уже ничего не могу сказать… И сказал Гаврила Аронович:

— Умоляю вас, пожалейте его! Его никто никогда не находил. Нет-нет, вы пообещайте!

— Обещаю, — сказал я. И тогда он ушел. А я спустился следом и пошел на рынок.

Финиш

Я вернулся в пустую летнюю квартиру, стер пыль со стула, сел, пододвинул чайник, заглянул — почти доверху был он полон распаренной черной массой. Чифирь недавнего происхождения. В холодильнике — полупустая бутылка «Буратино». Возле холодильника 5 пустых бутылок из-под портвейна. Откуда взялось это добро здесь, где никто не живет? Я вернулся к двери и проверил замок, он прекрасно защелкивался и не был исковеркан. Кто пил в моей квартире портвейн с «Буратино»? Кто варил здесь чифирь и прикончил мой чай? Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Кто бросил к двери мой любимый махровый халат, теперь спекшийся от грязи, и вытирал об него ноги? Я заглянул в спальню: не взято ничего. Нет, задели проигрыватель «Аккорд», уронили и оставили на полу.

Вечер настал. Я зажег было свет, но тут же выключил: вдруг он смотрит из тьмы на мои окна, чтоб узнать, не вернулся ли я, увидит, что вернулся, и не придет. Но если он потерялся после Сделанного Им, как всегда не найдя ответа, и уйдет теперь — ему кранты. Долго ждал, в темноте всю посуду перемыл. Воды вскипятил, выпил пустой кипяток. Молодец, ничего из дому не унес, испачканное отстирается. Он это тоже понимал, а проигрыватель задел в сумерках, да и проигрыватель-то был барахольский. Нет, ребята, наверное, это была уже не трава. Мне ли не знать, Пожирателю. А если еще и трава, то мертвая, почти перегной. Ее не едят кролики, только червяки.

Утром я позвонил Паше. «Извини, старик, — сказал я

бесстрашно. — Деньги у вас в бухгалтерии все равно я не брал, так что перед вами я чист».

— Ты что? — спросил Паша, который был уже свеж и давно на работе. — Ты заболел?

— Нет, но, понимаешь, там мне попался один сумасшедший и перебил всю игру. Я ему пообещал про эту сволочь не писать.

— Но ведь он — сволочь? — допытывался Паша.

— Еще какая.

— Старый, я тебя не понимаю, я с тобой, прости, перестану дружить. Значит, сволочь должна жить и дальше травить людей лишь оттого, что какой-то сумасшедший… Он сумасшедший?

— Да не особенно, просто между нами проскочило что-то.

— Вова, у тебя с речью что-то, — сказал догадливый Паша. — Пойми ты, ведь если он сумасшедший, он завтра слетит со своей идеи, перескочит на другую, он просто забудет про тебя с твоим обещанием. И, прости, это смешно. Тебя послала Газета. Кстати, ты ведь сначала не ему, а Газете кое-что пообещал. Мы на тебя надеялись. И догадайся наконец, если ты не напишешь, мы же все равно пошлем туда человека, и он напишет, только хуже. А знаешь, идея, старик! Ты напиши все: и про этого чудака, и про то, что ты ему пообещал, и публично перед ним извинись, мол, прости, друг, не могу молчать.

Вова! Другой напишет, учти, и хуже. Но тебе больше не будет к нам ходу. И скажи, тебе деньги уж больше совсем не нужны?

Сколько он меня добивал? Минуты полторы. Петух не успел прокричать. Вот что такое Газета.

— Хорошо, пусть это буду я, — сказал я.

— Именно, именно! — закричал в восторге Паша. — А ведь главный довод я тебе еще и не сказал: не напишешь — тебя жена убьет. Утюгом! Хо-хо-хо!

Ну, и написал я все. И про Гаврилу Ароновича. Как-то беру в руки Газету, а там мой материальчик. Здоровенный. Но никаких в нем Гаврил. И даже знаю, как такое случилось: в последнюю минуту пришла оперативная мелочевка, и из больших кусков срубили то, что смысла не меняло. «Прости, старый, пришлось твоего чудика того…» Вот что такое Газета. А на другой день я уже получил гонорар.

И вот ковыляю я от калитки, в руках, в зубах, на ушах, на бровях пакеты, сумки. Хозяева на травке. Оленька бежит. И мчится мой ребенок Ванька шести лет отроду, на починенном кем-то велосипеде. Мой мыслитель, мой открыватель миров. Он примчался, он тормознул, он задрал ко мне лопоухую свою головенку, и протянул кулачок, и разжал его, и там был крестик. Маленькое распятие.

И сказал мой сын в жутком волнении:

— Папа! Видишь, это Христос. Он спустился на землю посмотреть, как люди живут, а они вон что с ним сделали.

Глава III
90-е. Голос из оврага
Полевой дневник

Наблюдения за эпохой перемен, в которую жить никому не советуют, а мы жили Наблюдения за людьми, попавшими в переплет

У нас была любовь, а теперь — ремонт
Реакционный этюд

— Как сейчас помню…

— Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше!

— А я помню, как совсем-совсем рано!!!

Что-то из Маяковского

Век умирает как звезда…

Все, ребята. Никакого двадцатого века больше у нас не будет. В двадцать первом пожить удастся лишь с краешку… Все наше — за плечами. То чудное, растерзанное пространство, где гробы и башни, где великие негодяи и дикие страдальцы, где жизнь, и слезы, и любовь, отчеркнется, уйдет в туман… Дождь на стекле. Кулак рябины озябшим суставом тычет в стекло, тюк-тюк! Зачем всматриваться в умершее?

Ушли поколения людей, которых можно было сбросить без припасов в тайгу и забыть про них, а прилетев через годик, обнаружить под крылом самолета дымящий заводик, а на нем бодрых бурых медведей, выпускающих, изощренно матерясь, какую-то продукцию. Уходят романтики трудных дорог. Уходят и певцы во стане их.

А они нас заслушивались, зачитывались. Помню, как, преданно глядя мне в глаза, жарко шептал Фарит Газизуллин, комсомольский бог Набережных Челнов: «Ну, чтоб тебе умереть сейчас, здесь, на КАМАЗе! Какие бы мы тебе похороны устроили! Да я бы десять тысяч комсомольцев выгнал на улицы прощаться. Какая могла быть акция! А? Ладно, наливай!»

Жила-была огромная, в дымину пьяная, счастливая, не ведающая, что творит, страна. Остров Пасхи.

Герои пятилеток. Покорители тундр и пустынь. Заворачиватели рек. Сметатели гор. Им в общем-то некуда уж больше спешить и некого больше любить! Оттого-то и исчезает у них охота жить.

Они жили вопреки нормам, Правилам, Человеческим возможностям. «Это нельзя! — ужасалась жизнь. — Даже представить такое невозможно!»

«Возможно!» — отвечали ей безмятежные дети невиданной страны и пинками, матом, надрывая жилы и животы, вгоняли ее в кромешное, кровавое, красивое месиво чуда.

И ведь никто нас не любил. Одна Болгария. Да и то как-то исторически. Помню приятеля прижали в Софии другари-болгары и, как у глухонемого, жарко и громко начали спрашивать: «Что вы всем себя навязываете? Ну что у вас хорошего? Телевизоры у вас плохие, тряпки — плохие, еда — отвратительная!» Мой приятель, человек основательный, таким нестандартным напором озадачился: он с ними как с людьми, Шипка все-таки, Алеша… «Танки у нас хорошие,» — отвечал он болгарам задумчиво, от чего они отвесили челюсти и, да, прав Иван, покачивая своими взбунтовавшимися болгарскими головами, сразу отвалили.

Ну ладно, не любили, но боялись. Так нам и виделась какая-нибудь американская мамка, которая пугает на ночь своего разбушевавшегося бэйби: «Спи, май дарлинг, слядко-слядко, а то русские придут! У!»

Но тут как-то в поезде, идущем по Германии, спрашивает меня одна поджарая американская леди, отбившаяся от своей стариковской кочевой тургруппы: «Вы откуда?» Я ей честно сознался. У старушки глазенки засверкали: «Как интересно! А где это — Россия?» Вот… как ей объяснить? «Москва! — говорю. — Длинная рука Москвы!» — «А-а! Подождите… Россия… Это где-то в Сибири, угадала?» Это же надо какими американский бэйбенок представлял идущих за ним русских! Волосатые, руки до полу, с медведями и волками на поводках, с большими дубинами, топ-топ из своей Сибири, на липовой ноге. У!

И вот она настала, эпоха похмелья. Трезвеющие люди захотели узнать правду. А это всегда — беда. За новое знание мы хорошо расплатились…

Как жить теперь дальше поколениям брошенных душ, умоляющих в страшной тоске: назад, назад, в Сады Скорпиона. Они хотят туда, где было им хорошо. Где они реяли гордо. Между молний.

Трагедию дедов и отцов запечатлел в возвышенном гимне некий школьный оболтус, песнь его с диким воодушевлением распевает поутру моя малолетняя дочь: «Над седой равниной моря гордо реет жирный пингвин! Он и сам уже не помнит, как он смог с земли подняться. Гордо реет третьи сутки, потому что он не знает, как сажать себя обратно».

Мир раскололся. По одну его сторону — толпы старых дураков, по другую — такие же толпы дураков молодых. И так хочется начать дубасить друг друга. За что? За то же самое. «Жук-буржуй и жук-рабочий гибнут в классовой борьбе!»

Дочь моя, создание нового этноса, уже явившегося на Руси, куда несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном

заливается, летит и уносится ветром… И я остаюсь один со своим разваливающимся миром. Я не знаю, что с ним делать.

Я слышу стук в дверь. Это входит мой брат. Его зовут — Одиночество. И все же я ему рад. Я говорю ему: «Брат, ты что-то зачастил ко мне. Подари мне свой портрет, и я повешу его на стене». Он отвечает мне: «Брат! С тобой стряслась беда. Но я не брошу тебя, я останусь с тобой навсегда. О, да!»

Старый блюз. И сочинитель его умер давно. И все они умерли. Каждый со своим.

Утренний, ни с чем не сравнимый кайф — не торопясь, развалившись в кресле, обзванивать перед Новым годом любимых. Не по новой телефонной книжке, где реденькие записи, последний срез знакомств, а по старому, доброму, распухшему, расползающемуся гроссбуху.

Алексей Иванович Аджубей, Алена Бакшицкая, Зиновий Гердт, Майк Науменко, Сан Саныч Иванов, Сережа Курехин, Юрий Владимирович Никулин, Шнитке Альфред Гарриевич (Дм. Ульянова, д. 4, корп. 2, подъезд 2, эт. 11, кв. 155, т-н: 137-48-17, звонить через два гудка)… И дальше, дальше. И все они умерли, умерли… Возле каждого номера черной каракулькой церковный крестик. Утонули во времени. И не со всеми я расплатился. Это сколько ж тому назад после ночной репетиции в Студенческом театре МГУ Юткевич сунул мне, студенту, трешник: возьми такси. Так я ему трешника и не отдал.

Мимолетности, сны. Ночь. Спящая промороженная Москва. «От двери цокают копытца, мохнатый кто-то. Вор? Иль бес? И вдруг обнюхал наши лица, зубами пискнул и исчез…» Пистолетный шлепок на Ходынке. Далеко слышно. «Аукцыон» в казино на ипподроме. Под тяжелые волны, потряхивающие пол, мальчики с пальцами топчутся, как слоны на лесоповале. Как Бэтмен проносится Гаркуша, а над головами мечется распоясанный Федоров: «Остановите самолет, я слезу!!!»

А самая нежная песня была у них лет десять назад: «Я стал предателем». Такой весь в ожидании, на цыпочках, весь в лентах, синих гирляндах, смехе далеком, вальс такой, новогодний: «И я случайно в давешней чайной понял секрет: нас просто нет, вот беда. И в принципе не было вообще никогда…»

Вот созданное на двадцатом этаже «Молодой гвардии», в буфете, Всероссийское общество тупых. Все-тупейший, тупейшие первой и второй степени, просто тупые, девочки-тупышки. Цель общества: борьба за возрождение культуры коми-пермяков. Особенно, помню, нас пермяки умиляли. Беззащитные. Едят где-то там свои пельмени. Кто-то предложил создать для них письменность. Согласились на том, что деньги, нужные для

беззащитных братьев, соберет великая акция «Москваль за нами!». На пустыре, у подножия здания, 26 добровольцев должны будут повторить подвиг героев-панфиловцев, не пропустив армаду фашистских танков никуда. Танки, снаряды, патроны, пулеметы, гранаты, коктейль Молотова, добровольцы — все настоящее. Стоимость зрелища из окон буфета на двадцатом этаже мы оценивали где-то в миллион баксов с носа. Богатых ценителей истории собрать не составило бы труда, останавливало отсутствие главной завершающей детали: по железнодорожной ветке, огибающей пустырь, должен был въехать в самый разгар битвы бронепоезд «Матрос Железняк», чтобы шквальным огнем накрыть все это безобразие.

Достать бронепоезд не брался никто.

Длинная жизнь, протекающая в нежных подначках, забавах, тоске и печали.

Я хочу быть старым, старым, старым,
Старым-старым, старым-старым-старым,
О-очень старым, очень-очень старым,
Ста-а-арым, ста-арым большевиком.

Кстати, Курехин утверждал, что изображений Ленина в стране было совсем не много, а мало. Просто стояли они, бронзовые, глиняные, деревянные, — не там, где надо. Вот представьте, влез альпинист на рекордный пик, а на острие — Ленин с указывающей вверх рукой. Нырнул водолаз в страшную водную тьму, вгляделся, а на дне — Ленин. А-а-а!!!

На фестивале финско-советской дружбы Курехин бережно поднял вверх свои руки и объяснил обалдевшим финнам: «Это протезы. Руки я потерял еще в детстве, протезы подарили мне рабочие-умельцы завода „Красный пролетарий“. Благодаря им я могу теперь виртуозно играть, потому что в движение они приводятся просто дыханием, смотрите, вот я выдыхаю, и мои пальцы делают этот трудный пассаж». И он начинал глубоко и трудно дышать, а протезы играли блюз. А Сережа никогда не мог спокойно слышать блюз, он всегда принимался плакать от этой простой негритянской музыки. А протезы его клевали клавиши, как птицы, и все финские корреспонденты потрясенно рассказывали в своих финских газетах о феноменальном русском пианисте.

Слава Полунин собирал толпу на площади на великое зрелище «Тачки», великий забег с тачками, чемпионат мира,

катастрофу, апокалипсис, возникающий из ничего, на пустом месте. Его тряпичные ребята с криками, что всех сейчас задробят, кидались наперегонки со своими тачками, и далее — понеслось! Сначала они просто сталкивались и орали друг на друга, от тачек отлетали колесики, потом что-то принялось гореть, взрываться петарды, все круче и громче становилась беспощадная гонка, и вот уже на площади, еще десять минут назад безмятежной и ухоженной, дым валил, нагромождалась свалка, и уже все гремело, пылало, и подъезжали пожарники, и заливали все это безобразие пожарной пеной, и ошалевшие зрители вдруг принимались носиться по облакам этой пены, а ее все прибывало, она уже покрывала их с головой, они теряли друг друга, потом там, внутри, вдруг принимались раздеваться, и нырять, и валяться в белых волнах, хохоча, как гиены.

А можно бы жить хорошо… В одежде из рыбьего меха, из тихого говора, смеха. Под этим танцующим снегом. Под этим торжественным небом. Да.

Хотя помню поединок в городе Гусь-Хрустальный. Жена ветерана хрустального производства встретила у проходной работницу фабрики Раю, которая пыталась отбить у нее одноногого мужа, и железным прутом покалечила ей лицо. Она вернула инвалида в семью.

Много я помню интересного.

Нет, ребята, так долго не живут.

Вот знаменитый демократ. Захотевший плюс к своей демократической газете создать нечто невесомо-легкомысленное, но прибыльное. Не денег токмо, идеи ради, дабы поддержать гибнущее в нищете, но нужное делу демократии собственное издание. Я, вдохновленный, сделал ему со своими мальчишками первый в стране ТВ-гайд, обещавший невиданную прибыль, первый номер был уже сверстан, реклама найдена, распространители клялись с ходу продать не меньше двухсот тысяч тиража, и тут коварный демократ очнулся и велел закрыть все к чертовой матери, а команду выкинуть на улицу. Команда, собравшаяся потрясти Россию, рыдала. Через пару лет все это я сделал у другого хозяина, с ожидаемым успехом, но все, помню, хотел узнать, что же скрывалось за царственным жестом, неужто в последний момент не рискнул великий и ужасный поступиться принципами, изменить себе, замарав имя желтизною? Дурачок, сказал мне человек, знавший все с самого начала. К нему просто пришел очень крутой мэн, сам уже готовый выпустить подобное, и положил перед демократом толстую связку баксов. И убрал конкурента.

Вот банкир Виноградов, человек, который, как всякий

русский человек, любит быстрой езды. Помню, ехал я с ним по загородному шоссе на его личном джипе «Мерседес», такой железный ящик размером с грузовик. Всесильный человек задумчиво ехал с обычной своей скоростью 180 километров в час, а был вечер воскресенья, и все московские машины ползли с дач домой, вся правая сторона дороги походила на слабо шевелящуюся булыжную мостовую, так что мы лупили по левой стороне, практически свободной. В общем, когда навстречу нам выехал грузовик по имени КРАЗ, пришлось нырнуть в общий поток.

Ржавый «Жигуль», которого поддел наш ящик, перевернулся три раза и осел на крышу. Дальше начались богатырские дела. Телохранитель, человек-гора, подминая асфальт, протопал к лежащему на спине «Жигулю», внутри которого вяло трепыхался владелец, взялся за рваную дверь, побуровел от натуги, рявкнул и перевернул машину на колеса. Разъял боковину и вынул владельца, который при виде металлолома, каким стала его дырявая «копейка», взял голову в руки и, мыча, зашатался.

И тут виновник всех его злосчастий, увидев, что натворил, раскис прямо на глазах. Могучий расшибатель техники в лепешку, крутой бизнесмен и банкир оказался такой мукой раздавлен. Он взялся за кошелек. И вытащил все, что там было, шесть тысяч баксов. И сунул их безутешному пострадавшему.

Почувствовав деньги в руках своих, пострадавший ожил на глазах, тщательно пересчитал полученное и, даже не оглянувшись на останки бывшего своего сокровища, размашистыми скачками понесся по шоссе, на ходу голоснул и унесся на попутной в сторону Москвы. Рассказывать сказку о чуде и покупать себе новую блестящую игрушку. Человек-домкрат строго заметил хозяину: «Ему бы штуки хватило». — «А! — махнул тот рукой, разнеженно глядя в пространство, — жалко мне его стало». Вот такие у нас русские удаль и размах.

Вот замечательный детский писатель, насмерть схватившийся с фирмами, которые не заплатили ему денег за использование на конфетных обертках выдуманных им некогда детских героев. Он забросил всю свою писанину, он весь ушел в борьбу, он поднял на дыбы печать. Видимо, не получалось у него придумывать новых героев, не собрав денег за старых.

Вот художник, между созданием огромных своих, во всю стену, картин — знамен эпохи, отобравший землю у храма, чтоб построить на ней себе особняк…

А те — те все умерли.

…Под этим танцующим снегом, укрывшим от выпавшей доли, уж боле ни счастья, ни света. Но вволю покоя и воли.

Проклятый Запад изобрел комплекс неполноценности. А мы — комплекс недоданности. Мы — единственная, наверное, страна, где о человеке всегда судили не по оценке его со стороны, а по тому, что сам о себе говорил. У нас плеяды непризнанных гениев. И до сих пор наши женщины любят подбирать этих непризнанных где-нибудь под заборами. И это, кстати, самые лучшие наши женщины. Она его за высокие слова подберет, отчистит, вымоет, рубаху ему выстирает, за стол посадит, кормит и любуется: бедный мой! А он уйдет к ночи и снова ляжет под забор. А она, плача тихо, снова его из канавы достанет, вымоет. И жизнь ему свою отдаст.

И вся загадка русской души в том, что душа эта — женская. В сиволапом, вонючем мужике — женская душа. Отсюда его беды и порывы. Вот он загуляет, взовьется, всех отлупит и вдруг — зарыдает, и, простите, говорит, меня, гада!

Вот и накрыло нас, собравшихся от ужаса в кулачок (чего же это мы натворили?!), информационной волной с Запада, буддистскими ароматами с Востока. Все, что копил век, обвалил на наши головы. Какая уж сегодня великая литература! Прочитать бы все, а уж писать будем там, верней — будут там.

Вот вильнюсская баррикада, заиндевевшая, пушистая, стерильная, с клубничными пятнами приколотых на колючки партбилетов и паспортов, созданная лучшими дизайнерами республики, и тоненький мальчик с нунчаками через плечо, единственным своим оружием, уходящий, красиво покачиваясь, по холлу парламента на пост. На всех этих восставших романтиков хватило бы одного танка. И все они красиво умерли бы. За свободу.

Под Агдамом, помню, вино еще было такое, я лежал на склоне между воюющими азербайджанцами и армянами, очень надо было в Карабах, а переходить можно было лишь ночью, и меня засекли, лупить начали сразу с обеих сторон. Понеслись из черноты красивые веера трассеров, прямо в тебя, в живот, в глаза, но почему-то все мимо, где-то за головой изредка чпокнет пуля, камушками осыпет…

А вот лужицы крови после резни в Сумгаите, еще не высохли, еще стекали ручейками, еще пахло жареным от костров, где жгли убитых, помню, как я старался не ступить в кровь. А вот заросший лианами заброшенный армянский храм на горе, в Карабахе, куда мы взобрались лишь к вечеру. На десятки километров вокруг лежала опустевшая, вымершая земля, но в храме, на алтаре, в полной уже тьме, среди восковых наплывов я пошарил и нащупал целлофановый пакетик. Носочки. Живые принесли мертвым.

Вот дождь, лупивший всю ночь так, что вода стояла в

ботинках по край, а мы в прилипшей к телу одежде, взявшись под руки, длинными цепями ждали перед Белым домом, когда пойдут нас давить танки. Между цепями бродили какие-то странные старики с собаками, один спал как убитый, сидя на ящике и опершись подбородком на палку, под этим ливнем. И я, помню, подумал, почему мы ни разу не оглянулись, чтобы прикинуть, куда и как драпать, когда приедут наконец эти танки, которые нам обещали через мегафоны каждые полчаса?

Помню ощущение какого-то странного спектакля. Наши цепи стояли внизу, под зданием СЭВ, на площади, как на арене, а на эстакаде, идущей вокруг здания, на лестнице, в окнах домов, на балконах собралась масса зрителей. Их было много больше, чем нас, актеров. Дальше там, за нами, шевелилась огромная масса, прижавшаяся к стенам Белого дома, но мы стояли на огромном пустом пространстве возле хиленькой баррикады. И ливень. Было ужасно неловко ощущать себя именно актером, которому сейчас что-то предстоит сыграть.

А был комендантский час и вроде бы должны были нас, сходившихся на эту площадь, забирать, но всем на это было плевать. Каждый пришел со своим. Каждый поэтому был одинок. Это когда мы встали в эти цепочки, сцепились руками, нас уже друг от друга стало не оторвать. У каждого все внутри рвалось наружу, но уже схватились друг за дружку. Их сон, исполненный надежд, что Слово тихо возродится, освободится от одежд и Имя к песне возвратится…

Так евреи у Гроссмана стояли в очереди на расстрел. Очень по делу все здесь собрались. Ненужное поколение. Ни черта не свершившее. Я думаю, мы пришли не за свободой, мы пришли, чтобы нас здесь убили…

Но мы живы. Почему мы? Почему умерли те, другие, не хуже нас? Почему каждому свой достался век? Кто решил это за нас? Кто решил все за всю Россию? Ведь все у нас чужое: великий поэт наш — эфиоп, великий тиран — грузин, цари — все немцы, народ с тяжелым татаро-монгольским прошлым. А живем и считаем себя могучим этносом.

Россию объединяет только язык. Больше ничего. Язык общий.

В языке этом два слова главные. Оба — из трех букв. Первое пишут на заборах. Второе слово — Бог. В пространстве между этими двумя словами и живет загадочная русская душа.

Я — очевидец. Для чего я должен все видеть и помнить? Я не знаю. Может быть, для Бога; когда помру, я ему все расскажу.

Я опущу восторг, упоение любовью, успехом, молодостью, стихами, весенними лужами, все, что мы тоже пережили. Об этом расскажут Ему другие. Я о своем.

Не знаю только, понравится ли это Ему?

Рождество 1984 года

Как всякий истинный художник
Рисует истовейший дождик
Иль груды морд, что прут, горя,
В густом наваре января,

Так ночь усердно и шершаво
На стеклах вяжет зыбкий смысл,
В надбровьях гаснущую мысль,
Под сердцем зябнущую жабу.

Век умирает как звезда.
И проступает та черта,
Где совмещает нет и да
Глазниц орущих пустота.

Спят, погасив глаза квартиры,
Водою черной налиты.
Все сон. Спят мира командиры.
Кумиры спят. Усни и ты.

От двери цокают копытца.
Мохнатый кто-то. Вор или бес?
И вдруг обнюхал наши лица.
Зубами пискнул. И исчез…

О национальной гордости великороссов

Страна, где каждый день кого-то убивают. И каждую ночь. Малых сих и великих. Вот Талькова убили. Что-то он пел под гитару. Про Россию. Ну, убили. Пора бы привыкнуть.

Но рыдают толпы фанатов. Женщина звонит в редакцию по утрам: как жить, он ей снится каждую ночь? «Память» под предводительством пузатого человека в черной рубашке толпится у гроба. Господин Васильев, это политическое убийство? А ка-ак же!

Вот этот господин в черных очках, как говорят присутствующие, Талькова убил. Тоже толпится на кладбище. Он

обнаружил, что Тальков его не уважает. Ну и убил.

Тальков пел себе про Россию, пил водку, во хмелю становился бешен. Говорят, когда господин в черных очках потребовал к себе уважения, Тальков тоже был бешен, говорят, он вообще всегда… Все-все-все. О мертвых только хорошее.

Много мертвых. Все больше их на корабле. Корабль мертвых. Поговорим о живых.

Страна, где, взяв друг друга за горло в заблеванном подъезде, спрашивают жарким шепотом, брызгая слюною в лицо: «Ты меня уважаешь?» Где никто никого никогда не уважал. Где никто никому не верит, где все друг на друга плевали, где одна тоска — чтоб уважали.

Где народы, преисполнившись титанического самоуважения, требуют отныне выговаривать: Таллинн, Башкортостан. Почему Англия ни от кого не требует называть себя Инглэнд, а англичан инглишменами? Почему ее не коробит, не выворачивает наизнанку от ненависти к народам, называющим ее согласно своим языкам и традициям?

Я уважаю Англию. Я не уважаю народ, который не уважает меня. Мой дом, мои привычки, мой язык.

Страна, где все хотят, чтобы их теперь называли господами. Господа из Санкт-Петербурга, господа из Екатеринбурга, вы уже стали добрей и умней? У вас переменились манеры? Из уст ваших перестала ползти словесная блевотина? Десятки лет мы сочиняли себе все новые изумительные имена. Нам мало?

Господин Васильев, а что, если прямо тут же, на кладбище, взять и потребовать от господ кыргызов впредь именовать нас русичами, например, а не будут, в морду?! Слабо?

Мы, опрокинутые в бездну самоуничижения. Бедные, угрюмые дураки. Корабль дураков, мчащийся на всех парусах, теряя оснастку, превращаясь в лохмотья, в дырявую тень.

И многих еще похороним, если не остановимся. Дураки, дураки…

А можно бы жить хорошо
Под этим танцующим снегом,
И сытым троллейбусным бегом
Свершать путешествий вершок…

Под этим танцующим снегом,
Укрывшим от выпавшей доли,
Уж боле — ни счастья, ни света,
Но вволю — покоя и воли.

И сытым троллейбусным бегом
Несутся застывшие люди…
Мир вашим случайным ночлегам,
Где снам остановки не будет.

Свершать путешествий вершок —
Какое больное блаженство!
Святое мужчинство и женство,
Растертое тьмой в порошок…

2

А можно бы жить хорошо
В одежде из рыбьего меха,
Из тихого говора, смеха…
Под этим танцующим снегом,
Под этим торжественным небом,
Где все уж готово к побегу.
Послышится Божий рожок…

Междусобойчик

Когда господин Мавроди вышел наконец из тюрьмы, родные и близкие стали думать, чем бы его утешить. В Думу выбрали. Не весел. В Думу не идет, ну ее, говорит, пошлите какого-нибудь отсидчика. Сидит у окошечка и вздыхает. «Батюшка, — плачут родные и охрана, — смотри, вон твои акционеры пришли, целая тыща, с плакатиками, смешные какие человечки, копошатся, кричат чего-то, вон упал один, затоптали… ну, взвеселись, радость наша!» Нет, нет и нет. Уберите, говорит, их, с души воротит. «Может, пристрелить кого? — предлагает охрана. — А то мы мигом! Все одним завистником меньше будет!» Только поморщился. «А то завалимся куда, — шепчет тайный советник, — оттянемся, а?» — «Куда это вы оттянетесь? — напряженным голосом спрашивает жена Лена. — Я вам завалюсь! Все дома есть. И утешаться здесь будете. Я вам завтра самых отборных в мире баб прямо сюда приведу. Ну, сколько их там, этих мисс, штук двадцать? Вот. И выберем здесь самую отборную. По телевизору покажем. Ты, Мавродьюшка, прямо дома и посмотришь. И никуда тебе не надо ходить. А мне давно пора себя показать. Сколько уже не показывала. Что мне, так и сгнить на кухне? Да я, между прочим, и сама их всех могу победить. Одной левой. Хочешь, у тебя жена будет „Королева мира — 94“? А-а, испугался? Тебе нельзя, акционеров боишься. Да ладно уж,

мне это и самой неинтересно. Я, может, по профессии председатель жюри!»

И понеслось. Написали письма, пригласили всех знакомых из заграницы. Из Финляндии приехал знакомый дизайнер, из Австрии знакомый управляющий директор, из Италии знакомый адвокат, еще откуда-то знакомые психолог и хоккеист, все компетентные люди, специалисты по девушкам, ну и Махмуд Эсамбаев, естественно, без него просто неприлично. А человек безотказный. Это еще Черный Абдулла, бывало, вскрикнет: «Махмуд!» И уже сразу поджигают нефть.

Со всего света покатились в Москву королевы красоты, сначала штук двенадцать прикатило, с ними уж и хотели начинать, но тут довсюду дошло наконец, что русский МММ устраивает междусобойчик с бо-ольшими бабками победительницам, и вдруг привалила целая орава королев, целых сорок три.

Ну, тут уж сняли напрокат театр бывшей Красной армии. Народ подъезжал все свой, бизнесмены, которые на этот вечер оставили родные банки, ларьки, обменные пункты, подопечных, с которых в этот раз так и не добрали денег, прихватили полураздевшихся подруг, сели в тачки, типа «Мерседес», и все пошло, как в лучших домах.

Телевизионщики применяли свой коронный коварный прием: над головами собравшихся, посвистывая, проносилась длинная железная оглобля, к носу которой была присобачена камера, оглобля камерой заглядывала в лица, ища ликующие и тщательно их снимая, вдруг оказалась нос к носу с моей мм… лицом, оцепенела, ойкнула, отшатнулась и унеслась на бреющем, пошевеливая прически оживленных клиентов.

Жюри уселось выше всех, в ложе, виднелась лишь папаха Махмуда Эсамбаева.

Бизнесмен в зеленом пиджаке, тыча за спину большим пальцем, удовлетворенно сказал бизнесмену в красном пиджаке:

— Сидор, там один мужик говорит, что он — Жириновский.

— Чё, псих или правда?

— А тебе есть разница?

Разница была мне, я оглянулся и обнаружил прямо позади себя живого Владимира Вольфовича в окружении суровых товарищей по борьбе.

— Боже мой! — сказал я. — Владимир Вольфович!..

— А что же, — быстро сказал он, — у человека не может быть личной жизни?

— Да, но…

— Никаких но! Личная жизнь у человека должна быть! И на

сорок, даже на пятьдесят процентов она должна выражаться в красивых отношениях. И если вам будут показывать красивое тело, это вас будет возвышать. Меньше будет у вас животных инстинктов. Человек будет стремиться, чтобы у него стали такие же мышцы, если показывать мужчину, или чтобы у девочки появились какие-то элементы… э-э, женской красоты.

— Вы без жены?

— С женой мы вчера были во МХАТе. Современный спектакль, перестройка, наши сегодняшние реалии. Вот так. А сегодня мы решили сходить чисто мужской компанией. Без женщин. Чтобы можно было свободно обменяться мнениями. В баню же с женой не ходят.

— Других депутатов Думы не заметили?

— Да нет, они сюда не придут, побоятся. Им бы только там, в комитетах, дискуссии бесплодные. А дома он — фанатик, домостроевец! А мне нужны особые ситуации, чтобы снимать стресс. Очень ущербная жизнь у политика, вот пришел отдохнуть, а вы не даете. Да нет-нет, куда вы, спрашивайте, спрашивайте, раз уж… Вчера пришел в театр, тоже журналисты набросились, пришлось даже выступать. Пришел домой пообедать после митинга, дома толпа людей уже набежала. И все с вопросами.

— А может бросить все?..

— Нет, я просто другим такой жизни не желаю. Вот сидим, а начало все откладывается, а у меня дела, меня уже ждут люди, надо отдать распоряжения. Боюсь, что лишь первый тур мы посмотрим, а уж результаты узнаем из новостей. Мы же хотим сделать между собой ставки, ну, поставить на девушек, кто победит. Междусобойчик. Вечером узнаем результат и разделим выигрыш. Свое казино, партийное. Народ у нас азартный, чуть что — делаем ставки. Но вот началось, извините, мы должны следить…

Тут на сцене возникла пара братьев Верников, улыбавшихся так сыто, загадочно и ошалело, будто только что вылезли они из королевских раздевалок. А может, и вылезли, кто их знает, какие там дела у королев с братьями. Облизываясь, они принялись рассказывать о том, что нам покажут сначала, потом: «и наконец, третий тур. Самый волнующий, самый, мы бы сказали, интимный, ибо девушки предстанут без… (облизнулись) национальных костюмов, без… (облизнулись) вечерних костюмов. Они предстанут!!! (Пауза, многочисленные мелкие телодвижения, глаза вылезают из орбит!) В костюмах купальных!!!»

Я так понял, что этим осатаневшим братьям специально несколько лет не показывали ни одной женщины, даже в пальто.

— Э-эмм… — сказал один из этих сексуальных маньяков, — я

стоял там… И вспомнил песенку: «Если б я был султан, я б имел… э-э, имел! трех жен!» Какой счастье! Но почему не сорок трех? Тут у нас за кулисами сорок три, э-э… И я лично чувствую себя абсолютным султаном!

Но тут уже, видимо, испугавшись, что сексуально озабоченные Верники кинутся за кулисы, чтобы там осуществлять свои желания и иметь наконец всех жен, гарем вывалил на сцену. О господи!

На мой устаревший и глубоко субъективный вкус зрелище было удручающим. Огромные, плохо сложенные в большинстве своем девицы с приклеенными улыбками. Я хотел бы посмотреть на людей, которые отбирали этих странных девушек и где-то там назначали их первыми красавицами. Даже по собственным, весьма небогатым впечатлениям от заграницы я могу сделать нахальное заявление: эти девушки далеко не первые красавицы в своих странах. Я видел в той же Германии, Италии, Франции или в Англии, например, просто ослепительных женщин. Это надувательство, господа!

— Ну что ж, — сказал сзади Владимир Вольфович соратникам, — на работе руководители тоже иной раз злоупотребляют с подчиненными женщинами. То же самое — студентки и преподаватель, тренер и спортсменки. Это, к сожалению, есть, когда девушки вступают в такие отношения ради оценки, зарплаты, квартиры, карьеры. Или чтобы победить на конкурсе. Рынок вторгается в личную жизнь. Деньги решают все. К чему мы придем?! А? А главное — сделать правильное половое воспитание! Ну, ставки сделаны? Тогда пошли!

Более всех поразила меня «Мисс Россия», изможденная девушка с задерганным злым лицом, это она-то у нас всех краше? И вдруг я понял. Они не красоту женщины вообще собой олицетворяли, а женский тип того или иного народа, и все встало на места. Да, именно такие, коренастые, с широким лицом — настоящие шведки, такие, сотканные из мелких переливающихся движений — настоящие шриланкийки, и именно такие — исхудавшие, с выпирающими ключицами и острыми коленками, на грани истерики — сегодняшние русские женщины. Но зачем тащить на сцену наше несчастье?

Тут вдруг из-за кулис выдвинулся в полном составе хор имени Пятницкого. Приглашенный, видимо, изобразить русскую удаль и молодечество. Разрывая динамики, врубилась могучая фонограмма и дебелые певцы и певицы разинули пасти, практически в нее попадая. Они поводили плечами, разводили руками, притоптывали ногами, а в заключение под ту же фонограмму изобразили троекратное ура, вручив при этом жене

благодетеля Мавроди торт, который вертлявые братья-ведущие тут же подхалимски обозвали хлебом с солью.

Все катилось к концу. Один Верник бесследно исчез, второй, видимо, принял за сценой что-то на грудь, стал абсолютно невнятен, нес ахинею, пугал девушек, восклицая почему-то при этом: «Плииз!» и «Ай донт спик инглиш!» — он потерял переводчика, о чем и сообщил какому-то гостю, произнесшему было длинный спич, так и оставшийся без перевода. Тот не огорчился, потрепал ведущего по плечу и сказал: «Ноу проблем!» — «Нет проблем? — заорал в восторге брат-Верник. — Это самое лучшее, что было сегодня сказано за весь вечер. Нет проблеммм!!!»

Потерял он и листок с именами участниц, и потому объявление им победительниц звучало, как текст на заседании комиссии ООН по жизненному уровню. «Пятое место, — упивался ведущий, — занимает Австрия. Четвертое — Германия! Вручите Германии цветы! А Королева мира — Швеция! Нет проблем!» И зал повалил на фуршет, забыв спросить у Верника, кто же там остался на третьем и втором месте. Нет проблем! Нах фурше! В красных, зеленых и желтых пиджаках, с длинными обнаженными спинами от Версаче, длинными волосами от Проктер энд Гэмбл, длинными ногами от Илизарова, покруче, чем на сцене. «Нормально посидели!» — сказал красный пиджак зеленому.

В эти дни в Москве не было бензина. Я влез в свою «Таврию» и попилил, прикидывая, хватит ли горючки до дому. И вдруг увидел бензовоз, только что подъехавший к заправке. Чудо, и никакой очереди! Я завернул, и тут нос мне срезала черная «Хонда», тоже отчалившая от театра. Я выполз наружу, размахивая руками: «Чего лезешь без очереди?» Из «Хонды» выпрыгнул сидевший в театре передо мной зеленый пиджак, сунул мне под подбородок ствол и спросил: «Хочешь в голове дырку? Запомни: я никогда не стою в ваших очередях!» — «Ну, все-все-все, — сказал я, — ты меня убедил». И он налил себе бензина. Я ехал и думал о том, что пистолет его был на предохранителе, а ноги он так хорошо расставил, и ничего не стоило взять ствол левой рукой, отвести, правой, костяшками, ткнуть ему в горло, подъемом ноги — в пах. В мягкой манере, в одно движение. На другой день рассказываю приятелю, тот даже расстроился: «И вокруг никого? И ты не отнял у него пушку?»

— Не отнял.

— Идиот. Сейчас у нас была бы пушка.

— А зачем нам она?

Он ничего не нашелся ответить. Действительно, зачем нам пушка? Все равно они нас победят, даже и без пушек. Да уж и

победили, пожалуй.

И все-таки было на том вечере одно место, это когда во время фуршета устроился показ, и не просто мод, а нижнего белья. Семь девчонок-профессионалок все это демонстрировали. Я не помню, что там на них было надето, что-то воздушное, не помню, у них были потрясающие ноги, точеные тела, до которых далеко любительницам-королевам, но и это неважно, я смотрел в глаза их, когда двигаясь, как странные звери, подходили они к краю по моста и бесстыдно разглядывали обалдевших мужиков. И в волчьих глазах их было написано: «Что, козлы! Балдеете?» Вот это было шоу. Время тела. Время зверей.

Вечер. Синие огни. Дальние болота.
Прогорают наши дни. Помирать охота.

Моя левая нога всосана трясиною,
Моя правая рука проросла малиною.

Из ушей ползет лоза, отсырели органы,
Мои желтые глаза плесенью подернуты.

Я на месяц погляжу: отвечай, подлюка!
Для чего я тут лежу, между кочек с клюквою?

Змеи кажут языки, голосят лягушечки.
Приползайте, мужики, собразим по кружечке!

Эх! Повалим напролом, завопим припевочки!
Там, за лесом, — водоем, в водоеме — девочки!

У них косы — во весь рост, вот такие сисочки —
вплоть до пупа, дальше хвост, значит — динамисточки.

Коготками проведут по спине, как вилами!
Если только их и тут на уху не выловили.

Отзовитесь! Ни фига. Видно, мне поманило.
Моя правая нога уперлася в мамонта.

Мамонт бивнем тычет в зад, помогает, дыбится.
Спи спокойно, павший брат, мне отсель не выбраться…

Как сейчас помню. Юрмала. Баррикада перед входом в Дом творчества Союза композиторов СССР. Обтянутые пленкой могучие торфяные кирпичи. Над ними, как Буревестник, косая надпись «Arsenàls» из длинных чулок, набитых чем-то. Видимо, торфом. Там, за баррикадой, Международный центр Нового кино собрал Международный кинофорум «Арсенал». Эти вздетые вверх кулаки заглавных букв! Из-за черной стены. Ультиматум погрязшему в разврате коммерции окружающему миру: масскульт не пройдет! Руки прочь от цитадели чистого искусства! Здесь стоять будут до последнего кирпича! Пилюлю вам! Придется проглотить!

Помню, как пробирался я через узкий пролом внутрь склада кинобоеприпасов. И как был схвачен внезапно, посажен на стул (вспышка!) — и шлепнут на месте. И как из машины напротив вытащили еще дымящийся пластмассовый квадратик, а на нем уже все мои данные и цветная фотография перекошенной мор… лица. И как прицепили квадратик к моему телу, и отпустили его наконец на свободу, и забыли о нем навсегда. Всем большое спасибо!

Помню еще, как втерся я в толпу киноведов, вальяжно шлявшихся туда и сюда, и уже как свое слушал зычные их голоса: «Однако, Фасбиндер, господа!», «Несомненно, но ведь Гринвей!..», «О йе-а! Но вот Осима! Опять нам привезли „Империю чувств“, где же „Империя страстей“? Это дискриминация, я считаю!»

Помню, как, судорожно полистав, открыл я на нужном месте Путеводитель по кинофоруму, излагающий сюжеты и сведения о творцах. ***«Фильмы Осимы „Империя чувств“ (1976) и „Империя страстей“ (1978) граничат с порнографией. Некоторые отрицают этот факт, воспринимая фильмы Осимы как поиски средств выразительности и киноязыка».*** Мы, здесь собравшиеся, естественно, как один отрицали, воспринимая. «Сорок половых актов, — сказала мне девушка-киновед с невыразимо умным лицом. — Представляете? Да хоть четыреста! А цвет! А этот тяжелый ритм, эта экспрессия! А вы кто? — спросила вдруг она. — Просто журналист?»

И толпа киноведов замерла, на миг ощутимо раздалась вокруг меня и, обтекая, плавно покатилась дальше, больше ко мне никто не обращался.

И правда, надо бы и мне сказать что-то, но что я мог сказать? И тихо сжимая свой верный Путеводитель, я скользнул туда, где уже показывали первые образцы Нового кино. А Путеводитель обещал — м-м-м! — обгложешь пальцы! ***«В фильме „Промеж“ режиссер анализирует состояние своего тела. Она*** (видимо, режиссер — дама. — *В. Ч.*) ***его демонстрирует и наблюдает за***

ним, размышляя о своей сексуальности». Отлично! ***«Фильм „Джентльмены“ — попытка правдиво и без предрассудков коснуться якобы запрещенной и бессмысленной темы — гомосексуализма в туалетах».***

Я молодец, что приехал сюда, выдравшись из этой мясорубки. Чтобы не в пересказе узнать, собственными глазами поесть это Кино, столь нелюбимое массами. Это изысканное блюдо. «***„Фри шоу“ — фильм состоит из эпизодов. 1-й эпизод — резка мяса, 2-й — глажение, 3-й — выщипывание бровей. Три сопряженных с насилием вида деятельности, которыми должна заниматься женщина».***

А название этого фильма авторам Путеводителя перевести не удалось. Что-то голландское: ***«Женщина вытряхивает из постельного белья угрей, зашивает их в простыню, а затем разрезает. Угри падают на пол».*** Нет, это слишком сильно, так же, как сорок половых актов, боюсь, стану смотреть на акты и не сосредоточусь на цвете и экспрессии. Мне для разгона что-нибудь попроще. Вон то, что крутят в закуточке на видеоэкране. Под крики чаек, под уличный шум ползут по экрану длинные фломастерные линии, ползут уже пять минут, стон открываемой где-то двери, крики чаек, ползут, ползут, иногда игриво, еще пять минут, ползут. Потрясающе! Я ввертываюсь в такое мягкое кресло (всем большое спасибо!), я в нем утопаю — и ничего дальше не помню. Я начинаю видеть сон.

Что-то стали мне сниться нехорошие сны.

* * *

Будто бы ночь. А я прилетаю откуда-то издалека, из какой-то богатой и потому веселой, полной смеха и света страны в свой любимый город («Любимый город может спать спокойно!»). И будто бы такси несет меня от аэропортовских огней к чему-то огромному, черному, ворочающемуся впереди, то ли невообразимых размеров провал, то ли туча, вставшая на дыбы и поевшая пространство. В чрево ее, в глухую, сужающуюся дыру, ныряем мы меж сгрудившихся тесно, плечом к плечу длинных сутулых домов, подслеповато всматривающихся багровыми глазками во тьму под ногами, где переливаются через помойки серые крысиные волны, натыкаясь на черные тени корявых стариков, роющихся в мусорных баках, где волокут кого-то в кусты, хрустя башмаками по разбитому стеклу, а какая-то слаженная команда с удивительной быстротой превращает в металлолом только что остановленный автомобиль

конкурирующей организации: они вспрыгивают на крышу, протыкают ногой ветровое стекло, провисшее белым карманом внутрь, а их соперники, разбросанные вокруг бывшего своего автомобиля, лежат, уже тихие и равнодушные ко всему сущему на земле. И все вдруг уносится за поворот.

Все дальше и дальше мчимся мы по изрытой мостовой, все гуще тьма. И никакого света в конце туннеля. «Что это?» — будто бы спрашиваю я у таксиста. «Это наша родина, сынок!» — будто бы шутит таксист, поворачивая ко мне медленно оскаливающееся лицо. И будто бы я начинаю понимать, что это и есть теперь мой город. Таким он стал.

Мы несемся по сосудам его, сквозь черную венозную кровь, сквозь сердце нашей родины, вперед-вперед, туда, где находится собственное его сердце, Сердце сердца, но оно не бьется, потому что в нем лежит мертвый человек. И ему тоже холодно и страшно, маленькому и одинокому. Мертвому телу в сердце нашей родины.

И будто бы я прошу таксиста выпустить меня, но у него нет сдачи с двадцатипятирублевки, и я прошу его тормознуть у пиццерии на углу Беговой, где висит табличка «Мест нет», но я ныряю под табличку и вижу, что пиццерия пуста, лишь два столика заняты, и я подхожу к ближнему, где задумчиво курит, положив ногу на стул, тяжелый молодой человек с неподвижными глазами, я подхожу к нему, протягиваю к нему денежку, и он медленно выставляет в мою сторону руку с веером желтых сторублевок, растирая их пальцами, и спрашивает участливо, как у больного: «Деточка, а разве меньше стольника деньги бывают?» Я поворачиваюсь ко второму столику, за которым беседует группа молодых людей в кожаных куртках, и ближний, не поворачиваясь, говорит расслабленно: «Иди отсюда, харя, здесь люди отдыхают!»

Я выхожу, на улице уже белый день, и будто бы надо мне купить домой какой-нибудь еды, я вижу очередь, стоящую ни за чем. Никогда не было в моем городе очередей к пустым прилавкам, и никогда не было в очередях таких людей. Тихих-тихих, ждущих терпеливо и безнадежно. Серых людей с желтыми, пористыми промокашками щек. Это в них заработала генная память, потому что настала нужда в перетерпливании, в экономии сил. Синдром военного времени.

И будто бы там, где-то, дневным сознанием я понимаю, что это сон, что быть всего этого на самом деле не может, что я сейчас проснусь и вновь вокруг меня очутится дорогая моя столица. Моя кипучая, могучая, никем не победимая! Но тошнотворная тянет за сердце тоска: вдруг я проснусь, а оно останется? И я напрягаюсь, не пуская ее в горло, но нет уже моих сил, и она начинает из меня выть. И я просыпаюсь.

И озираюсь в панике, и, слава богу, все тихо вокруг, никто ничего не заметил.

* * *

А вокруг туманная осенняя Юрмала. И этот сытый стук сыплющихся на землю от ветра каштанов, коричневых драгоценных камней, которыми я набиваю карманы, переходя вброд пространства между деревьями, расталкивая коленями разноцветные волны листьев, их пену и кружева. И вдруг настает берег, бежевая твердь его песка и молоко моря, уходящего за горизонт, в какую-нибудь Швецию, и наводящего на мысли о том, что и за ним люди живут.

И может быть, человек с той стороны тоже смотрит сейчас на море и у него появляется мысль о нас, потусторонних. И я выковыриваю из песчаного пола розовое ушко раковинки и царапаю на огромном незапятнанном береговом листе корявые буквы: «Здесь был Вова!»

Официальное открытие кинофорума. Директор Международного центра Нового кино, Председатель Оргкомитета кинофорума Аугустус Сукутс. «Дамы и господа… — он в некотором затруднении, поскольку мы, люди из страны оккупантов, тоже сюда затесались, не сообразили, что уже лишние, формально мы еще вместе, — …и прочие присутствующие в зале».

Он говорит по-латышски. Молодой человек и девушка переводят его слова на русский и на английский. Зал качает от кайфа. Это уже почти полная Европа! К сожалению, русский дается молодому человеку с трудом — сказывается тяжелое детство в стране большевиков, и Директор-Председатель, доброжелательно улыбаясь, приходит к нему на помощь. И сам переводит собственную фразу. Он прекрасно говорит по-русски. Потом он помогает девушке справиться с английским. Он прекрасно говорит и по-английски. Это высокий класс. После совместного перевода второй фразы на сцене возникает небольшая дискуссия о соответствии формы и содержания. Зал тепло принимает этот волнующий, простите, волнительный, смешной и милый спектакль. Дело ведь не в точности перевода, в конце-то концов, а в том, что на наших глазах рождается новый церемониал, почти такой же, как там, у них, за молочным морем. И не важно, что юные здешние граждане, стремительно забывая язык оккупантов (вскоре он им вовсе не будет нужен), пока еще не освоили как надо английский (хотя пора), это — дело

наживное. Важно, что в них влилась уже та свобода в словах и поступках, которая, как все мы знаем с пеленок, есть главный признак истинно западного человека.

И сказал Аугустус Сукутс: «Наш первый „Арсенал“ начался одновременно с разрушением большевизма! — И зал восхищенно шевельнулся. — И мы думаем, — пошутил далее Директор-Председатель, — что именно фестиваль послужил тому причиной!» Раздались сильные хлопки людей, стремящихся подбодрить Председателя и поддержать его смелую речь. «Нам пришлось буквально выцарапывать одного нашего американского гостя из таможни одной соседней державы, — сказал Председатель, и снова зал приветствовал этот его прозрачный намек, — где он застрял, потому что у него не было визы!» Саркастический смех зала: действительно нелепость, у человека нет визы, а его не пускают на Кинофорум. «Надеемся, что вскоре мы сможем выдавать визы в Риге!»

Что тут началось! В течение очередных десяти минут, пока переводчики спорили о том, как перевести следующие несколько фраз, а в зале царили ликование и кайф, я всматривался в Председателя. Аугустус имел вид смертельно измученного человека, глаза его были красны, он, недосыпом и переработкой, изматывая своих людей, все здесь и устроил. Он хотел, чтобы все вышло о’кей! Чтобы все, как в лучших домах. Так и вышло. Всем большое спасибо!

Я вспомнил, как некогда мы сами дерзили на кухнях, рассказывая политические анекдоты, вызывающие у присутствующих из живота идущее ощущение почти предсмертного, отчаянного восторга. И ностальгически приятно было слышать и видеть сегодня людей, которые вели себя так же, но уже в огромном зале на Международном кинофоруме. Как они эту соседнюю державу! Хоть и не называя ее по имени. Нет, они, конечно, могут и по имени, но — это если специально подумав. А в свободнотекущей речи подсознание одергивает язык. О, наше тоталитарное подсознание! О, столичная наша глухая провинциальность! Бедная, больная страна. Ее отчаянные люди!

Жаль, но ни мне, ни, увы, даже Директору и Председателю, уже объездившему всю Европу, но все еще хмелеющему от хождения по опасному краю, европейцами не стать. В нас что-то изначальное растоптано. Я думаю, и он это понимает, а не понимает — это его проблемы. Стать свободными людьми, может быть, удастся вот этой девчонке в перекрученных чулках, бредущей со своим рюкзачком по грудам опавших листьев из школы, вот этому крошечному пацану, сидящему со своей черной козявкой-собачкой на краю тротуара, свесив ноги в канаву и

сосредоточенно исследующему розовым грязным пальцем свой розовый и грязный пятачок.

Они, возможно, будут вспоминать тяжелые времена, когда в магазинах Юрмалы было лишь по два сорта колбасы и мясо лишь одного сорта, да и то не парного, а мороженого, и были «визитные карточки», не для того, чтобы представляться друг другу, а чтобы иметь возможность все это небогатое купить самим, а не имеющие таких карточек голодные гости ничего хозяйского купить не могли. На всех не хватит.

Может быть, они и будут это вспоминать, скорее — нет. Забудется. Исчезнут подозрительность и ненависть к гостям, потому что они научатся видеть в них просто людей. И чужие беды станут им внятны так же, как собственные. Потому что, если повезет, будут жить они уже в другой жизни, в той, которой нам толком и не застать, а и застать — ею не пропитаться, слишком погрязли мы в мерзости. Только дай Боже этим детям спастись. Как-то тут меня затрясло, и зал, и его аплодисменты куда-то стали заваливаться вправо, и слабеть, и вовсе исчезли, и я стал видеть новый сон.

* * *

Я видел происходящее как бы через глазок видеокамеры. Будто бы мы (кто?) выпрыгиваем из какой-то машины и в темпе движемся в сторону огромного круглого здания лужниковского стадиона.

Дверь внутрь. Ее загораживают двое. Кто-то из идущих рядом тычет им в нос что-то вроде удостоверения, но рассмотреть им его не удается, их отбрасывают, и мы вбегаем в дверь, ныряем в мгновенную темноту: полосы света, длинный коридор, глаза привыкают. Раздевалка, душевая, пар, оскользающиеся голые люди, это пожилые женщины. Группа здоровья? Шарахаются при нашем проходе, пытаются закрыться, на объективе капли, он запотевает.

Мы движемся быстро. Несколько темных помещений, идем где-то под трибунами, над нами возникающий и гаснущий гул. Кладовка, ящики с бутылками, собранными после матча, старухи-сборщицы делят выручку, паника среди старух, мимо-мимо; еще кладовка, какая-то пара трахается на мешках, четыре белых остановившихся глаза, мимо; тьма, комната, где готовятся к выходу артисты, цыганский ансамбль, костюмеры с юбками, полуголые девчонки, на нас орут, но тут же лица всех, как и тех, что прежде, застывают, в глаза плещет ужас; коридор. Здесь мы

слышим голос как бы в наушниках: «Третий, третий, я — первый! Доложите обстановку!» И уже отсюда хрипловатый, спокойный, не в ритм бегу: «Прошли тринадцатую, все нормально, освобождаем помещения».

Влетаем в тренировочный зал, каратисты разминаются. Задержка, нас не пропускают. Один в белом падает на колено: его оттолкнули, он разгибается медленно, входит в кадр, с ним еще двое, глаза спокойные, в них интерес, они готовы к драке. Но никакой драки, черные руки и ноги слева и справа от камеры вышибают каратистов из поля зрения страшными ударами, нога в ботинке пинком открывает следующую дверь, и мы уносимся в нее в том же темпе, позади оставляя крики и тяжелые удары. Тьма, свет, карлики, лилипуты, огромное количество собак, псовая охота, вой и лай, густо пошли дети, наряженные для маскарада, снова гримуборные, уже с рокерами, человек, курящий траву, завалившийся набок, отрешенный, нога в военном ботинке перекатывает его голову с боку на бок.

Лестница наверх. Огромное пространство стадиона. Здесь происходит какая-то грандиозная репетиция. Какого-то гала-концерта. На поле внизу подмостки, множество людей, ассистенты кричат в мегафоны, перегоняя толпы с места на место, мы проходим сквозь группу японцев, которые устанавливают здесь аппаратуру для запуска невиданного своего фейерверка ценой в полмиллиона, да-да, об этом писали, я вспоминаю, завтра же праздник, и центр его здесь. Будет правительство.

Сегодня ночная репетиция. Мы застреваем в японцах, что-то опрокидывается, они кричат, но ребята в черном их оттесняют, сбрасывая вслед какие-то штативы, мы движемся вниз, группа людей удивленно смотрит на нас. Кобзон, Лещенко, разговорники Петросян и Винокур, Алла Пугачева и Жанна Агузарова.

Хорошая компания. С ними человек с микрофоном, Юлий Гусман. Он постановщик этого шоу. Бешенству его нет предела, он кричит на нас, он машет запретительно пальцем перед камерой, он призывает артистов присоединиться к его негодованию, он воздевает руки к небу, он выходит из себя. Голос в наушниках: «Третий! Что вы там застряли? Дай ему по рогам!» Гусман получает страшный удар в лицо и катится по ступенькам.

Мы останавливаемся, камера снимает панорамой по краям огромную чашу стадиона, там на стенах у больших прожекторов контурами черные фигурки, над чашей плывет вертолет, неслышимый в стадионном гуде. В проходах между трибунами возникают водовороты, какая-то свалка, и вдруг все стихает, в проходах, как из небытия, образуются тяжелые боевые машины, поводя стволами, с них сыплются зелено-пятнистые люди с

автоматами и, растянувшись цепью, сгоняют в центр рассеянных по полю людей, из проходов выгоняют артистов, каратистов, служащих, пожилых женщин в мокрых полотенцах, рокеров, карликов и собак.

Черная масса в центре поля сгущается, сверху по центру ударяют прожектора. И падает мертвая тишина. И над стадионом начинает реветь усиленный динамиками голос: «Всем сохранять спокойствие! Руки заложить за головы, встать на колени! Производится проверка документов!» Прожектора держат в скрещении стоящую на коленях толпу.

Глазок камеры отодвигается от меня, и я понимаю, что смотрел не через глазок, а просто на монитор, вокруг которого группа военных. Тот, что в генеральском мундире, говорит, взглянув на часы: «45 минут, товарищи. Это не годится. Надо быстрее. Но, подводя итоги, должен вам доложить, что подготовка проведена в соответствии с оперативным планом, состоянием боевой техники и моральным уровнем людей я удовлетворен. Объявляю готовность номер раз. Сверим часы!» — «А этих куда, товарищ генерал?» — спрашивает кто-то, показывая на сбившихся в груду людей в центре стадиона. «Этих изолировать. Чтоб никакой утечки! Нарушение будет караться…» И тут он оборачивается в мою сторону и встает. «Кто это здесь? — спрашивает он. — Какой журналист? Кто пустил? Взять!» Кто-то хватает меня за руки и, сильно крутанув их за спину, валит набок и на колени, затылок мой взрывается невиданным японским фейерверком, мир переворачивается, все поглощает тьма. И я просыпаюсь.

Пятна и силуэты все еще скользят по экрану, музыка Дебюсси еще звучит. Я лежу в мягком кресле, растирая затылок, эти регулярные головные боли, и нигде больше нет таблеток. То есть здесь-то они есть, но у меня нет здешней «визитки», мне не продадут. Я посидел еще немножко, прикидывая, не продать ли по приезде план увиденной мной операции генералу Макашову, а за это взять у него автомат Калашникова и пару обойм. Вещь в доме нужная, все-таки у меня дети. Ах, если бы у генерала нашелся еще и анальгин!

* * *

В цитадели Нового кино, за черной баррикадой, идет захватывающая жизнь. «Жизнь как она есть». Название фильма Луи Фейяда, классика. Тут целый цикл Фейяда: «Гадюки», «Карлик», «Сердце и деньги», «Вампиры», «Отрубленная голова»,

«Убивающее кольцо», «Призрак», «Побег смерти», «Завораживающие глаза», «Сатана», «Повелитель молнии», «Отравитель», «Кровавая свадьба». Я думаю о счастливых людях, которым катастрофически не хватает крови, грязи и крутой эротики, о людях, которые, не имея способов во всем этом изваляться, создают искусство, позволяющее окунуться хоть в выдумку. ***«„Сказка весны“: Жанна, молодой профессор философии, и Наташа, студентка, встречаются в такой вечер, когда обе умирают со скуки. Очень скоро они осознают необходимость своей дружбы». «„Кот и женщина“: Женщина теряет голову не из-за мужчины, а из-за кота». Швеция, Голландия, Великобритания. «Удручающее, насыщенное полярными крайностями повествование. Мужчина, потерпевший от взрыва бомбы, облизывает рану». «Неполное, не доведенное до конца осмысление сексуальной фрустрации». «„Горизонтали“: Горизонтально поставленные листы бумаги перемещаются, создавая различные композиции, пропорции». «Киноигра женщины и мужчины. Она работает с пылесосом, он — с видеокамерой». «Писатель готовится к большому роману. Кот, с которым он делит существование, приносит ему с улицы „материал“. Писателя он не удовлетворяет, и тот употребляет весь свой запас мата, браня кота и мир».***

Счастливцы. Они анатомируют мучение и неподвижность, содрогаются, увеличив муху до размеров слона и ничегонеделание до катастрофы. Они создают специальную технику, чтобы помогала им испытать то, чего никогда не предложит жизнь. А нам, нам-то что здесь нужно? Что ищем мы? ***Германия, Венгрия, Югославия, Новая Зеландия. А вот и Латвия. «Юрис Пакалниньш. „Без осадков“: Латышский крестьянин едет на автомашине „Опель“ (модель 1936 года), но внезапно начинает барахлить мотор».***

И вдруг я увидел, я увидел что-то до боли знакомое. Толстый человек в черной коже и сверкающих сапогах сидит на гауптвахте, и щелкает зубами не то семечки, не то спички, и мастерски сплевывает. Боже мой, это же герой нашего детства и детства наших отцов — советский летчик-хулиган товарищ Валерий Чкалов! И вот он летит на своем самолете, таком же пузатом, как сам, и таких же примерно размеров, причем в этой полосатой бочке умещаются еще и двое его товарищей. Он летит над Красной площадью, где с Мавзолея некий Вождь, гибрид товарища Ленина, товарища Сталина и товарища Берии, орет в большую трубу, руководя картонными танками и солдатиками на площади. В эту трубу с лету и заворачивает товарищ Чкалов.

Вождь не может не полюбить замечательного хулигана. Как-

то, выходя из сортира, Вождь слышит шум за входной дверью, по которой и начинает стрелять из мгновенно выхваченного револьвера, дверь в щепки, за ней, насквозь простреленные, улыбаются, пошатываясь, Чкалов и его друзья. Вождь вручает им запечатанный конверт. Распечатав конверт, они видят карандашную линию через весь лист со стрелкой на конце. Это приказ. И они отправляются в указанном направлении, по льдам, мимо рыбаков, удящих из лунок, прямо на Северный полюс. Там они обнаруживают целую банду басмачей, которых товарищ Чкалов побивает своим огромным кулаком, заставляя убегать на четвереньках, потом он вытаскивает земную ось, а в дырку вставляет советский флаг, обнаруживая, что от этого Землю понесло задом наперед. А они все идут и идут, пока не натыкаются на трех негров, метущих лед, потому что тут нормальный мир уже кончился и начался мир эксплуатации. За спинами негров небоскребы — это Америка. Товарищ Чкалов надевает на обалдевших негров знаменитый советский головной убор — буденновку. Негры охреневают.

Я не смог задавить в себе этого идиотского смеха, он вырывался из меня рыданиями и свалил в конце концов на пол посреди кресел. Зал ошарашенно молчал. «Как надоел этот соцарт!» — сказала девушка-критик с неповторимо умным лицом, глядя на меня сверху вниз с некоторой брезгливостью. А случилось то, что Кинофорум дошел в своей деятельности до «обязательной программы», до фильмов, которые он, нравится — не нравится, вынужден был показывать, потому что… ну, никак нельзя было отказаться. И теперь собравшиеся перетерпливали фильм, снятый одним из ленинградских «параллельщиков», Максимом Пежемским «Переход товарища Чкалова через Северный полюс».

Увы. По этому поводу Путеводитель по Кинофоруму отмечал: «***„Программа советского кино“: Советские фильмы, предлагаемые Форумом… еще не стали непреложным фактом истории кино. Слишком коротка дистанция, чтобы вынести вердикт этому кино».*** А какой тут вам нужен вердикт, то есть приговор? Увы, в этих фильмах никто не ездит на «Опеле» (модель 1936 года) для того, чтобы у него заглох мотор, никто не режет угрей в простыне. На что смотреть? Путеводитель стыдливо перечисляет: ***«Валерий Огородников. „Бумажные глаза Пришвина“. Герой фильма — режиссер старается постигнуть тайну ушедшего времени, разгадать секрет поколения, загадку общества, в котором даже пошлые шутки превращаются в злой рок, калечащий и убивающий». «Сергей Селянов. „День ангела“. Внутренний мир странного мальчика Мафусаила. Мир***

особый, со своим особым временем, пространством, непривычной логикой. В этом мире причудливо переплетаются фрагменты истории нашей страны, любовные похождения дачного „чемпиона“ Севы и сестер героя, философские рассуждения о смысле жизни… А сам мальчик напоминает не то дурачка из сказок, не то ангела, залетевшего неведомо откуда». «Кира Муратова. „Астенический синдром“… И тому подобное искусство вчерашнего дня.

* * *

Ночью мне снилось, будто бы в ДЭЗе у меня забрали расчетную книжку, зачеркнули в ней старую цифру квартплаты, написали новую, меньшую, и, возвращая, поздравили с тем, что теперь я еще больше смогу экономить. Меньше платить за квартиру придется потому, что отопление, к сожалению, в этом сезоне работать не будет, плохо с углем. Я так и думал, поскольку если до октября не топили, то уж и дальше не затопят. Но слава богу, обогреватель в доме есть.

И побрел я домой, кляня себя за то, что летом не купил, идиот (а только любовался), ту чугунную печечку для саун, за 55 рублей. Сейчас вывел бы в форточку трубу и горя бы не знал. И решил я завтра же поехать в тот хозяйственный, дать продавцу чирик, чтоб позвонил, если вдруг снова печки забросят. И, будто бы вдохновленный этим решением, захожу я в подъезд и, даже обнаружив, что лифт, как всегда, не работает, радостно лезу на свой пятнадцатый объяснять семье про новые правила и новую жизнь.

Семья, закутанная в пальто и одеяла, сползается в ванную, где труба-сушилка, работающая внесезонно, создает теплый климат, и внимательно меня выслушивает. Причем, в свою очередь, сообщает, что лифт теперь работать не будет, потому что он не сломался, а вообще отключили электричество. Потому и обогреватель сегодня не работает, и электроплита, обед разогревали на дачной газовой плитке, но, если так пойдет дальше, надо где-то искать сменный баллон с газом, старый уже на исходе. И с едою теперь еще больший напряг, даже если найдешь что в магазине, на пятнадцатый с сумками не набегаешься, впрочем, это ладно, было бы что таскать. Но как быть с выгулом двухгодовалой дочери? — бабушка на улицу ползать по лестнице отказывается.

Вечером зажигаем нашедшийся где-то огарок свечи, сидим, говорим о том, что станется, если все это не на пару дней, а не

дай бог на неделю. Ну уж, говорит жена, этого быть не может. А вообще, представляешь себе, что случится, если вдруг они не включат электричество вообще, как мы зимой будем жить? В ванной отсидимся, говорю. А если и здесь выключат горячую воду? А если и холодную? — спрашивает бабушка и прижимает ладонь ко рту, это представив. Где же мы воду-то возьмем? Куда за ней ходить?

И тут фантазия наша разыгрывается. Представь, говорит жена, все эти жилые башни без света, тепла и воды. Я представил, ближние заборы сожгут, начнется какая-нибудь холера, канализация же без воды работать не станет. Начнется мародерство, никакую милицию ты не вызовешь, телефон не работает, а пешком по лестнице с пятнадцатого этажа кто же потащится во тьме? А мародеры, если уж заберутся в какой-нибудь дом, так просто не выйдут из него, пока всех не ограбят.

Жена пошла звонить по телефону знакомым, рассказывать про наши неприятности, вернулась и села, уронив руки в колени. Ты знаешь, сказала она, я позвонила в пять разных мест в разных районах, и везде как у нас. Все в панике. Ты знаешь, говорит жена, ведь всю Москву можно вот так запросто уничтожить. Ты знаешь, говорит она, и вдруг заплакала, мы просто умрем. Весь город умрет. Очень быстро.

Ладно, говорю, я сейчас пойду в КГБ к Крючкову, продам ему наш план блокады, осады, ведь и задавить-то надо всего два города — Москву да Ленинград, и вся страна с песнями пойдет по указанному пути. Иди, говорит жена, только проси за это мешок сахару да себе блок „Астры“, а то все задаром делаешь. И радуйся, говорит, что никому в голову такой бред, кроме тебя, не пришел. И я пошел. В ванную, мыть руки. Отвернул кран, воды не было, потрогал сушилку — уже холодная. Тогда я тихо, шаря по стене рукой, добрался до телефона и поднял трубку. Глухо. Неужели это пришло кому-то в голову?

* * *

Я проснулся и уехал из Юрмалы. Простите меня, дорогой Директор и Председатель, дамы и господа. Я обязательно как-нибудь все досмотрю. Все, что не успел. Если буду жив. Всем большое спасибо!

В Афганщину раз я пошел на войну,
В дремучем лесу встретил банду одну.
Культ американский наставил главарь,

Но русско-афганский я вынул словарь.
В носу ковырял он. Я вдарил сплеча.
В лесу, словарем, я убил басмача!

Понурясь, зажмурясь, зубами стуча,
Вся банда его задала стрекача.
Шел гордо по лесу я, громко крича:
„Правдивое слово — сильней кирпича!
Аа-а! А-а!“

Вот вам, американы позорные!

С чувством глубокого удовлетворения и законной гордости констатирую: славный П. Лунгин сделал наконец-то американов в области кинематографа. Закончив образец отечественного кино „Такси-блюз“, он без передышки создал фирму „Блюз“, свистнул французов и на пару с ними изготовил „Луна-парк“, способный пробить брешь в стройных рядах своих американских прототипов, заслонивших было родной экран.

На просмотр этапного достижения, о котором неоднократно твердили с телеэкрана, показывая при этом кусок жуткой мочиловки, не уступающей голливудским, в Доме кино собралась колоссальная тусовка. Пришли все до одного, от Дениса Горелова до Виктора Мережко. Из тени кабинетов возник любимый директор ДК Гусман, как всегда пошатываясь от бессонных трудов и мутно обводя тусовщиков красными от пережитого очами. Очень богатый мен Василевский специально прилетел из горячей точки планеты — города Кишинев, чтобы закупить замечательный фильм на корню и немедленно отвалить вместе с ним на свою новую прекрасную родину Венесуэлу, куда он переправил уже свой неприметный бизнес и не уступающий ему капитал. „Луна-парк“, — заявил он нашему корреспонденту, — понравится моему маленькому, но гордому народу».

В зал уже не втиснулся бы и микроб, а хвост тусовки еще вилял, втягиваясь в ДК. Открыли Белый зал, обещая перетаскивать туда часть за частью по мере просмотра. Но скоро и здесь начали дохнуть одноклеточные. Жена артиста Стеклова и родная дочь Марка Захарова Александра неутомимо прыгала в дверях, глядя на происходящее из-за спин джентльменов, вставших здесь насмерть.

Представляя новое достижение, Виктор Мережко сказал, что, посмотрев «Такси-блюз», он еще сомневался, случайно это вышло

у П. Лунгина или нет, теперь ему предельно ясно: «Мы имеем крупнейшего режиссера мирового уровня». Виктор Мережко честно предупредил: фильм сложный, лично ему пришлось смотреть его три раза.

Выступивший, в свою очередь, представитель французской стороны (посол Франции) заявил, что Франция будет счастлива поиметь такой фильм на своих экранах. Наконец выступил сам П. Лунгин и заявил, что он счастлив, потому что снял лучшего актера Олега Борисова, а также неизвестного молодого человека (фамилию я забыл), который вскорости станет нашим Марлоном Брандо.

В общем, кино можно было уже не показывать. Но выбраться из зала оказалось невозможно. Поскольку вы все равно не увидите этого впечатляющего фильма, я вам кратко расскажу содержание, чтобы стало понятно, чего так разволновалась кинообщественность.

По жанру это крутая оптимистическая трагедия. Остерн-боевик. В него удалось впрячь коня и трепетную лань. То есть с виду он как бы американский, но русским духом пахнет.

Начинается с того самого страшенного побоища: почти Ледового: силы, состоящие из обнаженных до пояса могучих русских богатырей, голыми руками мочат вооруженных до зубов и наступающих боевой свиньей на мотоциклах (некоторые проносятся по небу, как Змей Горыныч) черных рокеров. В апофеозе великой битвы, состоявшейся на пустыре за американским посольством, главный герой (будущий Марлон Брандо), наделенный невероятными бицепсами и трицепсами, садится за рычаги бульдозера и начинает давить вражью силу, погребая груды мотоциклов и рокеров под землею, так что из комьев только белые ручки торчат.

Больше черные рокерские силы не возникают, что позволяет П. Лунгину сосредоточиться на победителях.

Оказывается, это лишь небольшой отряд (называющий себя «чистильщики») некоей тайной всемогущей организации, раковыми метастазами проникшей во все поры общества. Нет, вы не угадали. Это не жидомасоны.

Это богатырская по форме и национальная по содержанию неодолимая сила с длинными, но разветвленными руками, руководимая КГБ, цель которой — персональное физическое уничтожение еще уцелевших жидов. Собственно говоря, евреев, которых предстоит уничтожить, всего один, но о нем ниже. В предвкушении старинной русской потехи «чистильщики» неустанно тренируются, уничтожая полчища рокеров, отлавливая и мучая «пидарасов», разнося рестораны, задержавшие выплату

им дани, «качаясь» в подвалах, начиненных гирями, штангами, мешками для отработки ударов ногами и плакатами с изображением их любимого героя. Нет, это не Гитлер. И не Сталин. Это Арнольд Шварценеггер.

А кто же тот страшный еврей, на схватку с которым все никак не решится неодолимая сила? Нет, он не ниндзя, исчезающий на глазах и оказывающийся одновременно в разных местах, плюясь отравленными колючками. Он не прославленный диссидент, заклятый враг КГБ, за которого, если тронуть его пальцем, вступится вся мировая общественность, а Израиль немедленно объявит войну. Все мимо. А сделать с ним тем не менее нельзя ничего. Почему — неизвестно. Это одна из великих тайн П. Лунгина. В фильме их несколько. Непонятность есть блестяще использованный П. Лунгиным один из приемов советского кино, образовавшихся в ходе его развития.

Одновременно П. Лунгиным столь же блестяще использованы открытия, сделанные западным кинематографом. Например, страшными «чистильщиками», которых водит на подвиги наш герой, на самом деле командует его мама. Могучая блондинка в соку, непрерывно демонстрирующая воспитанникам свое обильное тело. В свободное от демонстрации время она много работает. Подрабатывая, как и все в СНГ. Видимо, у нее туго с деньгами. Она трудится в должности массовика-затейника, одновременно кем-то вроде сторожа или начальника при аттракционе «Американские горки», поет в ресторане, который ее команда под горячую руку тоже разносит, вышибая недоплаченное. Вышибаниями она же руководит.

Ночами мама не спит, а неутомимо носится как угорелая на пару с сыном по своим горкам, после чего, не насытившись бешеной скоростью, валяется с ним на полу (очень большой мальчик!), предаваясь бешеным ласкам, страстно лобзая его и терзая, раз за разом приближая дело к кровосмешению. Но до дела не доходит. И это странно. П. Лунгин, уже продемонстрировавший нам в «Такси-блюз» чудный половой акт на подоконнике, здесь почему-то на самом интересном месте замялся. Но, думаем мы, не он это замялся. Мы думаем, это замялись его новые друзья, французы. Наш-то зритель скушал бы, он и не такое едал, а у них там правила: в одном случае можно, в другом — нельзя. В этом, видимо, было нельзя. Стерильная нация. А жаль! Чего уж там!

Зато в отместку П. Лунгин залудил чисто российский вираж. Поняв, что кровосмешения французы ей не разрешат, мама смотрит на сына с легкой усмешкой и сообщает ему, любимому, что он — сам еврей! Ни хрена себе! Оказывается, давно, когда

мама девочкой была, ее таки соблазнил один носатый. Какой пассаж! Вот что значит учеба у классиков советского кино.

Ребенок оцепенел. А мама ему говорит: выход у тебя один — папу надо кончать! Сыночек прямо зарычал от нетерпения: давай его сюда! Где эта папа? И тут его ждет новая подножка. Оказывается, папа и есть тот самый недостижимый еврей.

То есть уже пошел излюбленный ход американского боевого кино: раз что-то сделать невозможно, надо найти человека, способного невозможное совершить. Наконец-то все встает на места: и бицепсы, и кровожадность, и расовая подначка. Герои обозначились. Вперед!

Герой вступает с папой в контакт. Он поражен. Это тщедушное создание (его и играет самый лучший актер Олег Борисов) он бы мог двумя пальцами удавить. И растереть. Но… сразу почему-то нельзя. Надо вкрасться в доверие. Ребенок вкрадывается.

И тут на него начинает вдруг действовать магия папы, страшный еврейский секрет его непобедимости, тайное еврейское оружие. Этот всеми забытый (кроме наших патриотов с КГБ и Шварценеггером) бывший эстрадный куплетист Наум Хейфец ныне занят тем, что как может «зашибает бабки» (по собственному его определению). Его квартира — проходной двор, где одна комната сдается подпольным воротилам для азартных игр, в других — собираются протестующие чукчи, бывшие диссиденты, эмигранты, старухи, изучающие искусство, устраиваются концерты. Потом все — эмигранты, чукчи и старухи — ложатся спать под общим одеялом. А папа отправляется в незатейливые компании простого народа распевать любимые ими песни типа «Я люблю тебя, жизнь!» и всюду зашибать свои «бабки».

П. Лунгин убедительно показывает, что именно папа, старый еврей, является последним из могикан, хранителем оставшейся лишь в памяти народной, в недрах его души культуры социализма. Именно он несет людям то, что собираются отнять у них «чистильщики», утверждая на бывшей советской земле культ полуголого Шварценеггера.

Переходя за папой с юбилея на свадьбу, со свадьбы в забегаловку, слушая папу, видя, как любит его простой народ, юный уничтожитель все больше наедается отравленной приманки. И тут папа добивает сына. Садится за рояль и исполняет ему Бетховена. Этого сын вынести не может. Он ломается. Решает порвать с проклятым прошлым и стать, как папа, евреем. Отточие.

А в это время обеспокоенное КГБ приводит героя в свой

тайный закуток, устроенный в одном из грязных притонов, — место, начиненное аппаратурой, откуда КГБ ведет подслушивание евреев. Сына просят поставить папе подслушку. Так страшен папа, что никто до сих пор не решился поставить к нему в дом этот страшный инструмент. Сын, еще не окончательно порвавший с дисциплиной, ставит, но отлучается на секунду, а когда возвращается, видит, что в квартире уже состоялся погром. Чучело папы — в петле, а самого папу увезли казнить. Сын удивлен. Для чего же он ставил микрофон? Дьявольское коварство КГБ!

Но где же папа? А он попал в руки к маме. Бедного, с больным сердцем, она усаживает его… отгадайте куда? Конечно! В коляску американских (они же и русские, как известно) горок. Она хочет закатать его до смерти. Папа хватается за валидол. Но мама людоедским движением вырывает валидол у папы и включает пуск. Бедный папа поехал. Он обречен. Вот для чего, оказывается, нужны были П. Лунгину эти многозначительные горки, расположенные в некоем «Луна-парке». Отсюда и название фильма как символа всей нашей жизни.

Итак, папа помчался к своей смерти, а мама — к проигрывателю, с которого начинает звучать опера Вагнера, и тут, под разносящийся над «Луна-парком» могучий женский голос, поющий по-немецки, мама начинает открывать рот, будто это поет она. И величаво сходит со ступеней. Эта белокурая бестия, оказывается, воображает, что она — Брунгильда. Это — для западного зрителя, который по виденным прежде образцам легко может догадаться, что мама — сумасшедшая, чей идеал — немецкий фашизм.

И тут врывается сын. Он останавливает агрегат, вынимает оттуда папу и убегает с ним, бросая в железные конструкции и в маму, поющую «под фанеру», несколько гранат! Ба-бах!

— Мы сменим фамилию, — жарко говорит сын спасенному папе, — уедем туда, где они нас никогда не найдут!

И они тут же заходят в поезд и едут. Без билета. Куда? Нет-нет, вы опять не угадали. В Израиль не ходят поезда. Вообще-то сын и сам не знает, куда они едут. Он распахивает (!) окно вагона, отрывает металлическую табличку с наружной стенки и показывает папе. Фу-у-у! Они едут в Абакан. Слава Богу! Вот единственное место, где может спастись старый еврей.

Не два еврея, один. Потому что тут сын, желая порадовать папу, показывает ему фотографию мамы в нежном возрасте, когда она стала жертвой его низменных желаний, но папа начинает долго и заливисто смеяться. Как Ильич. Сын смущенно присоединяется, но это он ничего не понимает, а уже и зритель

догадался: папа никогда не видел эту девицу, никогда не трахал ее, и значит, сын — вовсе ему не сын и даже не еврей. Это КГБ подучило сумасшедшую маму сыночка наколоть. Но, впрочем, тут поезд уносит от нас навсегда эту хохочущую пару.

Послесловие для зрителей старшего возраста.

Не надо бояться, что французы решат, будто кровавые оргии у нас — дело житейское, а Брунгильды с Марлонами Брандо резвятся в каждом парке; французы уже знают, что художник имеет право на фантазии. В конце концов, Пьюзо тоже выдумал своего «Крестного отца» от начала до конца. Главное — смотреть интересно.

Фантазия П. Лунгина на тему жизни в России будет понятна и негру преклонных годов, потому что наконец-то появился у нас режиссер, научившийся показывать Россию так, как привык растленный Запад и как сумели показать ее лишь в «Красной жаре». Наконец-то американцы убедятся, что с нами можно иметь дело. Пусть работать, как они, мы еще не можем, но сочиняем уже — ого-го!

И для русского человека есть отдушина. Конечно же, это не про борьбу с евреем. Это все та же, что и в «Такси-блюз», старинная русская тема, которая полюбилась П. Лунгину: поэт и толпа. Только в первый раз против поэта он выставил таксиста-качка, а здесь против папы Хейфеца, который и есть поэт, если кто еще не догадался, качков выставлена целая тыща.

Западный человек, конечно, голову сломает, пытаясь догадаться, почему неодолим бедный еврей, но это уже его проблемы. Бывшему советскому человеку ясно сразу: да будь он всамделишный, только перья бы от него полетели. Но он — художественный образ. А тут уже начинается борьба идей. А идею голыми руками взять слабо. Вот так, ребята!

ЭПИЛОГ. Сегодня я открыл «Московский комсомолец» и вздрогнул: «На подходе к Москве поезд Абакан — Москва подстерегала засада. Толпа подростков (около 50 человек) выскочила из-за кустов и с диким гиканьем стала закидывать поезд снежными комками. Машинист и помощник тут же залегли на пол. Неуправляемый состав мчался со скоростью 100 километров в час. В кабине машиниста не осталось ни одного целого стеклышка. Оказались разбитыми приборная доска и стекла в вагонах. Если бы не вовремя включенный автоматический тормоз, трагедия была бы неминуемой».

Боже мой! Не своего ли недавнего вождя, бывшего еврея, поджидали «чистильщики»? Неужели он вернулся из Абакана? Неужели бросил папу? Значит, все правда? И значит, все по новой?

Я — свекловод. Моя лопата
Крива, угрюма и горбата,
Но роет землю, словно крот…
Я выхожу в свой огород.

В безукоризненном порядке
Передо мной капустны грядки.
Башки в черненом серебре
Стоят, как львы, ноздря к ноздре!

Строй тыкв! Крепки, как подоконник!
Хрен! Груб и весел, как полковник.
Моркови радостный народ
Толпой толпится у ворот.

Все овощи мои, едри ты,
Умыты, тщательно побриты,
А их смешная детвора
В навозе по уши с утра!

А вот и ты, очей отрада,
О Свеклочка, о роза сада!
Дитя любви, ночей услада,
Тобою ломится ограда.

О моя сахарная слабость,
Со мной ты сделать все могла бы,
Я для тебя на все готов,
Моя последняя любовь.

Бродя средь любящих растений
В росе от благодарных слез,
Я — от вредителей спасенье
И лью на них свой купорос.

А заведися где измена…
Ее почую я мгновенно!

Вон тот мордастый помидор
Ужель лелеет термидор?

Голубчик ахнуть не успеет!
На гильотину подлеца!
Он в темном валенке дозреет,

Он там прозреет до конца.

И сладко, взяв в осенний вечер
Литой, налитый кровью шар
В отсветах пламени из печи,
Вкусить его дрожащий жар,

Откусывая гаду щеки,
Стирая сочные потеки,
Отгадывать: как дураку,
Измена вдарила в башку.

Ведь если покусится странник
На величавые плоды,
Чтобы добыть себе еды!
Эдема бдительный охранник,
Я, защищая огород,
Ему порву лопатой рот!

Но это вряд… Мои владенья
Защищены от нападенья,
И встретит удивленный вор
Колючей проволоки забор,

Где ток невидимо струится.
А там уж подоспею я…
И, ох, тяжка рука моя,
В ней даже черенок дымится.

Я стар и хром, лопата ржава,
Но как сильна моя держава!
И как глядит в мой черный рот
Всегда послушный мне народ!

Здесь, срощен со своей страной,
Я — царь, я — бог, я — Червь Земной.

Королевские фиги

Богатые тоже плачут.

Я не знаю точно, как это было, но примерно представляю. Король Сидоров приехал к королю Иванову и, припарковав свой «Мерседес» к его «БМВ», зашел в офис, положил ноги на стол и сказал наперснику своих забав: «Хай, Жорж! Фи, опять ты v jopu pjan!» — «А фули делать, — отвечал король Жорж Иванов, — с самого утра делаю деньги, р-р-рот-твой-ниже-носа! — нагрёбся с этими деньгьми! Пол-Москвы держу за глотку, пашу, как Папа Карло, а все не в кайф!» — «Деньги, деньги, Жорж, фу-у! Они пахнут! — сказал король Сидоров. — Давай устроим что-нибудь интеллигентное, а? Свистнем других королей на бал? Все свои, девок выкупаем в шампанском, как в Европе». — «О'кей, — сказал король Жорж и, нажав на кнопку, вызвал из небытия толпу референтов, бывших секретарей райкомов партии. — Чего им делать-то?» — «Пусть сочинят мэссэдж другим королям, — сказал король Сидоров. — Что-нибудь интеллигентное». — «И быстро, падлы, — сказал король Жорж, — а то выгоню к грёбаной матери!» — «Господа! — сказали секретари. — Да у нас уже все готово!» И тут же вытащили из-под полы отксеренный образец. Цитирую:

«Скучно мы живем, господа!

Даже иностранцы подметили (а им со стороны виднее), что широкую, добродушную российскую улыбку теперь почти не встретишь. Ни для кого не секрет, что культурный уровень народа определяется не только конкретными художественными и культурными ценностями. Это и быт, и умение проводить свободное время. Если мы заглянем в сравнительно недавнее прошлое, то удивимся, как сейчас говорят, налаженности этого дела. Народные праздники — яркие, шумные, веселые. Городские гулянья, волшебные пышные балы и маскарады, которые увлекали наших предков. Все это каким-то удивительно примитивным образом вдруг выродилось в оглушительно-бездумные дискотеки и унылые, серые праздники в так называемых Дворцах культуры.

Дамы и господа!

Продюсерская фирма „Эльба-Росс" приглашает Вас на Ночной Благотворительный „Весенний Бал Полнолуния, или Бал Ста Королей".

В программе:

Профессор Воланд — сеанс черной магии; Денежный дождь; Полеты на воздушном шаре; Эротические представления; Шоу-

парад диктаторов; Шабаш ведьм, вурдалаков и прочей нечисти; Полуночная вакханалия; Море шампанского (буфеты „От А. Ф. Сокова“); Сатанинский фейерверк. Место действия — сад „Эрмитаж“. Съезд гостей в 22.00. Разъезд —???!!!»

«Нормально, — сказал король Жорж, — только ведь всякая шушера понапрет: артисты-журналисты». — «Жорик, ну ты не прав, — сказал король Сидоров. — Все будет интеллигентно. Пишите, дураки: вход — 30 долларов США или 2000 рублей. Ужин в ресторане — 160 долларов или 10 000 рублей. Цена билета лотереи — 80 долларов или 5000 рублей».

Недооценили нас короли. Не знаю, как остальная шушера, а лично я выполз из дверей темного, молчаливого театра «Эрмитаж», который в развлечениях не участвовал, поскольку главреж его Левитин сказал посланцам королей, предлагавшим ему деньги и покровительство в обмен на здание театра в ночь с 16 на 17 мая: «Пошли вон, дураки! Вы хоть знаете, что бывает в ночь весеннего полнолуния?» — «А что скажут, то и бывает», — заржали дураки и поскакали в сторону Зеркального театра, что напротив. Тот сдался без боя.

А мятежный театр уже готовил к выходу меня. Надели парик, сверху каску, подаренную театру шахтерами Донбасса, закутали в крылатку, на грудь повесили табличку: «Тихо, идет репетиция!» — и выпустили в сад.

Никто не обратил на меня внимания. Там много было странного. По саду шлялись Сталин под ручку с Карлом Марксом, два Ленина и один Гитлер, двойники, разумеется. И почему-то двойник премьер-министра московского правительства Лужкова. Я подкрался сзади и как хлопну лже-Лужкова по плечу! Как мне тут дали в бок! Оказалось, он — настоящий! Я прямо так и сел на завизжавшего от негодования небольшого медведя, почти ребенка, который находился позади на толстом поводке в обществе своего старшего товарища. К счастью, старший в это время играл в футбол. Ребята с тяжелыми челюстями, в кожаных куртках пинали медведю кусок грязной доски, а медведь с отвращением его отфутболивал. Тут деловито ходили фашисты с собаками. Задумчивая девушка держала на руке хищную птицу. Не хватало женщины с бородой и карликов. Зато всюду прогуливались вакханки, нагие девушки с пожилыми лицами, но молодыми ногами, до подбородка затянутые в прозрачный чулок.

Вообще было довольно прохладно, а моря шампанского не видать. Буфеты от А. Ф. Сокова шампанским торговал, но по 500 рублей за бутылку. В корзины воздушных шаров лезли любители полетов за сто рублей, люди в комбинезонах начинали жутко полыхать горелками, надувая опавшие округлости своих

монгольфьеров, и поднимали любителей метров на десять, удерживая шары вожжами, чтобы в самом деле не полетели. В тире под лозунгом «Учись метко стрелять» ребята в коже, только что пинавшие доской в медведя, уже стреляли по мишеням, стоя к ним спиной, глядя на цель в зеркальце. Оркестр Олега Лундстрема играл Глена Миллера, на площадке перед эстрадой девушки в коротеньких юбочках, выбрасывая ноги вверх, изображали парад. Почему-то не было света, и парад совершался в полной темноте, девушки спотыкались, их подбадривали вышедшие из тира кожаные ребята, показывали бутылки от Сокова, приглашая после парада расслабиться.

Народу все прибывало. Входивших в сад встречал изображенный на огромном полотне молодой человек с широкой добродушной российской улыбкой в окружении преданно глядящих на него девушек в белом. Из подписи явствовало, что это сам Игорь Микитасов, генеральный спонсор программы — РКФ «Твинз». Кто были девушки и кем они приходились генеральному спонсору, полотно умалчивало.

А в Зеркальном театре артист Игорь Кио показывал старые фокусы, заявляя, что он — Воланд. Публика, зябко кутаясь в куртки, ждала обещанный денежный дождь. Но, видимо, не подвезли наличных, а может, Кио о нем просто забыл: дождь не состоялся.

Началось что-то из «Мастера и Маргариты». На сцену вывели двухметровую слабо одетую девушку и объявили, что это Маргарита. Из тьмы к ней выскакивали скелеты, голые девицы, Сталин, Гитлер и два Ленина. Какой-то человек долго поливал себя из бутылки бензином, наконец поджег, начал кататься в пламени, но потушить не мог. Ждать не было смысла, действие тронулось дальше, человек все катался, отчего сидевшие в первых рядах уже отшатывались, взбираясь уже на сиденья, но тут бедолагу унесли, видимо, тушить. Кто это был и чего он хотел, никто объяснить мне не смог. Вся шушера, дрожа от холода, покинула бал, лишь я остался. Я хотел видеть королей.

Я нашел их там же, где и море шампанского, в ресторане «Русалка», названном на ночь «У Грибоедова». Но меня туда не пустили. И никого не пустили. Хотя еще пятнадцать минут назад за 22 000 рублей туда вошел последний король. Происходившее внутри позже мне удалось восстановить по рассказам вышедших поблевать.

Там были короли в основном из Армении и Азербайджана. Еще были молочные поросята, осетрина, девушки голышом, но в передничках. Был аукцион, на котором продавали зеркала. Один король из Азербайджана предложил 5000. Когда зеркало ему

досталось, король сказал аукционщику: «Шеф, даю тебе еще кусок, принеси мне зеркало сюда!» Аукционщик почему-то оскорбился, но король уже сунул штуку денег в задний карман проходившего мимо человека, тот и принес. Но тут король из Армении пнул зеркало ногой, отчего оно разбилось. Король из Азербайджана сказал королю из Армении: «Принеси сюда десять кусков — и ты будешь прав». Король из Армении сказал, что он прав всегда! Король из Азербайджана достал пистолет. Но положил его обратно. Начал назревать как бы армяно-азербайджанский конфликт. Но московские короли предложили перенести разборку на свежий воздух. Тут все короли вышли на улицу. А уж и пора было.

Светало. Сад наполняли странные звуки. На дальних аллеях кого-то звучно, как бочку, били в живот ногами. Ребята в коже трахали на скрипящих скамейках вакханок, мальчики с хвостатыми коробочками медленно двигались по аллеям, мечтательно глядя в небо. Вдруг все они разом приложили к ушам свои игрушки, что-то было им сказано, отчего они оглянулись и заметили наконец происходящее.

Металлом блеснули глаза их, зашевелились бицепсы, быстро и упруго пошли они вдоль аллей, сошвыривая со скамеек трахальщиков, пинками разбрасывая разборщиков, и вдруг погнали их всех из аллей к выходу. Сад наполнили удары и крики. Ведьмы, вурдалаки и прочая нечисть с воплями бежали к воротам. Все злее и быстрее гнали их силы добра. И наконец нажали на образовавшийся сгусток, и единым махом вышибли из сада всю запоздалую сволочь, и бросили вслед ей связку фейерверка. Бабах!

Проснулись оба медведя. Большой, вскочив на скамейку, урча, принялся лапой с длинными когтями корежить ее, отрывая планку за планкой, а маленький встал, как человечек, и, скуля, начал прыгать на кирпичную стенку. И вдруг зацепился, подтянул задние лапки и быстро-быстро полез. Все выше и выше…

На полотне у входа поблекший Игорь Микитасов скалился вслед отбывающим королям.

Утром король Жорж позвонил королю Сидорову и спросил: «Сидор, чего-то я не понял. Тут написано: „Средства с бала будут затрачены на реставрацию музея-квартиры Булгакова“. А кто это — Булгаков? И что у него за квартира?» — «Жора, — отвечал король Сидоров, — родной, ты что, решил заняться недвижимостью? Ты знаешь, сколько сейчас времени? Спи, все хорошо!»

В эту же ночь полторы тысячи зеков Краснопресненской пересылки досками, выломанными от коек, принялись разносить

решетки и выбивать двери боксов. Они хотели на волю. ОМОН штурмовал тюрьму. В ход были пущены водометы, «черемуха», дубинки. Вырваться не удалось никому. «Московский комсомолец» сообщил об этом в информации под заголовком «Москва едва не умылась кровью».

Баллада о 87 особенностях переходного возраста

Я болен гриппом. И давно.
Наверное помру.
Сижу в платке. Гляжу в окно.
Как детка кенгуру.

Я карандаш с бумагой взял,
Нарисовал тюрьму.
Затем скалу нарисовал,
А на скале — Му-Му
(Ваще на почве этих скал
Сошедшую с уму).

Налево — стражник на стене,
Стоит как призрак лорда
Направо — сплющена в окне
Белеет чья-то морда.

Вот узники копают грунт.
Зачем? Таят причину.
И лишь один стоит во фрунт,
Малютка Аль Пачино.

Шестой уж год стоит как выпь,
Прибыв в шестом вагоне,
Копать ему нельзя, увы,
Он у нас вор в законе.

А вот и я ползу, как жук,
Не производя ни звука,
В зубах железный нож держу,
В руках держу базуку.

Вокруг тюрьмы в лесу тусуюсь,
Тая свою личину,
Уж много дней я здесь пасу

Корефана Аль Пачину.

Негромкий слышен стук лопат,
Не накопались за день!
Вот и луна. Погиб закат.
Меня хватают сзади.

Удар под корень головы.
Отобрана базука.
Вот я в подвале.
Все на вы.
Вы — говорят — гадюка!

Вот Эрик Робертс. Он грозит
Замучить мое тело.
Сластолюбивый паразит,
Он любит это дело.

Меня пытают, я молчу.
Мне сыворотку колют.
Я, глядя в зубы палачу,
Его пинаю в голень.

Палач хохочет, как пират,
Он мазохист в натуре,
Моим пинкам он очень рад,
Он накурился дури.

От дури смрад в моем уму,
Уже я не врубаюсь,
Вдруг сумасшедшая Му-Му
Врывается как Чапаев.

Она ломает дверь в тюрьму,
Слюна с клыков струится.
Однако бешеной Му-Му
Весь персонал боится.

Спина к спине встаем — как встарь!
Как встарь — последний бой!
Над нами мечется фонарь,
За нами — волчий вой.

Уж с чем, а с дракой я знаком,

Му-ме могу быть папой.
Я бью костлявым кулаком,
Она — когтистой лапой.

Идем, за нами все горит!
Там впереди — вода,
Там водопады, в них звенит
Упавшая звезда.

И помнит Тот, кто смотрит Сон,
Как Божий пел рожок,
Как Аль Пачино был спасен,
Теперь за ним должок.

— Здорово, грипп мой!
— Бу-бу-бу!
— О’кей, помру к утру,
Посмотришь на меня в гробу,
Отличный выйдет труп!

Средь пирамид, сквозь желтый зной
Гудят колокола.
Никто не сплачет надо мной,
И мама умерла.

И до утра я так гляжу,
Торча в своем окне.
А под окном вся эта жуть,
Вся по уши в нирване.

Сделай сам

Подольский магнат кинобизнеса, финансовая акула Рудинштейн покачивался, отдуваясь после сауны, в голубом аквариуме, где плавали лепестки роз и розовые сонные девушки. «Прыгай сюда!» — показал он мне властно коротенькой ручкой, и я прыгнул в розово-голубое желе.

Потолкавшись среди роз и нимф, я ехидно сказал задумчиво-багровому Рудинштейну:

— Все состояния, дорогой Марк Григорьевич, начинаются с криминала. Как известно.

— Криминал криминалу рознь, — благодушно отвечал акула Рудинштейн, отмахиваясь лениво от проплывающей наяды. — Я нарушал когда-то законы, да, потому что не было свободы, а как иначе можно было сделать работу? Всем дай, нигде этого, естественно, не фиксируя, пусть по мелочам: шоферу, кассиру. Слушайте! Когда в 86-м году меня посадили на шесть лет с конфискацией имущества, то «похищенного» за семь лет работы набралось 4332 рубля! Это вам сейчас смешно. А мне сказали, что я ограбил государство.

Я все свои деньги заработал сам. А сейчас в бизнесе — неравные стартовые условия. Эти миллионы, всплывающие из недр партаппарата, аппаратчики, которые, как и прежде, пальцем не шевеля, стригут наживу с ворованных капиталов…

— Жалко. Значит, так они и останутся богатеями. Надо их разоблачить. Деньги отнять. И раздать бедным, пустъ лезут наверх с одной отметки.

— Да хрен с ними, с аппаратчиками, — философски плюнул Рудинштейн в голубую воду. — Мне принадлежит фраза: не надо искать эти партийные деньги. Пусть под любым соусом идут в оборот. Чего им лежать где-то мертвым капиталом? Все равно мы их отберем, потому что эти ребята никогда не знали, не знают и не узнают, что с ними делать. Пусть они только покажут мне эти деньги, и не надо уже никаких матросов, мы их сами по миру пустим.

— Ну, не один вы такой зубастый. Есть, скажем, Таги-заде. Кстати, вам с ним не тесно?

— Этот монстр Таги-заде, — задумчиво сказал Рудинштейн, ковыряя колечко на пивной банке и с треском отрывая жестяную заплатку, — даже и не монстр. Он подставная фигура. Его другие монстры выставили вперед… Он назвал меня жуликом и кооператором!.. Я кооператором никогда не был, а жуликом — это уж кто как судит. Всю жизнь я мечтал стать режиссером. Но

даже сейчас, когда я имею все, снимать кино не решаюсь. А Тагизаде снимает. И кидает на рекламу снятого всю свою финансовую мощь. Нет, он не конкурент. Он покуражится и уйдет из кино заниматься тем, что у него хорошо получается. Зачем ему кино? Он талантливый спекулянт, он так организовал торговлю цветами, что теперь цветы есть везде, это факт. Ну, и надо торговать дальше. Нет, он заявил, что он доктор искусствоведения. Вы знаете, у меня в жизни две мечты. Первую я вам не скажу, а вторая — прочесть эту его диссертацию. Я дорого дам, чтобы только увидеть ее. А толкаться с ним? Перестаньте! Такая большая страна, и она еще совершенно не занята, места всем хватит. Тем более он прокатчик, а я выпускаю фильмы.

Нет, я, возможно, тоже куплю пару-тройку кинотеатров, но я ведь занимаюсь и концертной деятельностью, интересуюсь театром, вот сейчас дам Марку Захарову 600 000 на спектакль. Пусть ставит на здоровье. Мы очень крепко стоим. Построили оздоровительный центр, гостиницу, ресторан, там у нас частный клуб, для своих. Строим заводик, типографию, займемся издательским делом. Почему нет? Провели кинофестиваль «Кинотавр», получили с этого престиж. Это я раньше платил по 50–60 тысяч за минуту на телевидении. А сейчас они за так сами делают мне рекламу, сняли целый фильм про мой фестиваль.

Я здесь, в Сочи, в гостинице «Жемчужина», где не ступала нога человека, не имеющего валюты, разместил и кормил — на халяву — целую орду журналистов, критиков, и они, естественно, что-то написали. Мне говорят: зачем ты столько потратил на все это? Что я там потратил — какие-то шесть миллионов! За эти деньги я никогда не купил бы и половины той рекламы, которую мне сделали, шума было на полгода. Что вы!

А сейчас в этой же «Жемчужине» кинорынок, тоже «Кинотавр», я спокойно сижу вот здесь, в сауне, вы все у меня там, наверху: журналисты, критики, гости. Живете как в раю. Я уже всех вас купил, нет?

Акула Рудинштейн улыбнулась, правым глазом подмигнула и вдруг, колыхнув бассейн, выплеснув на берега его все легкое: и русалок, и меня, облепленного лепестками, нырнула и ушла на дно, показав две круглые малиновые пятки.

* * *

У государства денег нет и долго теперь не будет. А без кино плохо: для нас важнейшим является кино. Особенно в отсутствие хлеба. Поэтому некоторые зрители, подкопив денег на

спекуляциях, прекратили ждать милостей от природы и принялись снимать себе кино сами. Кстати, именно так начиналось кино во всем мире.

На «Кинотавр» одни зрители привезли то, что наснимали, другие приехали снятым полюбоваться, а кое-что и купить. Покупатели и продавцы со всех развалин бывшей великой империи — могучие мужчины и коренастые женщины, новые хозяева жизни, энергично обсуждающие на своем замечательном суржике проблемы финансирования и сбыта кинопродукции.

Еще не класс, еще сырье. Завтра самые крупные съедят самых мелких, сильные передавят слабых, но это завтра. А пока они сидят перед экраном все вместе, плечом к плечу, и глаза их сверкают, и яростно вскрикивают они, откликаясь на смачные шутки, и определяют их метким народным словом, перекрывая кинозвук, и аплодируют в конце. Как в лучших домах. Тс-с-с… Они смотрят Кино Своей Мечты.

Вот целая банда лесбиянок (кино так называется: «Банда лесбиянок»). Девчоночки такие, с фигурками. Прехорошенькие. И голышом. Наркоманки, естественно. Пьют, заманивают мужиков, раздевают и убивают. Ну, лесбиянки. И девочка там у них есть, пятилетняя крошка, чья-то дочка. Тоже лесбиянка, разумеется. Но это не сразу выясняется. А там у этой банды был как бы в истопниках или в няньках (дети же все-таки) такой дебиловатый мужчина, лесбиян, естественно. Так вот, не успел он как-то посидеть в кресле, отдохнуть, как наша крошка, смеясь своим порочным детским ротиком, подкралась сзади, раз ему на шейку платочек! И задушила. Тут как раз мама-лесбиянка входит. И просто, ну просто удивилась даже, не ожидала от дочурки такой прыти. Ну, мама схватила топор и от плеча как всадит его лесбияну в ногу, то есть она начала его уже расчленять. И тут, представляете, старый лесбиян очухался и спрашива-ет маму: «Что это, мол, вы такое делаете?» А мама уже разошлась, молоденькая такая, красивая, глазки горят, и давай его, недобитого, расчленять, сначала, конечно, голову расчленила, тут он спрашивать перестал, ну она его уже спокойно дальше.

А там уже мается целая семья вурдалаков («Семья вурдалаков»). Померший дедушка, страшный до жути огромный старик, такой Иван Сусанин: «Настал мой час, мой смертный час, последний час…», каждую ночь шляется под окнами черного дома, внутри которого с белыми лицами дрожит вся его осиротевшая семья. А дедушка в дверь ломится, в окна заглядывает и манит внучка фальшивым голосом, внучек, мол, иди сюда, я тебе ириску дам. Где тут устоять! Так родной дедушка и увел его по тропиночке прямо на кладбище. А на

следующую ночь внучек сам, весь дедушкой высосанный, с кладбища плетется: «Мама! Мама!» Да как вцепится! Так они друг друга и перекусали…

Новые хозяева, люди с крепкими нервами, выползая из зала, потряхивали ошеломленно головами. Но на стеночке их встречала уже аннотация к следующему фильму, и нельзя было не вернуться, тут не оторвешься: «Хорьку и его людям по воле случая для изъятия денег приходится вступать в борьбу с женой модельера». (Вот нравится мне у нового кино это неуемное воображение!) «Юная леди, не особенно обремененная одеждой, но обремененная опытом пяти лет перестройки, просмотрами низкопробных американских боевиков, а также верой в неприкосновенность частной собственности, вступает в борьбу и ликвидирует Хорька и его банду».

Ликвидирует по одному, причем перед ликвидацией всякий раз раздевается. Видимо, чтобы не стеснять движений: работа тяжелая, а банда у Хорька большая. И соблазнительно так бродит, то с ружьем, то с бомбой. Трупы у нее валялись в коридорах, на лестницах, так что в конце концов дама просто взорвала свой особняк к чертовой матери. И это, заметьте, всего лишь жена модельера. Представляете, что было, если бы в борьбу вступил сам модельер?

Это называлось «Мясорубка». Производство кинокомпании «Виктор Моушн Пикчерз». Чего вы хихикаете? У вас есть другой способ тянуть на себя внимание зажравшегося потребителя, зашоренно повернутого на заграницу? Вообще мы как-то так ухмыляемся углом рта над странными именами отечественных фирм, бирж и компаний. А зря. В этих словесных монстрах есть от живота идущее возбуждение, нахальная молодая сила, прерывистое дыхание в спину в черном проеме двора, и хриплый окрик, и белое лезвие, метнувшееся к вашему горлу. Изготовленный в ведомстве Рудинштейна «Кинотавр» — что это?

Бизнес родил Рудинштейна. Рудинштейн родил «Кинотавра». Это химера, господа. Как и самый кентавр — химера. Сумеречное наше сознание, ночные кошмары, горячечный бред дня, мы больны, господа. Это химеры слетелись погреться под остывающим сочинским солнцем, улучив момент, пока, откинувшись грузно на Кавказский хребет и медленно поворачивая внимательные глаза, отдыхала война. Химеры слетелись на свой выпускной бал, перед тем как отправиться бродить по земле.

* * *

Кинохимера — зверь мохнатый, но примитивный. Дитя бизнеса, она сделана по рекламному принципу. Снимать химеры я вас научу прямо сейчас. Если хотите. Только денег достаньте.

(И забудьте о вгиках. Вот этого не надо, вы тогда ничего не снимете. Вспомните, как они называли свои изделия: «Июльский дождь», «Жил певчий дрозд», «Зеркало». Господи, о чем это? Все, все. Забыли.)

Первое: **название.** Берем афишу кинорынка. Учитесь формулировать: «Пьющие кровь», «Кровь за кровь», «Исчадие ада», «Арифметика убийства», «Смерть в кино», «Линия смерти», «Катафалк». («Банду лесбиянок», «Семью вурдалаков» и «Мясорубку» мы уже проходили.) Ясно. Теперь: «Дура», «Курица» и «Кошечка». Это о дамах, вы понимаете.

Второе. Есть такое сексуальное развлечение там, у них, естественно. Платишь деньги, идешь и глядишь в замочную скважину: а за дверью трахаются. Это будут наш метод и средство. Так что нам понадобится **половой акт.** Каждый частник еще в прошлом году, там, у себя, на «Виктор-Пиктор», трепеща от чувства глубокого удовлетворения и законной гордости, снимал свой первый половой акт, предвкушая, как поразит коллег. Думал, он один такой умный. Коллеги приготовили по такому же акту, некоторые по два. От этого размаха как-то цепенеешь вначале. Но нам сейчас важна не одинаковость режиссерских мозгов, нам важно, что из исключений сложилось правило.

Третье: **звезды**. Помните: вы живете в мире, где все покупается и продается. В прошлом году за съемочный день звезде давали по 10 тысяч рублей, и она брала. Сегодня мы уже всех их видим на рыночном экране, наших добрых, старых: Смоктуновского, Юрского, Гундареву, Удовиченко, Караченцова, Смехова, Догилеву, Крючкову, Куравлева, Тараторкина, Васильеву и многих других.

Недешево, согласен. А в нынешнем году будет и вовсе запредельно. Но есть хитрость: не давать звездам главных ролей. Пусть радуют зрителя своими популярными лицами, возникая время от времени и как бы намекая на общий могучий интеллектуальный подтекст. Вперед — молодых и безвестных: а) дешевы, б) раздеваются и трахаются практически в любой обстановке. Впрочем, многие любимые народом артистки не уступают молодым. Наконец-то можно поздравить зрителей: мало осталось любимых актрис, которых мы еще не видели голышом.

Четвертое: **драматургия.** Она, в общем, тоже не больно-то нам нужна. Заказчик уже знает, чего хочет. Его жизнь протекает в разнообразной борьбе, поэтому он любит, чтоб в названии кино было слово «кровь». Или «смерть». Он сугубый реалист, и конечно

же, более всего интересны ему способы борьбы. А драматургия в любой афере уже есть. Остается только зафиксировать. Все.

Ну подумайте: он простой бывший советский человек. Какие там у него невиданные желания?! Он вовсе не требует, чтобы купленное им искусство непременно «отражало нашу действительность». Пусть отражает не непременно. И не всю. В общем, как хочет. Главное, чтобы оно отражало представления о жизни заказчика. За его деньги. Требование справедливое. Зато, глядя новое кино, мы прежде всего узнаем, что же представляют собой сами наши будущие хозяева. Новое кино — социальный определитель. Почему нет?

Но вернемся к желаниям заказчика. Судя по кинорынку, желаний у него было три. Первое. Он хотел бы полюбоваться не на одну аферу, а на целый букет. То есть он хочет мафию? О'кей. Он ее получит.

Снимать будем что-нибудь из недавнего прошлого, чтоб уж совсем-то не нарываться. Кино назовем «Линия смерти». Пусть у нас будет тут какой-нибудь наемный убийца, такой советский Люка Брази. Такой невыразительный, с маленькими глазками, в общем, профессионал. Потом девицы. Девицы будут трахаться с клиентами.

— С какими клиентами, шеф?

— С разными, с отвратительными.

— А при чем тут убийца?

— А он это… Ну… Ему велено замочить сутенера этих девиц, такого начальника то ли министерства, то ли ведомства, он девиц подкладывает в койку к своим заграничным партнерам после бани. Но тут Люка прокололся. Жадность фраера сгубила. Мало ему показалось обещанных за дело кусков, он еще и с девицами договорился, будто это он для них, так сказать, эксклюзивно, пришьет их любимого начальника. И они по сусекам наскребают ему на дополнительный колобок.

— Но зачем им-то убивать своего кормильца?

— Да… откуда я знаю?!

— А-а, понятно зачем!

— Зачем?

— Ну, бляди, шеф!

— Молодец! И тут нашего профи за жлобство прихватывает главный плательщик, жуткий мафиози со Старой площади, член ЦК КПСС. Играть будет Смоктуновский.

— ?

— Тут нужна тонкая штучка. Чтоб был обаяшка, интеллигент, со старомосковским выговором, может быть, даже член Политбюро.

— Со старомосковским?

— Да, и чтоб никакого гаканья, это они на трибуне были придурки, а за кулисами — шекспировские персонажи. Не надо вызывать у народа комплекс неполноценности, что ж, семьдесят лет нам недоумки, что ли, лапшу на уши вешали?

— Понятно, а снимет это все, конечно, акционерное общество «Кредо» и привезет к Рудинштейну?..

— Вот-вот. Оно уже и сняло. Но испортили сюжет, шляпы. Жадина-профи у них ровно посреди фильма растворил вдруг пасть и начал шпарить прямо по Новодворской: «В блокаду в Ленинграде дети умирали, трупы на улицах, а начальство жрало ананасы, не-на-вижу!!! Та-та-та-та!» Оказалось, он идейный борец. Я так понимаю, это у режиссера дрогнула рука, вспомнил внутреннего цензора. А у зала, который все это в Сочи увидел, челюсть отпала. Интересно, если купят они «Линию смерти», выстригут идейный кусок или нет? Нет, наверно, народ незатейливый, да и прижимистый, чего ж товар урезать?!

Второе желание было: много девок. Третье: заграница. Можем снять? Да хладнокровно. Можем даже объединить два желания, получится: много девок за границей. Значит, у нас будут сразу: дочь греческого миллионера Ника, итальянская проститутка Роза, сингапурская певичка Медж, китайская официантка Фей-Янь, американка Обри, между прочим, лейтенант полиции, и русская девушка Катя. Все за границей.

— А Катю-то как туда занесло?

— Ветром. Она парашютистка.

— А на кой они вообще-то собрались, девки эти?

— Грабить банк.

— ?

— А что? А! Понятно. Добавляем туда Лулу, взломщицу, но в настоящее время послушницу бельгийского монастыря.

— А к чему греческой миллионерше грабить банк?

— Да, действительно. Ну-у… это будет банк не простой. В этом банке хранится сперма!

— Чего?

— Ну, сперма разных знаменитостей, для искусственного осеменения. Хранится в этой… В банке.

— И что?

— Девицам не нравится искусственно осеменяться. Они считают, что сперме место не в банке, а на свободе.

— Кайф! А это кто же все снял?

— Езжайте в город Минск на студию «Витт». Пока вы тут все еще задаете вопросы, они уже имеют этот фильм. Назвали «Чертовы куклы». Молодцы!

Нет, нет, желания номер три кинорынка «Куклы» совсем не удовлетворили. Вдруг оказалось, что желание было огромным. И что весь прошлый год частник снимал кино именно и прежде всего «про заграницу». Потому что одно дело — смотреть через замочную скважину на себя, совсем другое — увидеть там рай.

Эти чистые пряничные города, новогодние елки магазинов, заколдованные замки, хрустальные ручьи, раскидистые деревья, а вместо листьев денежки. И эта легкость в обращении с вещами — слушайте! — это невыносимо: захлопнул небрежно дверцу автомобиля и, не запирая, даже щеток не сняв, бегом, на целую ночь, по бабам. А бабы! И эти дебиловато-доверчивые люди, живущие в раю. Зачарованно внимающие лощеным умницам и хитрецам, перед тем как отдать им свои богатства. Нетронутые пастбища, стада непуганых идиотов, которые не стрижет только безрукий. И сколько их ни стриги, все вырастает наутро, и еще пуще. Цветущий мир, снятый в Одессе, заграница, которая не лежит от нас ни на запад, ни на восток, которой нет вообще на Земле. Остров Крым. Где есть всё и все говорят по-русски. Великая Совковая Мечта. Мечта свирепая, прожигающая: туда-туда, из Москвы, из этой сучьей страны, с этой помойки, где, чтобы выжить, надо маму родную продать.

А вот был случай, ехал в поезде такой пожилой уже дядечка, заграничный дирижер, попал к нам на гастроли. Ехал в СВ с прехорошенькой девчонкой, трахнул ее, естественно, на сон грядущий, девчонка-то наша была, так радовалась везухе. Но приехали, взглянул дирижер на девочкину маму на перроне, и крыша у него поехала. Представляете, оказывается, эта мама — его бывшая жена. То есть, господа, он, извините, выходит, только что трахнул собственную дочку!

— Иностранец?

— Да какой он иностранец, он эмигрант.

— Так. И что дальше?

— Что-что. Не знаю что. Сидят они с мамой и ее нынешним мужем на кухне и считают на пальцах, от кого дочка: от эмигранта или от нынешнего папы, который, между прочим, маму тоже трахал, и как раз в подходящее время.

— Ай-я-яй!

— Угу. И наконец так получается у них, что дочка вроде бы не эмигрантская, а все-таки наша.

— Кино!

— А я вам и рассказываю кино. Но лишь тут все и начинается! Эта дочка получает от дирижера приглашение! И по приглашению за его деньги едет к нему туда. И знаете, тут начинается какой-то совершенно невероятный пейзаж, озеро,

огромный дом. Все в дождях, в туманах, красиво невероятно. И она вступает в этот папин, то есть теперь уже женихов, дом, потому что она, представляете, уже его законная невеста. Огромные залы там, какие-то рояли невероятные всюду, мебель в чехлах, ну, вот как в музее-усадьбе в выходной или в санитарный день. И вот в этом роскошном доме, среди чехлов, начинается у нее с папой новая жизнь. То есть с женихом. Представляете? Простая советская девочка. Ничего особенного. И такое вот счастье. Называется «След дождя» Это раньше так фильмы называли. Обязательно посмотрите.

* * *

Но странно повел себя Рудинштейн. Он выбрался из своей сауны и выбросил вдруг на кинорынок фильм «Катафалк». Который, несмотря на вполне рыночное название, оказался совершенно не из той колоды. Какая-то муха в молоке. Лишь деловые соображения и клановая солидарность дали зрителям сил досидеть на хозяйском фильме до конца. Они подавленно выходили из зала, лишь один, приглушив до минимума зычность, сказал соседу: «Но, несмотря на этот фильм, я досмотрю остальное». Что же подсунул им бяка Рудинштейн? Он подсунул им своего любимого сценариста Валерия Тодоровского, которому в этот раз дал денег на режиссерский дебют. И Тодоровский немедля снял кино для трех актеров. Он снял возникшую из небытия Вию Артмане, найденного им в Прибалтике некоего А. Ильина и Ирину Розанову, звезду нового кино, которую частники вволю уже поснимали, причем — чудо! — далеко не всякий раз раздевая.

И было в «Катафалке» вроде бы все, что нужно для рынка, — и афера, и половой акт. Но как бы и не было ничего. Что это за афера, когда человек трахает слабоумную ради того, чтобы овладеть горою металла под названием то ли «ЗИС», то ли «ЗИЛ», что ржавеет уже сто лет в заброшенном сарае? И что это за половой акт, произведенный в той же старой колымаге, в «катафалке», с дурочкой, которая то хихикает, то завывает, не понимая, что делают с ней и зачем? Одна брезгливость. Но что же в фильме есть?

Есть огромная неопрятная старуха, живущая в распадающемся, как ее тело, доме, погруженном в темные заводи заглохшего сада, со сгнившими заборами, исчезающими тропинками, по которым бродит старухина дурочка-дочь (ее и играет бесподобная Розанова), такое домашнее животное, зверек,

которому почему-то досталось женское тело. В этих дремучих зарослях, на неведомых дорожках все длится ее неисчезающее, остановившееся детство, игра, любовь, неведение, счастье. Есть бродяжка, найденный однажды лежащим под забором и взятый в дом для мужской работы — за еду. Есть, наконец, «катафалк», необъятная черная развалина, венец мечтаний некогда живших администраторов, разрушающийся памятник умершему хозяину-генералу. Памятник ушедшей с ним отсюда жизни, тому прошлому, в которое, как в воду, погружена ждущая смерти старуха, мечтающая теперь лишь о том, куда бы пристроить не нужное никому, но живое, слабоумное свое отродье. Жизнь исчезающая, забытые люди на забытом клочке земли.

Какой молодец этот Рудинштейн! Этот бизон концертной деятельности, акула кинобизнеса, воротила и магнат, резвящийся в голубой воде со своими розовыми девушками.

И я спросил его, когда выбрался он наконец из воды, и завернулся в простынку, и спрятал в нее коротенькие толстые ножки, и свернулся клубочком, и замурлыкал, я спросил: «Зачем же вы так, Марк Григорьевич? С гостями, коллегами? Ведь они могут вас не понять?»

И хмыкнул крутобокий колобок Рудинштейн из простынки: «Ну и хрен с ними! Зато это лучший фильм на кинорынке».

Правильно, Марк Григорьевич, пра-а-вильно. «Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать». И я спросил:

— А нужно ли это народу?

— Что за вредная у вас привычка, — отвечал мне уютный Рудинштейн, — решать за народ? Народ хочет, народ не хочет! Я видел в Америке, как рекламируется новая картина: 24 часа по одной программе шла реклама. Я пошел в большой маркет, там было десять кинозалов: купил билет — иди в любой. И в каждом очень мощные боевики. Так народ валил на разрекламированную картину, хотя это был просто миленький фильм, больше ничего. Есть же правило: сделал картину — рекламируй ее.

— Марк Григорьевич, что вас так тянет к товарно-рекламно-денежным объяснениям всему? Неужели все так просто? Ведь если так, я этому несчастному народу сплавлю любое гнилье.

— И сплавляйте на здоровье, если можете. В конце концов, каждый народ все равно получает то, что хочет. Он хочет гнилья? Значит, у него такая культура сегодня. И кто-то, конечно, завалит его гнильем. Вот это действительно просто. А я продаю еще и искусство и буду его рекламировать. И этот народ его купит, вопреки всякой логике. И поднимет свою культуру. И вот когда он откажется есть гнилье, мои конкуренты разорятся. Это же деловой подход! И так будет. Но завтра. А сегодня, да, сегодня

главное, чтоб всего стало много: гнилья, искусства, на любой выбор. А у нас всего мало. И поэтому нам с вами не о чем спорить.

Не знаю, не знаю. Возможно, скоро мы начнем снимать не хуже того, что возит нам Таги-заде из Америки. Один из вечных самообманов, в которых мы с детства купаемся. Но американцы одни товары делают для себя, другие — для наружного, так сказать, употребления. И мы изо всех сил догоняем эту Америку. Третьего сорта.

И есть у нас хитрый Рудинштейн, который, ничего нового не открывая, подталкиваемый расчетом, подбрасывает в гнилье ложки искусства. И что?

Просто начинается новый круг, по незнакомой пока дороге. На которой уже стоит наша нога. Далеко ли удастся по ней пройти?..